Михаил
КАЗОВСКИЙ

КУМИРЫ

Истории Великой Любви

# Лермонтов и его женщины: украинка, черкешенка, шведка...

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Лермонтов и его женщины: Екатерина Сушкова, Варвара Лопухина, графиня Эмилия Мусина-Пушкина, княгиня Мария Щербатова… Кто из них были главными в судьбе поэта? Ответ на этот вопрос дает в своей новой книге писатель Михаил Казовский.


- Михаил Казовский
- Часть первая Кинжал Грибоедова
- Глава первая
-
- Глава вторая
-
-
-
-
-
- Глава третья
-
-
-
- Часть вторая Княгиня Мэри
- Глава первая
-
-
-
-
-
-
-
-
- Глава вторая
-
-
-
- Глава третья
-
-
-
-
-
-
-

- Часть третья «Значит, будем стреляться!»
- Глава первая
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Глава вторая
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Глава третья
- 
- 
- 
- 
- Послесловие
- Приложение Письма Лермонтова
- 
- 
- 
- 
- 
- 

# Михаил Казовский
# Лермонтов и его женщины: украинка, черкешенка, шведка…

*Все это было бы смешно,*
*Когда бы не было так грустно…*

*М. Лермонтов*

# Часть первая Кинжал Грибоедова

# Глава первая

1

– Ваша милость, Егор Федорович, к вам приехали.

Молодой человек приоткрыл глаза и увидел стоящего перед ним слугу Ваську. Длинный, тощий, тот кивал удивительно маленькой для его роста головой, волосы были расчесаны на прямой пробор.

– Да кого же нелегкая принесла в этакую рань?

Васька ухмыльнулся.

– Рань-то, вовсе, не рань, ибо полдень скоро.

– Да неужто полдень?

– Точно так-с, через четверть часа.

– Вот ведь незадача! – Барин сел, сморщил круглое армянское личико. – Ничего не соображаю. Много я вчера выпил?

Веки у слуги иронически опустились.

– Скажем так: немало-с. Песни пели-с и кричали, что хотите жениться на мамзель Вийо.

– Господи боже мой! А она слыхала?

– Нет, они к тому времени убыли с поручиком Николаевым.

– Слава богу.

Молодой человек помассировал пальцами виски. Помычал и сердито спросил:

– Кто приехал-то?

– Ваш троюродный братец.

– Братец? Что за братец?

– Господин Лерма́нтов.

Барин от удивления сразу протрезвел.

– Лермонтов? Мишель?

– Точно так-с. Михаил Юрьевич.

– Наконец-то! Что же ты, дурак, его не впускаешь?

– Так они в саду сидят, отдыхают. Трубку курят-с.

– Ну, зови, зови!

Егор Ахвердов бросился скрывать следы безобразий вчерашнего вечера: вереницу пустых бутылок, апельсинные корки и сухие виноградные веточки, дамские панталоны на спинке стула, рассыпанные по полу шпильки. Понял, что порядок навести не успеет, и махнул рукой.

Мачеха Егора доводилась кузиной покойной матушке Михаила. Выйдя замуж за генерала Ахвердова (Ахвердяна), долгое время с ним жила на Кавказе, в Тифлисе, в их собственном доме на улице Садовой, а затем, похоронив мужа, переехала с дочерью и внуками в Петербург. Но Егор, пасынок, сын Ахвердова

от первого брака, подпоручик Грузинского гренадерского полка, продолжал служить.

Дверь открылась, и вошел приезжий.

Он оказался ниже среднего роста, очень широкоплеч и заметно кривоног, как и большинство бывалых кавалеристов. Жидковатые волосы казались прилизанными. На губе топорщились редкие усы. Но глаза и улыбка были хороши: черные зрачки источали волю, силу и ум, а красивые, ровные, белые зубы просто ослепляли.

– О, кого я вижу! – произнес Михаил на французском и захохотал, как ребенок. – Ты ли это, Жорж? Полысел весьма. Все еще блядуешь? Не пора ли угомониться?

– Нешто ты не блядуешь, Миша? – покраснел Егор.

– Я? Нимало. Веришь ли, за всю дорогу от Ставрополя до Тифлиса ни одной не уестествил.

– Что ли прихворнул?

– Нет, спешил ужасно. Почитай три последних дня находился в седле. Так боялся опоздать к прибытию его императорского величества.

– И напрасно: по депешам, он еще плывет сюда по Черному морю. Будет здесь, я думаю, через десять дней.

– Ну и превосходно. Хватит о делах. Дай тебя по-родственному обнять, братец.

Военные порывисто стиснули друг друга.

Сели, закурили.

– Ты, Мишель, совершенно не меняешься, – произнес Ахвердов, щурясь от дыма. – Все такой же шутник, как я погляжу.

– Да какие шутки, Жорж, коли прогневил самого царя-батюшку! Тут уж не до смеху.

– А зачем полез на рожон? «Но есть и Божий суд, наперсники разврата»! Мы читали, читали. Удивлялись твоей смелости. И неосмотрительности.

– Ах, оставь, право. Я устал с дороги, а ты мне морали читаешь. Сам – наперсник разврата. – И, поддев носком сапога, вытащил из-под дивана дамские панталоны.

– Прекрати! – вспыхнул Жорж и опять затолкал трусы под диван. – Давай будем завтракать! – Он крикнул звонко: – Васька! Где ты там? Живо беги в трактир за снедью.

Но приезжий остановил.

– Погоди, я вовсе не голоден. То есть голоден, но вначале был бы рад помыться. Прикажи баньку затопить.

Ахвердов рассмеялся.

– Баньку? Затопить? Ишь чего надумал! Здесь тебе не Россия, своих бань не держим. И не знаем ничего лучше наших,

тифлисских.

Лермонтов рассмеялся.

– Тех, о которых Пушкин писал в «Путешествии в Арзрум»? Славно, славно! Так идем немедля!

– Что ж, изволь, идем. Дай лицо только сполосну. – Он опять позвал: – Васька, умываться! – А когда слуга появился, приказал: – Сорочку чистую и принеси вина.

Егор обернулся к гостю:

– Голову хочу полечить. И за встречу выпить.

– Да, за встречу – святое дело.

2

Собственно, Тбилиси (Тифлис) и возник на этом месте: серные источники – «тбили» или «тфили» по-грузински, «теплые» – дали название самому городу. Весь же квартал, растянувшийся вдоль набережной Куры, назывался Абанотубани – «квартал бань». Видом своим они напоминали лезущие из-под земли шляпки больших грибов, а по центру каждой шляпки – маленькая башенка: в ней окошки для вентиляции и света.

– Нам сюда, сюда, – направлял Михаила троюродный брат, – идем в Бебутовские, в них пристойнее.

Стены внутри оказались отделаны мрамором, пахло дорогим мылом, травами и мускусом. Подлетевший банщик-татарин, как болванчик, кланялся.

– Милости просим, Егор Федорыч, рады мы, что не погнушалися… осчастливили…

– Вот что, Ахметка: нашего гостя из Петербурга пусть попользует старик Гумер – он такой искусник, а меня – тот, кто свободен. И вели принести вина и фруктов, а потом чаю с выпечкой.

– Слушаюсь. Исполню.

Как же было приятно вылезти из сапог, скинуть мундир и брюки, лечь на чистую простыню, расстеленную банщиком, вытянуться, обмякнуть и отдаться массажу, жесткой шерстяной рукавице и приятному полотняному пузырю в мыле! Тело расцветало, поры открывались, каждая клеточка начинала петь. А затем с Жоржем не спеша спуститься в мраморный бассейн с обжигающе горячей серной водой и присесть на мраморные ступеньки, погрузившись по грудь.

– Нравится? – улыбался Ахвердов. Распаренный, жаркий, со взъерошенными усами, он смахивал на мартовского кота.

– Я блаженствую, – отзывался Лермонтов, глядя из-под полусомкнутых век. – Но не выдержу долго в этом кипятке. Как бы не сварилось чего!

– Нет, вкрутую они не сварятся, – весело успокаивал Егор. –

Разве что «в мешочек».

Оба загоготали…

Завернувшись в белоснежные простыни, пили вино и чай. По углам залы то же самое делали другие многочисленные посетители – ели, пили, оживленно болтали. Слышались взрывы смеха. В этой части баня напоминала трактир, только все сидели, закутавшись в простыни, походя тем самым на римских патрициев, и к тому же отсутствовали дамы: был «мужской день».

Михаил рассказал, что направлен в Нижегородский драгунский полк, штаб-квартира которого находится в селении Караагач в Кахетии. Должен был явиться еще неделю назад, но никак не мог поспеть раньше.

– Хорошо тебе, – мечтательно оценил троюродный брат, – рядом Цинандали.

– Ну и что с того?

– В Цинандали живут князья Чавчавадзе. Нина Чавчавадзе – вдова Грибоедова, младшая ее сестрица Екатерина, их почтенная матушка княгиня Саломея. Непременно проведай, передай от меня поклон. Мы ведь с детства в дружбе. Маменька моя давала уроки музыки и французского Нине с Катенькой.

У Михаила загорелись глаза.

– Дочери пригожи?

– Не то слово! Нина смуглая, черноокая, чернобровая – настоящая царица Тамар. А Екатерина попроще, хохотушка-проказница, и глаза голубые.

Егор, помолчав, заметил:

– Но на Нину планы не строй – до сих пор в трауре и дала зарок, что не выйдет замуж после Грибоедова.

– А насчет младшенькой?

Егор пожал плечами.

– Разве что, пожалуй, платонический флирт… У ее родителей есть серьезные виды на его высочество князя Дадиани. Он правитель Мегрелии, не тебе чета. Ты уж извини.

Лермонтов надулся.

– Подумаешь – князь! Против нашего брата, поэта, у любого князя кишка тонка.

Ахвердов иронично фыркнул.

– Ну, попробуй, попытай счастья. Может быть, и выгорит.

3

На улице после бани оказалось не намного прохладнее: был уже конец сентября, но жара стояла сильная, и на небе ни облачка. Вслед за господами шли слуги: за Ахвердовым – Васька, за Лермонтовым – Андрей Иванович, состоявший при нем с младых ногтей. Маленькому Мише подарили его однажды на

именины, и крепостной растил барчука как дядька, следуя за ним и в Москву, и в Петербург, и в ссылку на Кавказ. Даже заведовал кассой хозяина. Михаил называл его Андрей Иванычем, но на «ты». В этом 1837 году слуге стукнуло сорок два.

Вчетвером вышли к причалам Куры и полюбовались рекой – водяными мельницами, выдвинутыми мостками к самой быстрине, лодками под парусом, рыбаками по колено в воде с удочками из ветвей орешника. Жорж служил гидом и пальцем указывал на достопримечательности: древний замок Метехи, напротив – руины крепости Карикала, которая была разрушена десять лет назад сильным землетрясением.

– Там, на склоне Святого Давида, Грибоедов упокоен. Хочешь посетить его склеп?

– Непременно, но не теперь. Мне пора предстать пред очи генерала Розена, засвидетельствовать прибытие.

– Ну, тогда нам на Алавердскую.

По пути, на торговой площади – «татарском майдане» – Лермонтов купил сафьяновые чувяки с серебряными позументами черкесской работы (изначальная цена была три рубля серебром, но совместными усилиями удалось сбить ее до двух).

Здание штаба отдельного Кавказского корпуса словно вымерло – только часовые у входа и писари внутри.

– Здравствуй, Поливанов, – заглянул в одну из комнат Егор. – Отчего никого не видно?

– Оттого что с утра главнокомандующий выехал на Дидубийское поле, где его величество станет проводить смотр. Ты-то здесь зачем? Вот уж будет тебе взбучка.

Ахвердов не растерялся.

– Друга и брата встречал, прибывшего из Петербурга. Разреши отрекомендовать: корнет Лермонтов.

Оба офицера вытянулись по струнке, щелкнув каблуками.

– Вы, корнет, не родич ли тому Лермонтову, что стихи пишет?

Михаил улыбнулся.

– Это я и есть.

Поливанов ахнул.

– Да неужто? Вот ведь как бывает – не гадал, не чаял… Разрешите руку вашу пожать?

– Сделайте одолжение, сударь.

– А когда барон Розен обещал вернуться? – спросил Егор.

– К вечеру, должно быть. Я доложу.

– Доложи, голубчик, очень нас обяжешь. Мы пока пойдем пообедаем. Коли что – так пришли за нами кого-нибудь.

– Так и быть, пришлю.

И действительно: только заказали вина и холодных закусок, как примчался из штаба вестовой.

– Стало быть, велели господам офицерам тотчас же прибыть.

Выругавшись по матушке, приказали половому придержать заказ и пошли к начальству.

Генерал-лейтенант Розен [1] , по происхождению из Эстляндии, был мужчина маленький, но надменный и неласковый, как Наполеон; смотрел на всех собеседников снизу вверх, словно сверху вниз. Покивав на приветствия прибывшего Лермонтова и пробежав глазами его документы, выразил неудовольствие:

– Что-то вы подзадержались в пути, корнет. Целая неделя по Военно-Грузинской дороге – не долго ли?

– Каюсь, ваше превосходительство: был заворожен здешними красотами и не мог себя заставить тронуться то с того, то с иного места, прежде чем не сделать картинку карандашом или маслом.

– О, так вы не только поэт, но и художник? – спросил Розен, впрочем, не без насмешки в голосе.

Михаил ответил серьезно:

– Я не льщу себе столь высокими прозвищами. Не художник и не поэт, но военный, пишущий стихи и картины.

– Этак лучше. Отправляйтесь, господин военный, в собственную часть и побыстрее. Ваш Нижегородский драгунский полк скоро должен выступить в сторону Тифлиса, чтоб принять участие в смотре на Дидубийском поле.

Лермонтов молчал. У барона вопросительно поднялась кверху бровь.

– Что-то вам неясно, корнет?

– Так точно, ваше превосходительство. Есть ли мне резон ехать ныне в Кахетию, коли полк прибудет вскоре сюда? Не логичней ли дожидаться его в Тифлисе?

Розен покраснел, в гневе сжал невзрослые кулачки и притопнул ногой:

– Подчиняться! Не рассуждать! – Грозно помахал он пальцем. – Логики не нужно. Нужно исполнять в точности приказы. Велено убыть в часть – стало быть, убывайте!

– Есть! – щелкнул каблуками Михаил.

– Можете идти. – И вдогонку снисходительно разрешил: – Дозволяю вам сутки отдохнуть. Но уж послезавтра с утра выехать обязаны.

– Слушаюсь!

Лермонтов вышел из кабинета главнокомандующего, тяжело отдуваясь. На немой вопрос брата повращал глазами: дескать, и осел же ваш барон Розен! Вслух же произнес:

– Это все пустое. Главное – свободен до послезавтра! Можно погулять!

И, схватив Ахвердова за руку, потащил вон из штаба, бормоча:

– Жажду вина и дев! Бесшабашных, веселых дев! Страстных и доступных!

Егор, улыбаясь, ответил:

– С нашим удовольствием. Сделаем в лучшем виде.

4

Хорошо, что в жизни все плохое кончается быстро. Плохо, что кончается точно так же быстро и все хорошее. Не успел Михаил разойтись в загуле, как настало утро отъезда. Серое, унылое, с мелким дождиком. Лермонтов – верхом, на своем тонконогом скакуне Баламуте; в небольшом возке – сундуки и вещи, кучер Никанор (он же конюх) и Андрей Иванович. Подгулявшего накануне брата будить не стал – написал записку. И, благословясь, в путь. На одном из выездов из Тифлиса, в обусловленном месте, присоединились к почтовой карете под казачьим и пехотным прикрытием с пушкой. Нападений горцев на обозы в Грузии не случалось, но на всякий случай следовали с конвоем. Благо ехать было довольно близко – около 70 верст (двигаясь неспешно, можно добраться за 5 часов).

Голова у всадника вначале гудела, но прохладный ветерок в лицо и приятная морось постепенно прояснили сознание. Ох, чего они с Егором и Николаевым вытворяли вчера! Лучше не вспоминать. И мамзель Вийо, что была одна на троих, пусть забудется тоже поскорее. Не хватало еще влюбиться в эту экстравагантную дамочку. А вернее, в ее восхитительно круглый задок. Потому как во что еще? Больше не во что. Ведь не в ум же!

Первый амурный опыт у Михаила приключился давно, лет в четырнадцать, в бабушкином имении Тарханы. Бабушка, Елизавета Арсеньева, человек властный и практичный, рассудила, как и многие бабушки и маменьки того времени: дабы оградить отпрыска от не слишком полезных юношеских наклонностей, надо ему позволить проводить время со специально выбранной, чистой, здоровой дворовой девкой. Ею оказалась Сашенька Медведева – дочка камердинера Максима Медведева, на два года старше Миши. Их встречи продолжались около полугода – до того, как она призналась, что беременна. Сашеньку срочно выдали замуж за скотника в дальнем селе, а взамен подобрали Вареньку Васильеву, тоже из дворовых. Вскоре и ее постигла та же участь, потом были Акулина, Марфа, Аграфена… Сколько всего детей от семени Лермонтова бегало по деревням Пензенской губернии? Человек пять, пожалуй. Может, кто и помер, но ведь

кто-то непременно остался. Вот добьется он прощения от его императорского величества, возвратится в Тарханы и проведает всех своих бастардиков [2] . И вручит вольные. Пусть живут на свободе.

С тех далеких лет – и в Москве, на учебе в пансионе при университете, и в самом университете, и затем в Петербурге, в Школе юнкеров и гвардейских прапорщиков, – личная его жизнь разделялась на две части: платоническая, романтическая влюбленность в барышень из дворянского общества и сугубо плотские утехи с дамами полусвета, жрицами любви. Первым он писал мадригалы в альбом, о вторых слагал шутейные и забористые поэмки в духе Баркова. Альбомные стихи принесли ему славу чувствительного поэта, русского Байрона, от других покатывались со смеху все друзья-гусары. Обе части мирно уживались друг с другом. Он считал, что это в порядке вещей.

Был ли Михаил серьезно влюблен в кого-нибудь? Безусловно. Если отбросить самые детские впечатления, оставались три барышни: НФИ – Натали Иванова [3] , дочь довольно известного драматурга Федора Иванова, Катенька Сушкова [4] и Варвара Лопухина [5] . Натали больно ранила сердце, но быстро забылась. Катенька вначале над ним посмеивалась, а потом сама влюбилась, как кошка, и была готова выйти замуж, но Михаил испугался и намеренно разрушил их отношения. Вареньку любил больше остальных, но она не дождалась его предложения и пошла по расчету за богатого дипломата, старше ее на семнадцать лет. Лермонтов бесился, чуть ли не пытался покончить с собой, написал массу безысходных стихов, а затем смирился и остыл.

В это время и случилась та история с Пушкиным: смерть поэта на дуэли с Дантесом. Появился блистательный экспромт Лермонтова «Смерть поэта». Гневные стихи расходились в списках, их множил от руки Святослав Раевский – друг и бабушкин крестник, легкомысленно раздавал направо и налево, и последствия не замедлили сказаться: опус попал к жандармам, к Бенкендорфу, тот донес императору… Николай I велел учинить следствие, Лермонтова и Раевского задержали, даже провели медицинское освидетельствование на вменяемость. Затем вышло высочайшее повеление: Святослава сослать в Олонецкую губернию (Петрозаводск), Михаила же направить в действующую армию на Кавказ.

Бабушка, само собой, хлопотала о смягчении участи внука: правая рука Бенкендорфа – Леонтий Дубельт – приходился дальним родственником. Еще считался другом семьи Михаил Сперанский – он преподавал юридические науки наследнику престола, цесаревичу Александру, – словом, употребляла все

возможные связи, чтобы достучаться до сердца императора. Но пока результат оставался нулевым.

Лермонтов старался не думать о плохом. Ехал верхом, щурился на солнце, наконец прорвавшееся сквозь белесые облака, напевал что-то вальсообразное. На берегу речки Иори сделали привал. Сидя на ковре, расстеленном на траве, ели лаваш с козьим сыром, жареную курицу, зелень, запивали водой из фляжек.

– Что ты загрустил, Андрей Иваныч? – посмотрел на слугу барин.

– Как же не грустить, коли денег нет? – ответил тот, вытирая пальцами сальные губы. – На последние гроши эту снедь купил.

– Ерунда. Вот приедем в полк – выдадут пособие. Лошадей накормим в полковой конюшне.

– А возок чинить? Не ровен час сломается задняя ось, и застрянем тут.

– Да не каркай. Бог даст, дотянем. Что ты, право, братец, как старуха – «бу-бу-бу, бу-бу-бу»! Посмотри, красота какая: синева неба, синева реки, птицы и стрекозы порхают. Райский уголок.

Но Андрей Иванович покачал головой.

– Жарко больно. Весь взопрел. Вот бы искупаться.

– Нет, нельзя купаться, надо дальше ехать. Сходишь в Караагаче в баню. Говорили, что село культурное, вполне обустроенное, даже есть офицерский клуб.

– Мне-то что с того? Мне по клубам не ходить. Все мое удовольствие – крепкий табачок, чарочка вина да сон.

– Экий ты фетюк. Кислый человек. Только настроение портишь.

В штаб-квартире полка оказались в половине второго пополудни. Караагач в самом деле произвел приятное впечатление: несколько кирпичных зданий по главной улице, ровная брусчатка, буйная листва фруктовых деревьев, каменная церковь. Белье на веревках.

Михаил спешился, крякнул, сняв фуражку, вытер лоб платком, отдал честь караульным на воротах и, зайдя в парадное, побежал по ступенькам вверх – к кабинету полковника Безобразова [6] .

Боевой офицер, отличившийся в усмирении польского восстания 1833 года, получил полковник чин флигель-адъютанта его величества, а затем внезапно оказался в опале. Говорили, что фрейлина императрицы Хилкова, будучи любовницей Николая I, от него понесла и ее скоропостижно выдали за Безобразова. Тот, узнав, что она беременна, начал учинять скандалы, вплоть до рукоприкладства, женщина сбежала, у нее от переживаний

случился выкидыш. Разъяренный император выслал Безобразова на Кавказ.

Лермонтов застал командира на балконе – тот сидел без мундира, в полотняной сорочке с распахнутой безволосой грудью. Лет ему было под сорок, он имел роскошные пегие усы, загнутые кверху, узковатое бледное лицо и серьезные серые глаза. Чай прихлебывал с блюдечка, сахар брал вприкусу.

Молча поприветствовав прибывшего, предложил ему сесть напротив и задумчиво спросил:

– Вашу фамилию как произносить следует – Ле́рмонтов или Лерма́нтов? Я слышал оба варианта.

Михаил улыбнулся.

– Оба существуют. Мой отец писался Лерма́нтов. Он считал нашим дальним предком вице-короля Португалии герцога Лерма́. Но мои тетушки ему возражали: говорят, что свой род мы ведем от шотландского дворянина Томаса Ле́рмонта, барда и провидца. Кстати, в наших родичах и лорд Байрон.

Безобразов почесал подбородок.

– Стало быть, вы, как и родич, пишете стихи? Я, признаться, сам-то не читал. А они у вас только в списках или есть печатные?

– Вот в недавней книжке «Современника» нумер два было помещено мое сочинение про Бородино. Отмечая четверть века сего сражения.

– Не видал. В нашу глушь журналы поступают с задержкой. А прочтите отрывок, коли вам не трудно. Так, из чистого любопытства.

– Отчего ж, извольте. – Михаил откашлялся, слегка помедлил, словно вспоминая, и начал нараспев:

*Скажи-ка, дядя, ведь недаром…*

У полковника на лице выражение легкой насмешки постепенно исчезло и перешло в удивление. А к концу стихотворения, при словах *«И отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищей считать»* даже блеснули слезы на глазах.

Лермонтов замолк. Безобразов, глядя на него с восхищением, спросил растроганно:

– Да неужто вы это сами сотворили?

Михаил развеселился.

– Точно так, собственной рукой.

– Чудо, чудо! А позвольте вас обнять, Михаил Юрьевич? Не сочтите за амикошонство, истинно как воин воина.

Сочинитель смутился, уши его пылали.

– Окажите честь, Сергей Дмитриевич. – Он встал.

Командир обнял корнета, а затем, отстранившись, по-отечески потрепал по плечу. Сказал с чувством:

– Коли вы служить станете так, как стихи пишете, мы поладим.

– Приложу все усилия.

– Ну, садитесь, садитесь. Выпьете со мной чаю? Впрочем, вы же с дороги – видимо, устали. Вас разместят в доме офицеров. С вами много слуг? Сколько лошадей?

– Двое тех и других.

– Хорошо. Отдохните, приведите себя в порядок, чтобы вечером присутствовать на спектакле.

– На спектакле! – изумился Михаил. – Здесь у вас есть театр?

– Так, своими силами ставим пиески. Развлекать драгун надо чем-то. Завели библиотеку, лекции читаем, вот и театр освоили.

– Славно. Что за пиеска?

– Уильяма Шекспайра «Двенадцатая ночь». Сами перевели с английского.

– Превосходно. – Лермонтов подумал. – Но ведь там, насколько я помню, две заглавные женские роли.

Он улыбнулся.

– Женщин изображают тоже драгуны?

Безобразов ответно развеселился.

– Нет, помилуйте. Приглашаем дам. Здесь поблизости проживают князья Чавчавадзе. Люди милые, душевные и без фанаберии. С удовольствием принимают участие в наших постановках.

– Да, я слышал про вдову Грибоедова.

– Точно так. Нина Александровна – изумительной души человек. Вышла замуж за Грибоедова, чтобы не соврать, лет в шестнадцать. Вскоре в Персии он погиб… Но она до сих пор хранит ему верность.

– Это не мешает ей играть комедийные роли?

– Отнюдь. Что поделаешь: жизнь берет свое, она – молодая дама, двадцать пять всего. Впрочем, роль Оливии – не такая уж комедийная, право слово, тут не надобно ни комиковать, ни паясничать. Зато ее младшая сестрица, Кэт – мы зовем княжну за глаза на а́нглийский манер, но в глаза, конечно, Екатерина Александровна, – уж действительно бесенок в юбке. Роль Виолы будто для нее писана.

– Говорят, что она просватана за князя Дадиани?

– Совершенно верно. Правда, по моим сведениям, официального предложения еще не было. Князь бывает у Чавчавадзе на правах друга, так что в дальнейшем все возможно.

Михаил подумал: «Не просватана – это хорошо».

Екатерины он пока не видел, но она ему уже нравилась.

5

Обустроившись, освежившись в тазике (дядька Андрей Иванович поливал из кувшина), при этом охая от холодной колодезной воды, он поменял белье и сел к столу писать письма – бабушке, друзьям и Прасковье Николаевне Ахвердовой, матушке Егора. Поначалу хотел, чтоб на почту пошел слуга, но потом решил прогуляться сам.

Было начало шестого, и жара постепенно спадала. На деревьях листва еще не вяла и не желтела, несмотря на осень. В придорожной пыли копошились голуби. Пахло жаренным на мангале мясом, свежей выпечкой, на брусчатке у почты живописно дымились конские яблоки, над которыми сверкали изумрудными попками мухи.

На почте было полутемно и прохладно. Впрочем, пара мух летала и здесь. Лермонтов позвал:

– Есть кто живой?

На втором этаже закашляли, и скрипучий голос ответил:

– Сей момент сойду.

Заскрипели доски ступенек и появился старик в почтовом мундирчике, с белым пухом на лысой голове и в очках на красном шишковатом носу. Видимо, он пил чай с вареньем, потому что в уголках губ розовели пятнышки.

– Письма можно у вас отправить?

– Отчего же нельзя – можно. Только почта теперь уйдет не раньше вторника. Нынче был конвой, привезли корреспонденцию из Тифлиса, а теперь уже во вторник только.

– Хорошо, во вторник, так во вторник.

Старик занялся конвертами, затем как бы между прочим спросил:

– Вы, поди, с нынешней оказией приехали?

– Да, сегодня. А что?

– Стало быть, еще новенький и не знаете Григория Ивановича Нечволодова. А ему пришли денежки из России. Он их ждал и ко мне наведывался. Мне послать-то к нему некого. Он неподалеку отсюда живет с молодой женой, в Дедоплис-Цкаро, что по-нашему значит Царские Колодцы.

– А в каком чине господин Нечволодов?

– Отставной подполковник. Уж такая умница, что сказать нельзя. Драгуны наши все его очень уважают. С Пушкиными дружил.

– Это с какими Пушкиными?

– Так известно, с какими: поначалу со Львом Сергеевичем, что служил у нас адъютантом генерала Раевского, а затем и со

старшим братом его, Александром Сергеевичем, знаменитым поэтом нашим.

– Неужели?

– Истинная правда. Дом у Нечволодова для гостей завсегда открыт.

Михаил задумчиво пожевал губу.

– Рядом, говорите, эти Колодцы?

– Четверть часа верхом.

– Я бы съездил. Если спектакль в восемь, можно обернуться.

– Обернетесь, обязательно. Места здесь тихие, вас никто не тронет.

– Объясните тогда, как ехать надобно.

Но тут, конечно, вышла заминка: кучер, он же конюх, Никанор спал без задних ног, и пока Михаил с Андреем Ивановичем его добудились и велели седлать, пока он седлал через пень-колоду, на ходу снова засыпая, на часах перевалило за без четверти семь. Однако корнет намерений своих не оставил и резво поскакал из Караагача, предварительно обогнув резиденцию Безобразова, дабы у начальства не возникло лишних вопросов.

На пустынной дороге были только он и ветер. Красное закатное солнце медленно садилось в сторону Тифлиса. Сердце билось в груди в такт копытам: Пушкин-Пушкин-Пушкин. Нельзя же упустить такую возможность и не познакомиться с человеком, близко знавшим самого Пушкина.

Село Царские Колодцы было тихим и милым. Оно встревоженно посмотрело на горячего всадника, неожиданно ворвавшегося в его безмятежную жизнь.

Домик Нечволодова [7] оказался каменным, но одноэтажным – правда, первый этаж находился на уровне второго, да еще и с балкончиком. На нем стоял сам хозяин в форме Нижегородского полка: черный мундир с красным стоячим воротником и рыжими эполетами. Было ему явно за пятьдесят – мешки под глазами говорили о возрасте, но седые усы молодецки топорщились, и осанка все еще выдавала удалого кавалериста. Лермонтов поздоровался и представился.

– Здравия желаю, – покивал Григорий Иванович не слишком приветливо. – Чем обязан? Извините, что в дом не зову: мы с женою собрались в Караагач на спектакль.

– Так и я на него надеюсь успеть.

– Непременно успеете. Тем более что вовремя не начнут, это у них как водится.

Михаил спешился, хозяин вышел из дома. После рукопожатия объяснились. Седой подполковник даже смутился.

– Право, неудобно, что почтмейстер, болван, вас подвиг на сию поездку. Я ему задам. Что за спешка! Чай, не голодаем без присланных денег.

Лермонтов успокоил: деньги – только повод, чтобы познакомиться. Его подви́г вовсе не почтмейстер, а великий Пушкин.

Нечволодов вздохнул.

– Пушкин, Пушкин… Как подумаю, что он убит сей зимою, сердце обливается кровью. Был бы я моложе, без семьи, вот ей-богу, собрался бы в одночасье и отправился на поиски этого Дантеса – вызвать на дуэль и поганую грудь его продырявить. У меня бы рука не дрогнула.

Из дверей дома вышла стройная высокая дама в светлом закрытом платье с буфами и соломенном капоре с темным плюмажем на затылке. Ленты капора были завязаны не прямо под подбородком, а очень элегантно под правой щекой. Украшали даму три прелестные свежесрезанные розы: две на поясе – розовая и красная, и розовая в черных волосах. Волосы – под стать перьям, брови темные, рот прелестный, маленький, в руке – зонтик.

– Вот позвольте, Михаил Юрьевич, представить вам мою супругу, Екатерину Григорьевну. Отчество – мое, между прочим. – Нечволодов расхохотался.

– То есть как ваше? – удивился Михаил.

– Очень просто. Мы с моей покойной женой – царство ей небесное! – приютили и удочерили девочку-черкешенку. Записал ее тогда на себя. А когда жена скоропостижно преставилась, а Катюша подросла, мы с ней и поженились. Разница у нас в тридцать пять годков.

Катя улыбнулась.

– Это не мешает нашему счастью – у нас две прелестных дочечки.

Подполковник, словно подтверждая сказанное, молодецки подкрутил усы.

Мальчик-грузин вывел под уздцы лошадь, запряженную в скромную, кожей обтянутую коляску, и залез на козлы. Нечволодов подал руку даме, помогая сесть. Усевшись сам, обратился к гостю:

– Коль уж так случилось, Михаил Юрьевич, что я не смог достойно вас нынче принять, так не обижайтесь. Приезжайте сызнова, когда изволите. Посидим, выпьем молодого вина, поговорим как друзья.

Лермонтов, прижав руку к сердцу, посмотрел на Катю. Та произнесла приветливо:

– Будем очень рады.

Михаил подумал: «Эх, украсть бы тебя у старого мужа да увезти куда-нибудь в Персию, где никто нас не сыщет. Но нельзя, долг велит подчинять чувства разуму».

Он вскочил в седло и поехал рядом с коляской.

6

На спектакль не опоздали: зрители только собирались. Сцена и скамейки были установлены на открытом воздухе в роще за селом. Деревья, росшие вокруг поляны, создавали иллюзию театральных стен. Нечволодовы беспрестанно раскланивались, здороваясь, Григорий Иванович многим пожимал руку. Безобразов отправил отставного подполковника с женой в первые ряды, предназначенные для почетных гостей, а Лермонтову, сказал:

– Разрешите, Михаил Юрьевич, представить вас князю и княгине Чавчавадзе [8] . Я как доложил, что вы прибыли к нам на службу, так они сразу проявили к вам живейший интерес.

– Я весьма польщен.

Князь был в партикулярном – фрак из темной ткани, светлые брюки, полосатый жилет и широкий галстук на стоячем воротнике, княгиня – в чепце с перьями и в приталенном платье с огромными вздутыми рукавами (мода была явно петербургской).

Познакомились. Александр Гарсеванович говорил по-русски с легким акцентом, то и дело сбиваясь на французский, его супруга, Саломея Ивановна, деликатно хранила молчание.

– Я поклонник ваших поэтических дарований, – сказал Чавчавадзе, пристально изучая собеседника. – Большей частью в списках. Ведь и зять мой покойный, Грибоедов, тоже не печатался, к сожалению. Ничего, время все расставит по своим местам. Я хотел бы перевести на грузинский ваше стихотворение про русалку.

– Был бы необыкновенно счастлив.

– Приезжайте к нам в Цинандали. Запросто, без церемоний. Мы гостям всегда рады. Александр Пушкин заезжал к нам по пути в Арзерум, а с его братом Львом мы вообще друзья.

– Непременно приеду.

Поклонившись, Михаил пошел в задние ряды, так как мест на первых скамьях уже не было. Полковой оркестр заиграл веселую музыку, и драгуны, составлявшие большинство публики, постепенно затихли. Занавес раскрылся. Декорация представляла из себя покои герцога, сделанные довольно топорно, но, как видно, с большим желанием. Точно так же играли исполнители заглавных ролей: чересчур громко, ненатурально, но напористо, с увлечением. Лермонтов с любопытством ждал появления Кити-

Виолы и наконец дождался: небольшого роста, хрупкая, с темными волосами под шапочкой и огромными синими глазами, девушка не терялась на сцене и произносила свои слова с должной долей иронии.

«А она похожа на Варю Лопухину, – с грустью отметил про себя Михаил. – Это помешает мне ее полюбить. Вечное сравнение… Нет, увы, Кити Чавчавадзе – не для меня. Надо посмотреть на сестру».

Нина Грибоедова [9] появилась в середине первого акта. Выше Екатерины [10] на полголовы и гораздо величавее. Взгляд уверенной в себе женщины. Голос ровный, бархатный. Плавные движения. Не в комедии бы выступать, а в трагической пьесе, например в «Маскараде». Даже имя героини странным образом совпадало. «Маскарад» писался года два назад, и о Чавчавадзе Лермонтов не думал. Или думал? Знал, что юную жену погибшего Грибоедова зовут Нина. Нет, не думал. Разве что подсознательно?

«Горе от ума» не пропустила цензура.

«Маскарад» не пропустила цензура.

Тоже совпадение?

Публика смеялась диалогам Оливии и Мальволио. Постановка ей нравилась, действие то и дело прерывалось аплодисментами. А Михаил отчего-то вдруг затосковал, ощутив внутри странный холодок, каждый раз возникавший при мыслях о судьбе. О его судьбе. И о смерти. О его смерти. Все кругом смеялись, а ему было тоскливо. Что же в нем не так? Почему он не может быть таким, как все? Вроде иногда получалось: забывал о страшном, отдавался разгулу. А потом вдруг опять накатывало. Вот придумал, что сегодня влюбится в Кити Чавчавадзе. Или в Нину. А сам почти влюбился в другую Кити – Катю Нечволодову. Но она чужая жена. И грех обидеть славного человека – отставного подполковника.

Снова неудача.

Снова один.

Никого родного. Бабушка не в счет.

Ни одна женщина не могла его понять.

Иванова, Лопухина, Сушкова…

Ведь ему нужна женская душа, а не тело. Тело – не загадка. Он ее давно разгадал. Душу бы открыть?

Как выдуманный им Демон он жаждет насладиться душой.

Он трагический ловец душ. Демон или Ангел?

У него на груди – оберег с иконкой Михаила-Архангела. Бабушкин подарок.

Он оберегает. Ангел-хранитель. Значит, все же Ангел?..

В перерыве многие драгуны подходили знакомиться.

Лермонтов немного успокоился, улыбался, слушал разговоры о скором выступлении в сторону Тифлиса для участия в смотре. Смотр – демонстрация дисциплины и выучки. Николай Павлович обожает смотры. Достойный сын своего отца – императора Павла, для которого боевые действия были ничто, а парады – все.

Михаил подумал, что от мрачных мыслей надо отвлекаться службой и литературой. Может, так на роду ему написано – не познать семейного счастья? Как там у Пушкина? *«Нет, я не создан для блаженства; ему чужда душа моя; напрасны ваши совершенства: их вовсе не достоин я».*

При первой возможности он обязательно проведает князей Чавчавадзе. Нанесет дружеский визит.

А вот к Нечволодовым вряд ли поедет. От греха подальше.

С трудом дождавшись окончания представления, Лермонтов воспользовался тем, что публика, аплодируя, сгрудилась у сцены и скрылся за деревьями. Постоял, подумал, а затем решительно зашагал домой.

# Глава вторая

1

В Крым и на Кавказ хотело поехать все большое семейство Николая I, вплоть до пятилетнего Микки, но монарх решил осчастливить лишь жену, Александру Федоровну, старшего сына Александра – цесаревича, наследника престола, и недавно отпраздновавшую совершеннолетие дочь Марию. Первая железная дорога в России пролегала пока только от Петербурга к Царскому Селу и Павловску, так что путешествовать приходилось в каретах и на пароходе.

«На хозяйстве» в столице император оставил младшего брата – великого князя Михаила Павловича, графа Новосильцева – председателя Госсовета и кабинета министров, а также особо доверенное лицо – вице-канцлера графа Нессельроде.

Августейшие путешественники провели неделю в Таврической губернии, открыв гравийную дорогу из Ялты в Алушту и Симферополь, а затем в Севастополе сели на военный пароход «Северная звезда» и поплыли к Черноморскому побережью Кавказа. Встали на Геленджикском рейде, приняли доклад барона Розена, посмотрели войска. Но парад не удался: проливной дождь и порывистый ветер смазали впечатление, да еще на рейде неожиданно загорелся трюм корабля сопровождения, и один из матросов был доставлен в госпиталь с сильными ожогами. Император сердился, выговаривал подчиненным. Дальше – больше: на морском пути к югу, в сторону Сухум-Кале, настиг шторм, дурно повлиявший на самочувствие ее величества. Пришлось задержаться в крепости на несколько дней. Затем дорога в каретах до Тифлиса под охраной казаков, пехотинцев и нескольких пушек заняла трое суток, с остановками на ночлег в Кутаиси и Гори. Здесь приветствовал грузинский губернатор князь Палавандов, а уже в Тифлисе – военный губернатор генерал-лейтенант Брайко. Снова не обошлось без досадных происшествий: на торжественный прием опоздал полицмейстер Ляхов, когда же явился, то был изрядно пьян (потом оправдывался, что принял «для храбрости»), чем очень разгневал его величество. Самодержец повелел снять несчастного с должности и отдать под суд.

Вечером 9 октября зарядил дождь, и семья императора возвратилась со службы в храме Успения Пресвятой Богородицы (прозванный в народе Сиони – в честь Сионской горы) под зонтами. Во дворце губернатора разожгли камин. Чувствуя недомогание, Александра Федоровна на ужин не вышла. Николай

Павлович ел рассеянно, заметил: «Как бы завтра ливня не было: вновь провалим смотр». Чай не допил и вскоре ушел. Дети поняли, что парад состоится при любой погоде.

Брат и сестра устроились в креслах у камина. Александр задумчиво смотрел на огонь, а Мария куталась в тяжелую шаль. Прервав молчание она спросила:

– Саша, о чем ты думаешь?

Брат глянул как-то отрешенно и пожал плечами.

– О чем? Об империи нашей. Как же ею управлять тяжело! Столько верст, столько весей и городов, столько лиц и характеров! Как добиться спокойствия? Миллионную армию держать тяжело, разориться можно.

Мария вздохнула.

– Папенька считает, главное – это армия. Наш великий предок Петр Первый завещал нам беречь как зеницу ока армию и флот.

– Я не возражаю, но какую армию? Мы по-прежнему молимся на Суворова: «Пуля дура – штык молодец!» Но настало иное время. Вместо парусного флота нам нужны военные пароходы. Вместо гладкоствольных – нарезные ружья. Новая артиллерия… Но попробуй сунься к отцу с этими идеями – или засмеет, или отругает. По нему, все у нас идет правильно.

У великой княжны вырвался смешок.

– Да, он в последние годы сделался нервозен. Говорит, турки обнаглели и хотят вернуть себе Крым. А ведь это новая война.

– Сами по себе турки не решатся. Но коль скоро их поддержат Англия и Франция, то не исключено.

– А зачем Англии и Франции поддерживать Турцию?

– Очень просто: Черное море. Кто владеет Крымом и Балканами, кто сидит на Дунае, тот господствует в Черном море. И наше растущее влияние в этом регионе им не нравится.

– Ну а мы тогда объединимся с Австрией и Пруссией. Граф Нессельроде очень ратует.

– Знаю, знаю. – Цесаревич кивнул. – Только силы выйдут неравные. Англия и Франция нас обскачут.

Книжка, лежавшая на коленях у Марии, соскользнула на пол. Александр наклонился и поднял ее.

– Пушкин. «Капитанская дочка». Тебе нравится?

– Гениально.

– А по мне, так его стихи много лучше. Проза какая-то безыскусственная, бесцветная.

– Ну, не знаю, Саша. Мне кажется, проза и должна быть такой – вроде прозрачная, как стеклышко, а на самом деле – хрусталь.

Брат насмешливо цокнул языком.

– Ух, как сказала! Ты прямо поэт.

– Мерси бьен. – Мария дернула плечом. – Нет, поэт – это Пушкин. Бедный Пушкин!

Она еще больше закуталась в шаль.

Цесаревич вздохнул.

– Да, потеря для нашей литературы огромная. *«Погиб Поэт! – невольник чести, пал, оклеветанный молвой…»* Тоже гениально, не правда ли?

Но Мария не согласилась.

– Вначале гениально, а потом ругательства неуместные.

– Да, за то его и послал папенька на Кавказ.

– Значит, он где-то здесь.

– Почему «где-то». Под Тифлисом, в Нижегородском полку драгун. Завтра мы его увидим на смотре.

Александр, помолчав, добавил:

– За него Сперанский [11] очень просил. Говорит: «Намекните батюшке на Кавказе как-нибудь в удобное время, что нельзя подвергать нового поэта опасности. Мы второй такой потери не переживем».

– И что ты? Намекнул папа́?

– Нет, какое там! Без конца рычит. Страшно подступиться.

Девушка задумалась. Красные отблески огня делали ее похожей на греческую статую. Или на Клеопатру. Впрочем, кто теперь знает, как выглядела в жизни царица Египта?

– Может быть, попробуем через маменьку? – Мария подняла глаза на брата. – Русской литературой она увлечена. И считает себя покровительницей искусств.

Александр оживился.

– Надо попытаться. Переговори с ней – так, по-женски. Постарайся растопить ее доброе сердце. Думаю, мама́ согласится.

– Попробую, коль представится подходящий случай.

2

Сегодня Дидубийский район – часть Тбилиси, а в середине XIX века это было примыкавшее к городу поле, на котором с древних времен местные князья устраивали смотры военных сил. Полукругом, напоминая античный театр, высились уступами каменные скамьи. На скамьях раскладывались ковры, и сиятельные особы рассаживались на них, не боясь застудиться.

10 октября 1837 года погода выдалась отменная: облаков не было в помине, солнце сияло по-летнему. На древках развевались знамена, блестели золоченые пуговицы мундиров. Участников смотра подняли ни свет ни заря, и с шести утра они ожидали царя-батюшку в полной выкладке и боеготовности. Император вместе с семейством прибыл в восемь часов. Ехал он на вороном

жеребце, в форме Измайловского лейб-гвардии полка, шефом которого состоял еще с детства: темно-синий мундир с серебристым поясом. Не спеша проезжал вдоль рядов выстроенных в каре пехотинцев и кавалеристов. Останавливался, приветствовал:

– Здравия желаю, удальцы-драгуны!

– Здравия желаем, ваше императорское величество! – рявкали ряды. – Уррр-а-а!

– Здравия желаю, молодцы-артиллеристы!.. Здравия желаю, орлы-казачки!..

– Уррр-а-а!.. Уррр-а-а!..

Завершив объезд, Николай Павлович обратился к воинам с краткой речью, объяснив, какую важную миссию выполняют они на Кавказе, подавляя сопротивление бунтовщиков и оберегая границы Российской империи с юга.

– Рады стараться, ваше императорское величество! – прозвучал дружный ответ.

Самодержец спешился у сидящих на скамьях почетных гостей – Александры Федоровны с детьми. Заняв место в центре, милостиво кивнул: начинайте!

Духовой оркестр грянул старый гимн «Гром победы, раздавайся!» – и полки стали перестраиваться для торжественного марша. Первой шла пехота – все тянули ногу, как когда-то требовал император Павел, – слаженно, стройно, плечом к плечу. Дальше гарцевала легкая кавалерия – уланы в голубых мундирах, гусары в красных доломанах и ментиках, драгуны в черном, казаки в бурках и папахах. Вслед за ними двигалась тяжелая кавалерия – кирасиры и карабинеры. Замыкала шествие артиллерия: кони и волы тащили большие и малые пушки и мортиры. В конце оркестр проиграл недавно принятый новый гимн – «Боже, царя храни!» (музыка Львова, слова Жуковского). Все присутствующие стоя пели, в том числе и самодержец. Он был очень доволен увиденным, все прошло без сучка и задоринки, мощь империи казалась незыблемой, значит, жизнь прожита не зря.

Николай Павлович подозвал Розена, троекратно обнял и расцеловал.

– Вот потрафил, Григорий Владимирович, усладил душу. Шли сегодня прекрасно. А драгуны просто превосходно. Кто их командир – Безобразов? Надо наградить. Лишь линейный батальон сбил слегка каре – видел, да? Ну ничего, нестрашно. Но драгуны-безобразовцы – молодцы!

В командирском шатре на краю поля выпили по чарке во славу русского оружия и отдельно – кавказского корпуса.

Говорили о дальнейших операциях против горцев и детально – о пленении Шамиля. Император был возбужден, часто улыбался, что в последнее время делал весьма нечасто. Тут-то Александра Федоровна и произнесла знаменательную реплику, о которой потом долго судачили в светских кругах.

– Николя, дорогой, – сказала она по-французски, – отчего бы тебе по сему случаю не помиловать поэта Лермонтова?

Все тревожно замерли. Николай I посмотрел на супругу в недоумении.

– Лермонтов? А при чем тут Лермонтов?

– Он драгун Нижегородского полка, чей проход так тебя порадовал.

Самодержец повернулся к Розену.

– В самом деле? Лермонтов?

– Точно так, ваше императорское величество, – подтвердил барон. – Ехал нынче в третьем эскадроне.

– Не заметил… – Император задумался. Если бы жена попросила его тет-а-тет, он бы точно отказал. Но прилюдно, при наследнике и княжне, да еще в такой славный день, на волне всеобщего ликования… У монарха дрогнула верхняя губа. – Отчего ты считаешь, Алекс, что служить Отечеству на Кавказе – для него наказание? Ведь другие служат – и ничего. Вон Григорий Владимирович служит – разве в наказание?

Но императрица не поддалась риторике мужа.

– Ты же понимаешь, о чем я. Божьей милостью Лермонтов – поэт. И его «Бородино» искупает вину за ту выходку, что была по случаю смерти Пушкина.

– Ну, не знаю, не знаю, грех его велик. – Император помедлил. – Впрочем, только чтобы сделать тебе приятное…

– И мне, папа́, – улыбнулась Маша.

– Присоединяюсь, – отозвался Саша.

Николай Павлович поднял брови.

– Да у вас заговор? Стоит ли тратить столько сил и времени на какого-то дрянного мальчишку? Ладно, будь по-вашему, я сегодня добрый. Обещаю перевести его ближе к Петербургу.

Александра Федоровна, чуть присев, с благодарностью наклонила голову.

– Мерси, сир.

– Мерси, мерси, – поклонились дети.

Император поморщился.

– Ну хватит об этом. Слишком много чести.

Через день августейшее семейство отбыло из Тифлиса, направившись по Военно-Грузинской дороге в сторону Владикавказа.

3

Впрочем, приказ о Лермонтове так и не был подписан. А слова к делу не пришьешь. Ни Розен, ни Безобразов не могли отдать распоряжений без специальной бумаги о переводе проштрафившегося корнета. Правда, разговор между ними состоялся, и барон сказал командиру нижегородских драгун:

– Бог даст, пришлют депешу из Петербурга. Государь раз обещал, непременно выполнит. А пока обходись с поэтом поаккуратнее, никаких рискованных заданий, пусть просто живет при полку да пишет свои замечательные вирши. Не обременяй.

Безобразов не обременял. С Лермонтовым они подружились, перешли на «ты», часто составляли компанию и расписывали пульку, после службы болтали на литературные и философские темы. Однажды Сергей Дмитриевич сказал:

– Давеча говорил на почте с Нечволодовым. Очень он обижается, что ты, Миша, игнорируешь их семейство. Приглашение принял, а не едешь.

– Да все как-то недосуг было.

– А теперь досуг. Отправляйся завтра же.

– Завтра я хотел ехать к Чавчавадзе. Пригласили меня особливым письмом: мол, хотят устроить у себя литературный салон с моим участием.

– Ну, тогда, конечно, надо ехать к князю. Но потом – непременно к Нечволодову.

– Хорошо, как скажешь.

Стоял октябрь. Но, в отличие от слов Пушкина про *«пышное природы увяданье»* , увядание Алазанской долины шло неторопливо, неярко. Трава то ли жухла, то ли нет, если смотришь вдаль – лишь отдельные полосы желтеют. Только в небе не было прежней синевы, словно кто-то прежнюю акварельную кобальтовую краску сильно развел водой. Да и солнце выглядело не яростно-рыжим, а прохладно-желтым.

При подъезде к Цинандали появились все еще по-летнему зеленые сады. Лермонтов ехал по аллее, а листва смыкалась над головой, образуя природную галерею, приятный аромат эфирных масел, источаемый листьями, ублажал обоняние. В ушах стояла звонкая тишина. Конь ступал мягко.

Плотные тяжелые листья.

Вроде нет остального мира.

Вечность. Ощущение вечности. И иллюзия, что сам вечен.

Галерея кончилась, и открылся вид на усадьбу: двухэтажный каменный дом, второй этаж выше первого чуть ли не в два раза. Заостренные кверху окна. Балкон-навес с ажурной решеткой. Плоская крыша. Козырек над парадным.

Лермонтов спешился. Подбежавший конюх взял Баламута под уздцы и повел под навес конюшни. Из парадного вышел сам князь – запросто, нарушая светские церемонии, по которым гостя должен был встречать кто-то из прислуги и затем проводить в покои к хозяину.

– Бонжур, батоно Михаил Юрьевич, – мешая в шутку русские, французские и грузинские слова, произнес Александр Гарсеванович, улыбаясь. – Как я рад, что вы здесь! – Он приобнял корнета, трижды прижавшись ухом к уху, но без поцелуя. – Милости прошу в дом. Дамы заждались.

Кроме дам в гостиной был еще Давид Александрович – унтер-офицер уланского полка, некогда учившийся с Лермонтовым в Школе гвардейских прапорщиков, но на год позже; в Петербурге они почти не общались, хоть и были на «ты».

– О, мон дье, Дато! – радостно воскликнул корнет. – Вот так встреча! Ты какими судьбами тут?

– Здравствуй, Маешка. В отпуск приехал на две недели.

– Почему «Маешка»? – удивился отец семейства.

Михаил фыркнул.

– Старая история. С легкой руки друзей-однокашников. Знаете героя известного романа Рикера – monsieur Mayeux? Остроумного, но коварного? В честь него и прозвали.

– Но ведь он был горбун? – заметила Екатерина.

– Что с того? Я ведь тоже не Аполлон. Привык: Мае, Маешка… Мишка – Маешка. Не обидно вовсе.

В разговор вступила старшая сестра – Нина.

– Нет. Давид если хочет, может называть вас по-прежнему, нам же такое прозвище режет слух.

– Можно просто Мишель. Или Мишико – по-грузински. Не люблю политесов, знаете.

– Хорошо. Мишель, с вашего согласия. А меня – Нино́, пожалуйста.

– А меня – Като́.

– Что ж, договорились.

Дверь открылась, и грузинка-нянька ввела девочку лет четырех. Она была вся в кудряшках, с поразительно умными черными глазами.

Княгиня Саломея представила:

– Это наша младшенькая – Софико. Мы с Александром Гарсевановичем уж не чаяли, что на старости лет Бог подарит нам еще одно счастье.

– Ах, какие ваши годы, мамб, – мягко попеняла Нина. – Папа́ чуть за пятьдесят, а вы на десять лет младше.

Князь сказал:

– Софико знает ваше стихотворение *«Светает…»* Про Кавказ. Мы его читали в списках, и оно нас просто пленило.

Он обратился к дочери:

– Не забыла, моя гогона́? [12]

Малышка зарделась, потупилась, опустила глаза.

– Нет… не помню…

– Хорошо, давай позже. А вот еще одна наша родственница. Разрешите представить: Маша Орбелиани. Саломее она доводится племянницей.

Небольшого роста, с тонким грузинским профилем, девушке на вид было не больше двадцати лет. Она смотрела на Лермонтова в упор, словно гипнотизируя. Чуть присев в книксене, сказала:

– Бонжур, мсье. Если они Нино́ и Като́, то меня тогда можно звать Майко́.

– О, созвучно с Мае, – пошутил корнет.

– Может, это неспроста? – сыронизировала Екатерина.

Все заулыбались.

Наконец, завершив знакомства, старший Чавчавадзе пригласил всех к столу. Началось традиционное действо: потчевание приезжего блюдами грузинской кухни.

– Вы должны отведать, Мишель… – говорила Нина.

– Вам понравится… – вторила Екатерина.

– Ты еще не пробовал… – наседал Давид.

Хозяин славил местное вино – белое, сухое, светло-соломенного цвета.

– Как вам вкус? – спрашивал Александр Гарсеванович, пригубливая и причмокивая. – А? Каков плодовый букет?

– Мягкий, тонкий, – соглашался Лермонтов.

– Изготовлено из нашего местного винограда сорта ркацители. В переводе с грузинского это значит «красная лоза». Собирают именно сейчас – во второй половине октября. А потом три года держат в дубовых бочках.

– Превосходно. Послевкусие просто бархатное.

– О, как точно сказано! Только поэт мог так сказать!

После обеда, с чашечками кофе все переместились в гостиную. Саломея попросила Екатерину сесть за фортепьяно. Та раскрыла ноты, заиграла, спела «Вечерний звон», но не на музыку Алябьева, ставший впоследствии знаменитым, а другой вариант – некоей Сабуровой. Князь прочел свои стихи на грузинском – в том числе «Черный цвет», а Като и Майко исполнили романс «Я не скажу тебе «люблю» по-русски и по-грузински. Все-таки уговорили выступить и маленькую Софико, девочка вначале конфузилась, а потом продекламировала с легким акцентом:

*Светает – вьется дикой пеленой*
*Вокруг лесистых гор туман ночной;*
*Еще у гор Кавказа тишина;*
*Молчит табун, река журчит одна…*

Она ошиблась только раз: в строчке *«и светит там и там»* сказала «там и сям». Затем все взоры обратились к Лермонтову. Он зашел за рояль и встал за ним, словно за трибуной, положил на закрытую крышку тетрадь. Полистал небрежно, поднял глаза и поймал на себе взгляд Майко – жгучий, гипнотический. Звонко произнес:

– Я привез вам для чтения мою драму «Маскерад». Первый вариант ее был представлен в цензуру год назад. Его отклонили по причине ряда непозволительных реплик. Мною были внесены изменения и дописан четвертый акт. Но и эту версию мне вернули. Что ж, в театре пиеска не пойдет, но читать в салонах не было запрета. Посему слушайте.

Михаил читал нараспев, как обычно читают поэты, ровно, даже монотонно, мало изображая действующих лиц, но очень выразительно. Слова Арбенина из третьего акта потрясли всех:

*Молчи и слушай: я сказал,*
*Что жизнь лишь дорога́, когда она прекрасна,*
*А долго ль!.. жизнь как бал —*
*Кружишься – весело, кругом все све́тло, ясно…*
*Вернулся лишь домой, наряд измятый снял —*
*И все забыл, и только что устал.*
*Но в юных летах лучше с ней проститься,*
*Пока душа привычкой не сроднится*
*С ее бездушной пустотой;*
*Мгновенно в мир перелететь другой,*
*Покуда ум былым не тяготится;*
*Покуда с смертию легка еще борьба —*
*Но это счастие не всем дает судьба.*

Сцена сумасшествия героя вызвала всеобщее оцепенение.

Лермонтов закончил чтение. Никто не проронил ни слова. Слушатели молчали.

Первым заговорил князь:

– Страшную историю вы нам поведали. Просто за donne la chair de poule… [13]

– Да еще и героиня Нина, – в самом деле поежившись, бросила Като.

– Это просто совпадение, – попытался оправдаться Михаил. – Не понравилось, значит?

Ему ответил с жаром Давид:

– «Не понравилось»? Как сие может не понравиться? Потрясающе! Гениально!

Нино подтвердила:

– После Грибоедова вы первый, кто создал пиесу в рифмованных стихах. Только у него комедия, а у вас драма.

Князь предложил поставить ее силами самодеятельного театра в Нижегородском полку, обещая договориться с местным цензором.

– Кто же сыграет Арбенина?

– Нечволодов.

– Ха-ха! И отравит свою жену Катю?

Саломея осуждающе пресекла шутливый разговор:

– Господа, оставьте, это не смешно.

Лермонтов спросил:

– Отчего же молчит мадемуазель Орбелиани?

Все глянули в сторону девушки. Та не засмущалась, сказала просто:

– У меня нет слов от восторга.

– Oh, quel compliment subtil! [14]

– И потом, сходство не только в имени героини, но и в фамилии.

– То есть?

– Арбенин – Орбелиани.

Михаил рассмеялся.

– Вот уж не подумал! Ей-богу, никаких аллюзий.

– Это очень странно.

Князь предложил вернуться в столовую и попробовать десерт – мороженое.

– А оно не отравлено? – тут же ввернул Давид.

Княгиня поморщилась.

– Датико, сынок, ты сегодня несносен.

Мороженое ели стоя, разделившись на группки, оживленно болтая. Александр Гарсеванович заявил:

– Михаил Юрьевич, мы вас не отпустим на ночь глядя. Хотя под Цинандали места тихие, береженого Бог бережет. Я уже распорядился постелить вам в гостевой комнате.

– Мне, право, неудобно…

– Да, помилуйте, голубчик, что за неудобства? Выспимся, позавтракаем, совершим конную прогулку. Я хотел бы побеседовать с вами на литературные темы…

– Буду счастлив, мон принс [15] !

– Вот и превосходно.

Оказавшись у себя в комнате – небольшой, но уютной, с окнами в парк; таз, кувшин, перина, – Лермонтов бросил тетрадь на кушетку и хотел было умыться, как вдруг заметил: из страниц тетради торчал розовый краешек бумаги. Взял, открыл и прочел на сильно надушенном листке (текст был на французском):

…

*«Уважаемый мсье Л.! Буду ждать Вас в беседке около полуночи. Постарайтесь выйти незамеченным».*

Без подписи. Кто же это? Не Нино точно. Строга, как сама княгиня. Да и старше его года на два-три… Вероятно, Като… А может Майко? Хотя Нино тоже нельзя сбрасывать со счетов. И когда успели написать, положить в тетрадь? Видимо, во время мороженого.

Михаил рассмеялся, скинул мундир и сорочку и начал с шумом и фырканьем умываться.

4

Лежа на кровати, он перебирал в уме события нынешнего вечера. Все прошло хорошо. Пьесу слушали как нельзя лучше. И читал он сегодня неплохо – ровно, без волнения. Помнится, тогда, в Петербурге, у Карамзиных, и в Москве, у Погодина, дрожал, как заячий хвост. А сегодня вел себя по-взрослому.

Като напоминает Лопухину. Но отчего он решил, что такое сходство явится препятствием? Может, наоборот? А какие у нее голубые глаза! Вот что удивительно. У отца и матери карие, а у дочки голубые. Уж не изменяла ли мадам Саломея своему супругу? Нет, такое думать кощунственно. Она дама строгая и холодная, как мороженое. Вряд ли в ней кипят любовные страсти.

Так от кого же записка? От Като? Или все-таки от Майко?

Честно говоря, он предпочел бы Катю Нечволодову. Но она слишком далеко. Вот и слава богу, нечего даже мечтать. Надо

стараться Нечволодовых обходить стороной под любым благовидным предлогом. Чтобы не рисковать.

Но когда же придет бумага из Петербурга о его переводе в Россию? И придет ли вообще?

Лермонтов щелкнул крышкой карманных часов. Двадцать пять минут двенадцатого. Можно полежать еще четверть часа. Как бы не заснуть. Нет, от впечатлений только что прошедшего да еще в предвкушении предстоящего не заснешь.

А надо ли возвращаться в Петербург? Что там хорошего? Бабушка – конечно. Близкие друзья. И журналы, где можно печататься. Но погода гиблая, вид на грязную Мойку, сплетни, светские интриги… В Москве лучше. Как-то проще, душевнее. Странный Гоголь. Пишет великолепно, но такой смешной в жизни. С сумасшедшим блеском в глазах. Говорит, что Пушкин подарил ему сюжет «Ревизора». Жаль, что он, Лермонтов, не успел познакомиться с Пушкиным. Видел только раз в жизни, на балу, издали.

Поселиться бы навсегда на Кавказе. Может, в Грузии – как Нечволодов. Или в Пятигорске. Нет, пожалуй, в Пятигорске не стоит – слишком шумно, как и в Петербурге. В Грузии спокойнее. Воздух несравненный. Какой воздух в Цинандали! Запах безмятежности, счастья. Взять в жены Майко или Като, уйти с военной службы в отставку и отдаться литературе. В голове столько планов и сюжетов! На три жизни хватит.

А сколько ему жизнь отмерила?

Лучше умереть молодым – эту мысль Арбенина он вполне разделяет.

Но не хочется, как не хочется, черт возьми, умирать в юности!

Мама́ умерла в двадцать два, папа́ в сорок четыре. Значит, он – в тридцать три. Если верить в нумерологию…

Он снова посмотрел на часы: без четверти полночь. Пора собираться.

Застегнул мундир, расчесал гребешком волосы. Посмотрелся в зеркало. Да, усы могли бы быть погуще. Борода вообще растет плохо, он ее сбривает без сожаления. Нос чересчур вздернутый. Да, не Аполлон. Вылитый Маешка. Но ведь кто-то влюбляется – и серьезно. Например, Сушкова. Да и Лопухина относилась к нему с нескрываемым чувством. Просто не дождалась… И отчего влюбляются? Некрасивый капризный мальчик. Разве что поэт. Но в мужчин не влюбляются за их талант. Или очень редко. Женщин пленяет вовсе не это. Ну-с, посмотрим, кто ждет его сегодня в беседке. Неплохой сюжет, впрочем, не слишком новый. У кого-то он читал в романе нечто похожее? У аббата Прево? [16]

Вылезти из окна и спуститься, пользуясь выступами каменной

кладки, было несложно. Он спрыгнул в кусты сирени. Выпрямился и огляделся.

Стояла темная ночь. Месяц едва проглядывал сквозь лохматые черные облака. Тишина, ни шороха. И цикад не слышно: поздно, осень.

А в какой стороне беседка? Не хватало еще заблудиться ночью в парке. То-то выйдет конфуз! Примут за ненормального. Гоголю бы простили, он и так чудак. Михаил же драгун с трезвым рассудком.

Лермонтов выбрался на аллею и пошел наобум. Вот ведь дура: для чего назначать свидание в беседке, раз он не знает, где эта беседка находится? Никакого соображения – не могла поставить себя на его место. Броди теперь в темноте. Как тать в нощи.

Не видать ни зги. Может быть, налево?

Но зато ощущение непередаваемое: теплая осенняя ночь, ни ветерка, остро пахнет листьями, землей и цветами сирени…

*Сирени тонкий, сладкий аромат*
*Меня пленил однажды совершенно,*
*Когда аллеей шел уединенной,*
*Любовию обманываться рад…*
*Я шел в сирени, повторяя едко:*
*«Да где же эта чертова беседка?!»*

«Так! Вроде шорох. Это, должно быть, мышь. Или все-таки платье незнакомки? Жаль, что нет фонаря. Или свечки.

Кажется движение за стволами. Так и есть – беседка. Слава богу! Все-таки нашел.

Фигура в темном плаще с накидкой. Сцена – как в какой-нибудь пьесе Лопе де Вега [17] . Или Тирсо де Молина [18] . Мои испанские корни, где вы там? “Буэнос ночес, сеньорита! Кэ таль? Комо эста Устед?” [19] Здесь мои познания в испанском кончаются. Надо переходить на французский».

– Бон нюи, мадемуазель. Комман са ва? [20]

Он подошел почти вплотную, но лица не видел.

– Трэ бьен, мерси [21] .

Голос не узнал, потому что пискнула еле слышно.

Взял ее за руки. Пальчики холодные и заметно дрожат.

– Вы хотели меня видеть, я пришел. Только я вас не вижу. Кто вы, мадемуазель?

Она тяжело дышала и не отвечала.

– Ах, скажите же что-нибудь!

Молчит. Хочет отнять руки.

– Говорите же ради всего святого!

Она пролепетала:

– Михаил Юрьевич… Мишико… – и заплакала.

– Господи Иисусе! Что с вами? – обнял Михаил ее за плечи.

Девушка порывисто прижалась к нему, и он почувствовал спазмы плача у нее в груди.

– Не таитесь, откройтесь, – произнес корнет мягко. – Все, что наболело. Я постараюсь помочь.

Она сжала его ладони и подняла лицо.

– Поможете?

– Обещаю.

– Михаил Юрьевич… Мишико… Женитесь на мне!

Изумившись, он пробормотал:

– Боже мой, о чем вы?

– Увезите меня отсюда. Я готова разделить ваш суровый армейский быт. Ожидать вас после сражений, ухаживать в случае ранения… Стану вам примерной женой.

Лермонтов не знал, что сказать. Наконец с трудом произнес:

– Шутите, сударыня?

– Ах, какие шутки! Это мольба! Никому другому я не могла бы открыться. У меня нет настоящих друзей. Я живу в доме моей тетушки…

«Это Майко! – догадался он не без удовольствия. – А что, может и в самом деле жениться?»

– Здесь и дома я ни в чем не нуждаюсь. Я княжна, все меня любят. Дома – дорогие мне сестры и брат. Меня намереваются выдать за богатого жениха. В благодарность им не смогу отказать и пойду за нелюбимого князя… Но в душе – тоска, тоска! Я способна на большее: стать подругой великого человека. Такого, как вы.

– Вы мне льстите, милое дитя.

– Ах, не говорите со мной в таком тоне! Точно Онегин в ответ на письмо Татьяны. Я уже не ребенок. Мне осьмнадцать лет, и я могу сама сделать выбор. Вся моя надежда на вас! Буду только с вами – и ни с кем более!

– Вы меня пугаете, Майко.

– Вы военный, а военным не пристало пугаться.

– Знаете, женитьба – чрезвычайно ответственный шаг.

– Хорошо, не женитесь, это все равно, только увезите меня с собой.

– Разрешите подумать до утра? Я человек рассудочный.

Девушка разжала пальцы и отстранилась.

– Не хотите… понятно…

– Погодите! Перестаньте, ей-богу, злиться. Я же не сказал «нет». Были б вы происхождения низкого или сирота. Но украсть княжну, да еще окруженную сонмом родичей, – дерзость непомерная. И куда бежать? Я на службе под особым приглядом. Нет, бежать не удастся. Выход один – законный брак. Я могу испросить дозволения жениться у Безобразова. Вы ведь знаете: лица из числа офицерского состава по закону, изданному императором, не имеют права жениться без разрешения своего командира. Предположим, Безобразов не возразит. Но дадут ли согласие ваши родственники?

– Я надеюсь… Но сказать точно я бы не решилась, – Майко вздохнула.

Лермонтов приободрился.

– Вот видите. Надо взвесить все «про» и «контра» [22] . Утро вечера мудренее. Сможем мы увидеться завтра наедине?

– Приходите в беседку после обеда. Здесь принят послеобеденный отдых, все ложатся спать, дом пустеет. Если я не смогу вырваться, напишите записку, положите вот сюда под камушек – я приду и прочту.

– Хорошо. Так и сделаю. – Он опять сжал ее ладони. – Милая Майко…

Михаил прошептал взволнованно:

– Вы мне очень нравитесь. Я вам тоже?

– Да, очень. Эта ваша драма… Я слушала с замиранием сердца. И сказала себе: этому человеку можно посвятить жизнь.

Лермонтов наклонился, прижался губами к ее губам, трепетным, прохладным, ощутил запах миндаля. Внезапно ему действительно захотелось стать супругом княжны Орбелиани, провести медовый месяц в Тарханах, а затем снять квартиру в Петербурге. Или в Москве. Быть отцом семейства. Мальчика назвать Юрием. Девочку – Марией. А другую – Елизаветой, в честь бабушки…

Выскользнув из рук Михаила, собеседница прошептала:

– Все. Прощайте до завтра. Я уйду первой. – И она растаяла в темноте, словно призрак.

Уж не сон ли это был? Не наваждение ли?

Лермонтов присел на скамейку в беседке. Расстегнул две верхние пуговицы мундира, пальцем оттянул воротник, вздохнул глубоко, так что грудь наполнилась воздухом до предела. Потом с шумом выдохнул.

Черт возьми, вот так приключение! Даже взмок слегка. Сколько ему пришлось страдать от светских красавиц, не желавших одарить его своей благосклонностью! В бешенстве писал дерзкие стихи, а мужскую силу растрачивал на доступных

девок. Но ни то, ни другое не вносило успокоение в душу. Варя Лопухина дожидалась его предложения, а он тянул, думал, что она никуда не денется, если вправду любит. А она взяла и вышла за старика. Отчего? Чтобы обрести статус в обществе? Так же, как и он. Он же не стал продолжать образование в университете, а внезапно для всех поступил в Школу юнкеров и гвардейских прапорщиков, хоть и не мечтал никогда о военном поприще. Чтобы обрести статус. Отучился два года в школе – и офицер. Офицер – это статус. Вход в салоны, в высшее общество. Разница большая: то студент, а то офицер. Хотел вырваться из-под бабушкиного влияния. И хлебнуть армейской романтики. Правда, действительность в школе и затем на службе оказалась вовсе не такой романтичной, как ему раньше представлялось. Все равно он не жалел о сделанном выборе. А о Варе жалел. И не мог выбросить из сердца.

Чтобы вышибить клин, нужен был другой клин. Неужели – это Орбелиани? И зовут Марией, как его мама́. И такая нежная, приятная, точно фея. Губки сладкие. Миндалем пахнут…

Нет, определенно можно попробовать жениться. Возвратиться с Кавказа с таким трофеем. То-то разговоры пойдут по салонам в Москве и в Петербурге! Лермонтов женился на грузинской княжне! Точно Грибоедов. Да, не ожидали! А на вид такой замухрышка…

Бабушка, конечно, вначале расстроится: ей кого ни приведи в жены внука, ни одной не будет довольна. Но потом остынет и успокоится. Примет Машу-Майко как родную. Бабушка – она добрая, хоть на вид и строгая. При желании из нее можно вить веревки.

Надо будет сразу выйти в отставку и заняться литературой. Наконец собрать книжку стихотворений – ведь Краевский давно пеняет, что не составляю. И продолжить хлопоты в отношении «Маскерада». А потом – открыть собственный журнал. И засесть за толстый роман. Имя герою уже придумано – Григорий Александрович Печорин. Кое-кто усмотрит параллели с Онегиным (две реки: Онега – Печора), ну и пусть. Ведь они действительно в чем-то схожи. Мой Онегин – офицер на Кавказе. Попадает в разные переделки, но не столько военные, сколько житейские. И описывает их чрезвычайно иронично.

Лермонтов поднялся, спросил сам себя: стало быть, женюсь? Затем устало провел рукой по лицу: завтра, все решу завтра. А сегодня – спать. Надо выспаться, чтобы принять верное решение.

Поплутав по аллеям, он вышел к дому и наткнулся на сторожа-грузина, обходившего с фонарем владения князя. Оба испугались. Осветив лицо незнакомца, сторож улыбнулся:

– Вы, русский офицер, гость хозяев, да? А зачем ходить в темноте, ночью надо спать.

– Вышел прогуляться, подышать свежим воздухом. И слегка заблудился.

– Заблудился – нехорошо. Я иду провожать, дверь открыть, да?

– Сделай одолжение, дорогой.

У себя в комнате он бросился на кровать и блаженно вытянулся. Ночью надо спать. Все решения будут завтра…

5

К завтраку Лермонтов спустился около восьми. Был во всей красе: в свежей сорочке, которую заботливо положил ему в саквояж Андрей Иванович вместе с чистыми носовыми платками и бритвенным прибором, в вычищенном мундире (чистил сам, найденной в гардеробе щеткой) и надраенных до блеска сапогах (чистил слуга Чавчавадзе – корнет выставил обувь в коридор), выбритый, сбрызнутый одеколоном. Увидел на балконе Давида, подошел поздороваться. После рукопожатий тот предложил покурить. Сели в мягкие плетеные кресла.

– Хорошо ли спалось, Мае?

– Великолепно. Как говорится, без задних ног.

– Видно, неплохо надышался ночным воздухом.

Лермонтов смутился.

– Сторож, мерзавец, доложил уже?

– Отчего же мерзавец? Это его работа. Сообщать обо всем, что заметил при обходе.

– Я вначале не мог уснуть и решил было прогуляться. Видишь – помогло.

– А зачем вылез из окна? И кусты помял? Проще – в двери.

– Побоялся кого-нибудь разбудить.

– Ну-ну. – Давид пыхнул трубкой. – А может быть, ходил на свидание в парк?

Михаил изобразил удивление.

– Господи, о чем ты?! Да с кем – свидание? У меня вчера и времени не было с кем-то уговориться.

Молодой Чавчавадзе невозмутимо курил. Затем сказал таким же невозмутимым голосом, глядя куда-то в сторону:

– Говорю по-дружески: с дамским полом в моем доме не шути. Здесь не то что в России. Наши законы намного суровее.

– Ты мне угрожаешь, Дато? – усмехнулся Лермонтов.

– Я предупреждаю. Сестры и Майко под моей и отца защитой. Никаких двусмысленностей не потерпим.

Михаил раздраженно засопел и какое-то время курил молча. Но потом спросил уже без нервозности:

– Ну а коли я сделаю предложение?

У Давида на лице отразилось недоумение.

– Да кому, позволю себе спросить? Нина дала обет и ни с кем не хочет связывать себя узами нового брака. У Екатерины жених – князь Дадиани. Правда, помолвка их еще не оформлена, но, я думаю, это дело времени.

– А Майко?

– Майко?.. – собеседник выдохнул дым. – О Майко забудь. Потому что она моя.

– То есть как – твоя?

– Я имею на нее виды.

– Любишь?

– Да, люблю. Состоял в переписке, будучи в Петербурге.

– А она к тебе расположена?

– Отвечала на письма с нежностью.

Трубка Михаила погасла, он зачиркал кресалом, высекая искры. Снова раскурил и затянувшись, спросил:

– Ну а коль она предпочтет другого?

Чавчавадзе ответил просто:

– Я его убью.

– На дуэли?

– Это уже неважно. Главное – убью. Потому что Майко за другим не быть.

Лермонтов, нахохлившись, сидел, как замерзший голубь. Мрачно бросил:

– Мне твои пассажи, Дато, удивительны. Все-таки у нас девятнадцатый век, и считается, что свободным женщинам можно делать выбор самим.

Однокашник слегка поморщился.

– Здесь Кавказ, и законы иные. На Кавказе все решает мужчина. – Он постучал по пепельнице, вытряхивая догоревший табак. – Словом, не сердись, дорогой Мае, я обидеть гостя не вправе и действительно рад тебя видеть после долгой разлуки, но считаю своим долгом честно предостеречь, по-дружески. На Кавказе свои порядки. Мы, живя в России, уважаем и соблюдаем ваши порядки. Ну а вы у нас соблюдайте наши. И тогда не возникнет поводов для ссор.

– Я благодарю тебя за науку, – мирно проговорил Лермонтов.

– Карги! Хорошо! – И Давид слегка похлопал его по предплечью.

Вскоре спустились дамы: первой шла Саломея, за ней дочери. Гостя проводили к столу. Все сели, ожидая хозяина. Улыбнувшись, Екатерина спросила:

– Как вам спалось, Мишель?

– Превосходно, Като, спасибо.

– На дворе нынче пасмурно, но, надеюсь, дождик не помешает вашей конной прогулке с папа́.

– Я тоже надеюсь.

Наконец появился князь. Слуги начали подавать блюда.

– А Майко не выйдет? – обратился к жене Александр Гарсеванович.

– Нет, Марии с утра нездоровится. Мы ей подадим в комнату.

– Сильно нездоровится?

– Ничего серьезного, – с некоторой насмешкой ответила Саломея, бросив взгляд на гостя. – С молодыми девушками это бывает.

Разговор перешел на другие темы. Лермонтову вдруг захотелось уехать, покинуть этот с виду гостеприимный, но на самом деле совершенно чужой, в чем-то даже враждебный дом, с его удивительными законами и неясными отношениями. Еще эта конная прогулка с хозяином! Может, отказаться? Нет, нельзя, обидится. Надо терпеть.

Кофе пили на балконе. Александр Гарсеванович, посмотрев на небо, произнес:

– Тучи вроде бы начали редеть, небо проясняется. Вы не против прогулки, Михаил Юрьевич?

– Я в предвкушении.

– Ты поедешь с нами, Дато?

– Нет, мерси, у меня дела в Караагаче.

– Ну как хочешь.

Конюх вывел под уздцы лошадей. Всадники помахали женщинам, провожавшим их, стоя на балконе, и неторопливо двинулись по аллее. Чавчавадзе заговорил:

– Меня вновь зовут на государеву службу. Предлагают потрудиться в совете Главного управления Закавказского края. Государь во время визита был милостив. Прежняя опала совершенно забыта.

– Вы довольны?

– И да и нет. Принести пользу родному краю – это честь для любого патриота, но при условии действительных полномочий. Просто числиться не имеет смысла, прикрывать своим именем злоупотребления остальных я не хочу.

– Вы всегда сможете злоупотребления вскрыть. Доложить государю…

– Ах, дражайший Михаил Юрьевич, на Кавказе не все так просто. Государь ведь далеко, а родные лихоимцы под боком. И порой они сильнее его.

Помолчав, Чавчавадзе добавил:

– Ну, да ладно, посмотрим. Я еще согласия не давал.

Разговор плавно перетек на общекавказские темы.

Горские народы во главе с Шамилем продолжают сопротивление, значит, спокойной жизни в этом регионе не жди. Главное, войной ничего не добиться, – рассуждал князь. – Будет только никому не нужное истребление друг друга. А России пора понять: силой одолеть Кавказ невозможно. Только экспансией товаров, культуры, цивилизации – предприятий и железных дорог. Люди, почувствовав выгоду, сами сложат оружие.

Вскоре выехали на берег быстрой речки – Чавчавадзе произнес название, но Лермонтов не запомнил, понял только, что она впадает в Алазани и питает почву у виноградников. Здесь дышалось легко, и в его душе возникло ощущение, что таким и должен быть райский сад: вечная зелень стройных деревьев, темно-голубая река, необъятная долина и гребешки гор. Чавчавадзе, видимо, тоже очарованный, прочитал стихи на грузинском языке, а потом перевел: «Даже на чужбине снится мне моя земля, чувствую брызги речной воды у меня на лице, ощущаю запах молодого винограда в давильнях; это запах моей родины».

Лермонтов вздохнул.

– А моя родина пахнет по-другому.

Каждый подумал о своем, оба рассмеялись.

Неожиданно князь сказал:

– Я вчера видел, как на вас глядела Майко. Будьте осторожны.

Лермонтов удивился.

– Осторожен? Почему?

– У нее в роду были чернокнижники. Если она захочет приворожить, вы потом навек потеряете разум и покой.

– Дато говорил мне, что Майко ему нравится.

– Да, я знаю. Они состояли в переписке, но она к нему питает только дружеские чувства. – Князь чуть помедлил. – И потом для Дато я наметил иную партию – внучку царя Георгия Тринадцатого, светлейшую княжну Анну Ильиничну.

– О, неплохо! А Дато знает?

– Знает, но пока сопротивляется. Он, видите ли, влюблен в Майко! Да мало ли в кого мы влюбляемся в юности. Надо смотреть на вещи реально.

– Сердцу не прикажешь.

– Сердцу – да, но уму можно. И жениться надо не столько по сердцу, сколько по уму. Как у вас говорят в России: по расчету.

– Вы женились на мадам Саломее тоже по расчету?

Князь расхохотался.

– В этом смысле мне повезло: и расчет, и чувства совпали.

Всадники повернули обратно. Лермонтов задумчиво спросил:

– Получается, если Майко выйдет за другого, то вопрос о Дато повернется в нужном для вас направлении.

– Да. – Чавчавадзе похлопал коня по шее. – Но не стройте иллюзий, мон шер ами [23] . Родичи Майко не дадут согласия на ваш брак.

Лермонтов вспыхнул.

– Я не понимаю, отчего? Вы же дали согласие на брак вашей дочери с Грибоедовым!

Князь пожал плечами.

– Ну, во-первых, пророссийские настроения десять лет назад были в Грузии намного сильнее. Во-вторых, Грибоедов был сановником высокого ранга – действующим министром. В-третьих, Нино умоляла меня об этом… – Он сделал паузу. – Вы не обижайтесь, Михаил Юрьевич, с вами по-другому…

– Можно обвенчаться и без согласия родичей!

Александр Гарсеванович хмыкнул.

– Можно, но не советую. Здешние законы суровы. Избежать последствий вам удастся, только скрывшись с ней в России. Но такой исход чреват для вас обвинением в дезертирстве.

– Меня, должно быть, скоро переведут в Петербург.

– Когда переведут – поразмыслите об этом отдельно.

Весь дальнейший путь до усадьбы Лермонтов молчал. Князь рассказывал о своей службе при Барклае-де-Толли, анекдоты о войне 1812 года, но он не слушал. Повторял про себя: «Вот назло, назло украду Майко и женюсь на ней. Не боюсь я ни Дато, ни князя, ни ее родных. Всем утру нос! Навек запомните, кто такой Маешка. Я для вас, видите ли, не знатен и не богат. Зато она влюблена в меня. Этого достаточно».

В усадьбе всадники поблагодарили друг друга за компанию. Чавчавадзе пошел отдохнуть до обеда, а Лермонтова встретили внизу Нино и Като. Младшая подошла с большой красивой тетрадью в золотом переплете.

– Дорогой Мишель, у меня к вам просьба. Напишите что-нибудь мне в альбом. Я была бы счастлива.

– С удовольствием.

Он взял тетрадь и поднялся к себе в комнату. Постоял у раскрытого окна, глядя на деревья, газоны, цветники, сбросил мундир. Сел, достал перо и чернильницу, покусал губу. Вспомнил голубые глаза Като, как она вчера пела, и решительно начал:

*Слышу ли голос твой,*
*Звонкий и ласковый,*
*Как птичка в клетке,*

*Сердце запрыгает;*
*Встречу ль глаза твои*
*Лазурно-глубокие,*
*Душа им навстречу*
*Из груди просится,*
*И как-то весело,*
*И хочется плакать,*
*И так на шею бы*
*Тебе я кинулся.*

Он рассмеялся и бросил перо. Рифмовать не хотелось. И так сгодится.

Но потом подумал и сочинил еще одно четверостишие:

*Как небеса, твой взор пылает*
*Эмалью голубой,*
*Как поцелуй, звучит и тает*
*Твой голос молодой.*

Нет, сегодня стихи не идут. Мысли о Майко. И разыгрывать влюбленность в Като совершенно не хочется. Может быть, чуть позже.

Лермонтов лег, закрыл глаза и представил себе Майко. Предки чернокнижники? Шутка или правда? Но глаза у нее действительно гипнотические. Впрочем, его предок, Томас Лермонт, тоже был ясновидящий. Магия на магию, колдовство на колдовство. Кто победит?

Он незаметно уснул и проснулся, услыхав голос за дверью:

– Михаил Юрьевич, мосье Лермонтов, вас хозяева ждут обедать.

– Хорошо, спасибо, иду!

Наспех приведя себя в порядок он сбежал по лестнице. Извинился за опоздание. Все семейство уже располагалось за столом, Майко и Давида не было. Михаил сел на свое место.

– А где мой альбом? – обратилась к нему Като.

– Ой, забыл наверху! Я стихи вписал.

– Сгораю от нетерпения. Можно послать слугу.

– Да к чему такая поспешность? Принесу альбом сразу после десерта. Вы уж простите: нынче вдохновения не было и писалось вяло.

– Отчего же не было? Утомились прогулкой?

– Нет, прогулка мне понравилась. Здесь у вас такие красоты! Грех не любоваться.

Во время еды обменивались ничего не значащими репликами. Лермонтов размышлял: как Майко дойдет до беседки, если не

вышла к обеду? Кто-нибудь увидит и сразу что-то заподозрит. Лучше ему не ходить вовсе. Впрочем, не ходить невозможно! Этим вечером он, должно быть, уже уедет. Чавчавадзе – милые люди, но пора и честь знать. «Маскерад» прочитан, местное вино по достоинству оценено, задерживаться нет резонов. А Майко оставить записку. Положить в беседке под камушек, как договорились. Он уедет – она прочтет. Гипнотический сон прошел. И жениться не нужно. Глупость какая – жениться! Как такое в голову могло прийти? Явно – гипнотическое внушение.

Он повеселел. Так всегда у него было: неопределенность терзает, трудно сделать выбор и на что-то решиться – и вдруг решение найдено. Сразу падает гора с плеч, сразу – облегчение, мир, покой в душе и хорошее настроение. Не доев десерт, сбегал в свою комнату и принес альбом. Прочитал стихи. После слов: *«Так на шею бы тебе я кинулся»* – осторожно добавил: – Ну, конечно, по-дружески.

Завизжав от восторга, Като воскликнула:

– Какая прелесть! – И сама кинулась, обняла за шею. Потом заметила: – Я, конечно, тоже по-дружески, правда?

Все засмеялись.

Князь сказал:

– Мы с моим покойным зятем Александром Сергеевичем Грибоедовым, породнившись, объединили наши коллекции оружия. Хочу, Михаил Юрьевич, сделать вам подарок. Окажите честь, осмотрите коллекцию и возьмите на память любую вещь.

Лермонтов слегка растерялся.

– Я не смею, Александр Гарсеванович. То есть коллекцию осмотрю с удовольствием, но коллекционное оружие взять не смогу.

– Нет уж, сделайте одолжение, Михаил Юрьевич. Вы своим отказом меня обидите. На Кавказе не принято отказываться от подарка.

– Ох уж эти кавказские порядки! Право, мне неловко.

Нина пришла на помощь.

– Русские любят, чтобы им дарили сюрпризом. Надо пойти навстречу, папа́. После осмотра коллекции мы вдвоем посоветуемся и решим, что преподнести гостю.

Глядя на любимую дочку, старший Чавчавадзе кивнул.

– Хорошо, пусть так, я не возражаю.

Закончив обед, мужчины перешли в библиотеку, где на стенах висели сабли, кинжалы, пистолеты и старинные ружья. Большинство – с дорогим чернением, кованные серебром и золотом, на многих – драгоценные камни. У Лермонтова загорелись глаза, он стоял совершенно завороженный.

– А? Что скажете, Михаил Юрьевич?

– Настоящие сокровища, Александр Гарсеванович.

Князь, как умелый гид, подробно рассказал почти о каждом из экспонатов – где, когда, кем добыт или куплен.

– А вот эти мне достались от Грибоедова, – продолжил хозяин. – Часть он привез из Персии, часть из Дагестана, часть ему подарили казаки после их набегов на аулы чеченов. Нина была права: мы решим с ней вдвоем, что достойно стать подарком восходящей звезде литературной России, новому Пушкину.

– Оставьте, дорогой князь, я сейчас сгорю со стыда.

– Нечего стыдиться своего таланта. Им гордиться надо. Потому что талант – дар Божий.

Наконец осмотр завершился. Лермонтов поднялся к себе – якобы для послеобеденного сна, а на самом деле – в ожидании возможности незаметно выйти из дома и пойти в беседку. Взяв перо и бумагу, размашисто написал по-французски: «Дорогая Майко!» Скомкал, взял другой лист: «Милая Майко! Если Вы читаете эти строки, значит, наше с Вами свидание не случилось. Я оставил записку и уехал из Цинандали. Нам не быть вместе – говорю с прискорбием, но суровой правде нужно глядеть в глаза. Обстоятельства против нас. Похищение Ваше невозможно, думать о нем смешно. Законный брак уж тем более невозможен из-за точек зрения в семействах Чавчавадзе и Орбелиани. Не судьба! Останемся добрыми друзьями и навеки сохраним в памяти ту прелестную ночь и случайный поцелуй. Будьте счастливы! Мишико».

Перечитав, посыпал специальным песком, сушащим чернила. Затем походил по комнате, взвешивая сделанное. Нет, нельзя иначе. Он совсем не готов к семейной жизни. Оба станут друг для друга обузой. У него иная судьба.

Лермонтов спрятал записку во внутренний карман, застегнул мундир и, приоткрыв дверь, осмотрел коридор. Вроде никого. Вышел и, стараясь не стучать каблуками, стал спускаться по лесенке, устланной ковровой дорожкой. Первый этаж был пуст и тих. Он осторожно покинул дом. Но буквально за порогом особняка столкнулся нос к носу со сторожем-грузином: тот старательно подметал дорожку у входа. Старик улыбнулся ему как доброму знакомому.

– Здравия желаем.

– Здравствуй, дорогой. – Лермонтов достал из кармана монетку. – Вот тебе гривенник. Сделай одолжение, не рассказывай никому, что видел, как я иду на прогулку.

Сторож обиделся.

– Вай, зачем платить? Илико и так может молчать.

– Нет, держи, это тебе подарок.

– А, подарок – совсем другое. Мадлоба! Спаси Бог! – Он наклонился к уху Михаила и прошептал: – Барышня видел. Тоже на прогулку. – И понимающе закивал, хитро улыбаясь.

Вот мерзавец! Все знает! Дать бы в рожу тебе, Илико! Как не везет. Но теперь поздно отступать.

Значит, она пришла? Незадача: отказать в письме было гораздо проще. А теперь придется искать новые слова. Да еще под гипнотическим взглядом. Сможет ли он уйти от ее чернокнижных чар?

Подходя к беседке, издали увидел белую шляпку. Девушка сидела, понурившись. Михаил взошел на ступеньку.

– Здравствуйте, Майко.

Какая она бледная нынче! Синяки под глазами. Взор какой-то туманный. Ссохшиеся губы.

– Здравствуйте, Мишель. – Покашляв, она проглотила комок. – Хорошо, что вы пришли. Я посмотрела, а записки нет, и вас нет. Очень огорчилась.

Он взял ее ладонь и поцеловал. Мягко прижал к щеке.

– Пальчики холодные. На дворе такая теплынь!

– А мне зябко. Видимо, вчера ночью простудилась.

– Бросьте, это нервное.

– Может быть, и нервное. После нашей встречи я не сомкнула глаз. Думаю и думаю. И не знаю, на что решиться. – На глазах у нее выступили слезы. – Я люблю вас… это так… и не перестану любить никогда… вы – мой идеал – умного, талантливого мужчины. Подождите, не перебивайте, у меня и так путаются мысли. Но любить – одно – каждый волен и вправе. А идти под венец – совершенно другое. Столько жизненных обстоятельств! Не уверена, что смогу их преодолеть.

Неожиданно для себя он сказал с горячностью:

– Не следует решать столь поспешно. Оба мы взволнованны и не мыслим трезво. Надо остудить разум. Время подскажет.

Встрепенувшись, девушка спросила:

– Что вы предлагаете?

– Нынче я уеду из Цинандали. Вскоре должен прийти указ императора о моем переводе в Петербург. Я поеду через Тифлис. Было бы чудесно, если бы к тому времени – скажем, через две-три недели – вы тоже оказались в Тифлисе. Мы увидимся и тогда объяснимся окончательно.

В глазах ее вспыхнула надежда.

– Я согласна! – Она взяла его за руку. – О, Мишель! Вы такой чудесный!

Лермонтов иронически улыбнулся.

– Вы меня не знаете. Я бываю гадок, сам себе противен.

– Все мы не без греха. Надо видеть главное, не замечая мелочей.

Он привлек ее к себе, заглянул в глаза. Брови были густые, почти сросшиеся на переносице.

Михаил дотронулся губами до мягких губ, снова ощутил знакомый запах миндаля. И поцеловал уже крепко, плотоядно.

Вырвавшись, она поправила волосы под шляпкой. Покачала головой, но не проронила ни слова. А затем чуть ли не бегом покинула беседку.

– Подождите, Майко! – крикнул вслед Михаил. – Я могу надеяться на встречу в Тифлисе?

Ответа он не услышал.

Лермонтов вздохнул.

– Странная она. Нервы такие слабые. Видимо, часто бывают истерики.

Он сел, закинул ногу на ногу. Разбросав руки по перилам беседки, блаженно прикрыл глаза. Хорошо! Все устроилось славным образом. И не разрыв, и не узы брака. Просто уход от сложностей. А увидятся, нет ли в Тифлисе – бог весть! Возвращаться к бабушке лучше одному.

Во время дневного чая, на котором Майко снова не было, Лермонтов объявил о своем намерении ехать в часть. Чавчавадзе даже слегка растерялись.

– Как же так, Михаил Юрьевич, любезный? – удивился князь. – Мы не поговорили как следует. И не выбрали вам подарок. Нет, помилуйте, вы должны остаться.

Он ответил:

– Я надеюсь на нашу новую встречу в Тифлисе. И хотел бы попросить Нину Александровну разрешить мне поклониться могиле Грибоедова.

У Нино дрогнули ресницы.

– Конечно, я весьма тронута этим вашим желанием. Обязательно сходим к моему Сашеньке вдвоем. Мы, должно быть, окажемся в Тифлисе в первых числах ноября.

– Стало быть, скорее всего, увидимся.

Михаил уезжал из имения около семи вечера. Все семейство, кроме Давида и Майко, провожало его, стоя на балконе. Он помахал рукой и, пришпорив Баламута, поскакал по аллее к выходу.

Вскоре впереди показался всадник – это был Давид.

– Что-то ты рано удираешь от нас, Маешка, – хмыкнул он. – Или не понравилось?

– Очень понравилось – что ты, Дато! Но, как говорится, труба

зовет. Да и негоже злоупотреблять гостеприимством.

– А отец подарил тебе кинжал из своей коллекции?

– Не успел. Но подарит при нашей скорой встрече в Тифлисе.

– Уж ты не сомневайся, подарит. И поверь мне, Маешка: лучше взять кинжал, чем девицу. Он надежнее.

Лермонтов фальшиво изумился.

– Ты о чем, Дато?

– Сам знаешь, о чем.

Несколько натянуто раскланявшись, они поскакали в противоположные стороны.

6

В Караагаче Лермонтов заглянул на почту и получил четыре письма – от друзей и от бабушки.

Бабушка писала, что недавно была у Дубельтов и узнала от Леонтия Васильевича, что вопрос действительно решен положительно: «Есть уже приказ о твоем переводе в гвардию, правда, не в Царское Село, а под Новгород. Это все равно, лишь бы не Кавказ!» – добавляла Елизавета Алексеевна. Словом, надо только подождать, когда приказ дойдет до Тифлиса и затем попадет к Розену. «Я надеюсь, будешь в моих объятиях к Рождеству».

Александр Одоевский сообщал из Ставрополя, что пришло его назначение в Нижегородский драгунский полк и они вскоре увидятся. Это было хорошее известие: Михаил относился к ссыльному декабристу словно к старшему брату и считал его стихи очень неплохими.

Святослав Раевский сетовал, что давно не получал от товарища писем. Видимо, несколько взаимных посланий затерялись в дороге. Друг слегка хандрил у себя в глуши в Олонецкой губернии, говорил, что спасается общественной деятельностью, издает местную газету и надеется, что, когда император снизойдет до прощения автора «Смерть поэта», и ему выйдет послабление.

А четвертое письмо было от Софьи Николаевны Карамзиной, дочери историка Карамзина, – у нее и у ее матери в салоне собирались литераторы, художники, музыканты. Лермонтов три раза здесь читал свои произведения. Софья Николаевна прочила ему великое будущее, предостерегала от опасностей на Кавказе и в своих письмах обычно всячески пыталась развлечь. И на этот раз, говоря о светских новостях Петербурга, с удовольствием сообщала: «Тут у нас теперь в моде финские красавицы – сестры Шернваль. Старшая, Аврора, фрейлина императрицы, вышла замуж за промышленника, мецената, ныне егермейстера двора Павла Демидова; мой брат Андрюша от нее без ума – и, конечно

же безнадежно, ибо та очень строгих правил. Говорят, ждет ребенка, но по ней пока что не видно. Младшая, Эмилия, замужем за графом Мусиным-Пушкиным, прежде опальным, а теперь прощенным. Несмотря на свои 27 лет, родила ему пятерых детей, и все мальчиков: двое сыновей умерли во младенчестве, а растут и здравствуют трое. Старшему уже шесть, младшему – четыре. И она снова начала появляться в свете. Непередаваемой красоты женщина! Если про Аврору можно сказать, что она – воплощение северной холодности, то Эмилия совершенно иная – теплая, душевная, пылкая, открытая. Часто посещает наши вечера. И мужчины через одного в нее влюблены. Вы, Мишель, как вернетесь, непременно влюбитесь тоже. Мы Вас ждем с нетерпением: всем уже известно, что прощение Ваше вышло».

Лермонтов рассмеялся: милая, наивная Софья Николаевна! Думает, что рассказ о новой модной красавице Петербурга позабавит его! Что ему до этой Мусиной-Пушкиной? Многодетной матери и примерной супруги графа? Да, он слышал, что граф – заядлый игрок и спускает за ломберным столом сказочные суммы. Ну, так что с того? Ему нет до их семейства никакого дела. У него на уме Майко Орбелиани. И чуть-чуть – Катя Нечволодова…

Возвратившись на постой, он получил доклад от Андрея Ивановича, что за время отсутствия барина ничего не произошло. Безобразов не спрашивал, Никанор ночевал у какой-то местной вдовушки, но застигнут был неожиданно возникшим соперником и теперь лежит с синяком под глазом и разбитой губой.

– А еще заглянули отставной подполковник Нечволодов и весьма опечалились, вас не застав. Написали записку. Вот, – и слуга протянул вчетверо сложенный листок.

Лермонтов раскрыл и прочел:

«Милостивый государь Михаил Юрьевич! Мы с женою очень на Вас сердиты: обещали заехать в гости и который день не соблаговолите. Окажите честь, приезжайте, как только сможете. С дружескими чувствами к Вам – Катерина и Григорий Нечволодовы».

Да, теперь не отвертишься, надо ехать. Ох, не знаешь ты, Григорий Иванович, чем рискуешь, зазывая к себе молодого изголодавшегося мужчину, да к тому же неравнодушного к Катерине Григорьевне! Ох, с огнем шутишь!

Он бросил записку и сказал слуге:

– Ладно, об этом завтра, на свежую голову. А теперь – мыться, ужинать, отдыхать. Я устал смертельно!

И, уже улегшись в постель, вспомнил, как вчера Майко и Като пели дуэтом романс по-грузински и по-русски. Встал, запалил

свечу и экспромтом набросал на обратной стороне записки Нечволодова:

*Она поет – и звуки тают,*
*Как поцелуи на устах,*
*Глядит – и небеса играют*
*В ее божественных глазах;*
*Идет ли – все ее движенья,*
*Иль молвит слово – все черты*
*Так полны чувства, выраженья,*
*Так полны дивной красоты.*

Следующую строчку: «Миндальный запах нежных уст…» – произнес, но не записал. Веки совсем слипались. Рухнул на кровать и, забыв погасить свечу, моментально уснул.

7

Скоро выбраться к Нечволодовым у Лермонтова не вышло: на другой день он участвовал в армейской джигитовке, регулярно проводимой в полку, дабы поддержать уровень кавалерийского мастерства, а потом Безобразов пригласил его вместе поохотиться на лисиц и зайцев – то-то было весело! По вечерам играли в карты, пили вино и рассказывали воинские байки. Иногда Лермонтова просили почитать стихи. А 7 ноября в Караагаче появился Александр Одоевский [24] – тут уж вовсе стало не до отставного подполковника и его жены!

Александр Иванович был пригож лицом и немного напоминал Лермонтову отца: выше среднего роста, сократовский лоб, синие печальные глаза с поволокой. Вместе с друзьями он был 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, после его арестовали и заключили в Петропавловку. По суду он получил пятнадцать лет каторжных работ, отбыл семь, а затем по указу императора оказался рядовым на Кавказе. Выглядело дико: он, 35-летний мужчина, дворянин – без званий, а мальчишка Лермонтов, на 12 лет моложе – офицер, корнет и с двумя слугами!

Познакомились они еще в Ставрополе, подружились, обнаружив взаимную симпатию, и вот теперь увиделись снова.

– Как там поживает гостиничка Найтаки? – спросил Михаил. – Много наших осталось?

– Да почти все разъехались по своим частям, – ответил Одоевский. – А гостиничка – что ж? Беззаботная, шумная, пахнет пирогами с капустой. И клопы кровожаднее волков.

Посмеялись.

– Я, должно быть, скоро ее увижу. Жду приказа из Петербурга.

У приезжего глаза стали грустные.

– Вам везет, мон ами [25] . Мне России вовек не увидеть.

– Полно огорчаться, Александр Иванович! Мы за вас будем хлопотать.

– Хлопотать, конечно, нелишне, но при жизни Николая Павловича снисхождения мне не выйдет.

– Не зарекайтесь. Бог милостив, и его величество иногда не чужд сантиментов.

Одоевский поморщился.

– Это дурно, если в стране человеческие жизни зачастую зависят не от закона и не от суда, а от мстительных или сентиментальных чувств одного человека.

– Се Россия, батенька.

– В том-то все и дело. В Англии и Франции конституция – в порядке вещей. А у нас за призыв принять конституцию либо вешают, либо ссылают, либо отдают в солдаты.

Чтобы переменить тему, Лермонтов сказал:

– А хотите, я замолвлю за вас словечко перед Безобразовым, и он включит вас в команду ремонтеров? Вместе съездим за карабахскими скакунами?

У Одоевского заблестели глаза.

– Ну, конечно, замолвите. Буду только рад.

– Значит, договорились.

Безобразов вначале сомневался, не хотел пускать ссыльного в далекое путешествие – вдруг сбежит, а ему отвечать. Да и Лермонтов не имел у начальства репутации законопослушного человека, но тот, резвясь, предложил:

– А изволь, Сергей Дмитриевич, спросить совета у карт.

– Это как же, Михаил Юрьевич?

– Коли вытянется красная – мы с Одоевским едем. Коли черная – остаемся в полку.

– Ты никак фаталист, голубчик? – усмехнулся полковник.

– Есть немного.

Перетасовали колоду. Командир нижегородских драгун поводил над нею ладонью, делая магические пассы, а затем молниеносно выудил из середки червового короля.

– Красная, красная! – хлопнул в ладоши обрадованный поэт. – Мы победили!

– Что ж, сдаюсь, – проворчал Безобразов. – Но имей в виду: на поездку не больше десяти дней. Чтоб к двадцатому ноября были в Караагаче.

– Слово офицера! Ждите нас к двадцатому!

Отряд был вполне внушителен – четверо офицеров, десять рядовых и пятнадцать казаков для сопровождения. Сзади тащили

легкую пушку. Карабах, конечно, не Дагестан и не Чечня, где лютуют отряды Шамиля, тут преобладали христиане армяне, но и здесь надлежало ухо держать востро. Зазеваешься – угодишь в аркан джигита, на веревке отведут в Кубу́ или Шемаху и определят в рабство.

Выехали затемно. А когда красновато-оранжевое, робкое солнце встало из-за гор, уже переправились через Алазани. Предстояло закупить двадцать лошадей (если поторговаться, может, двадцать две) на базаре в Шуше, а для этого преодолеть около 300 верст. Значит, примерно два дня пути.

Командиром ремонтеров был майор Федотов. Года три назад он едва не попал под суд за жестокость при ведении операции в одном из аулов: запер женщин, стариков и детей в хлеву и спалил заживо. Оправдывался тем, что чеченцы незадолго до этого налетели на русский обоз, в котором к нему ехали жена и ребенок, и всех убили. Император, рассмотрев доклады командиров Федотова, начертал резолюцию: «Отстранить от активных боевых действий и перевести тем же званием в Нижегородский драгунский полк». Так майор оказался в Караагаче.

Федотов почти ни с кем не дружил. Только иногда заходил к Безобразову и выкуривал молча трубочку-другую. Всех увеселений, в том числе спектаклей, проводимых в части, избегал. Но зато не пропускал ни одну службу в церкви. Многие, кто видел его во время молитв, утверждали, что Федотов плакал. По своей погибшей родне? Или же по душам, невинно убиенным в ауле? Кто знает!

На марше Федотов вскоре приказал:

– Степка, запевай!

Лихой казачок из сопровождения, славившийся своим голосом, звонко затянул:

*Пыль клубится по дороге*
*Тонкой длинной полосой,*
*Из Червленой по тревоге*
*Скачет полк наш Гребенской.*
*Скачет, мчится, словно буря,*
*К Гудермесу поскакал,*
*Где Гази-мулла с ордою*
*Нас коварно поджидал.*

Далее в песне говорилось об одной из схваток пятилетней давности: 500 казаков попали в засаду и потеряли 155 человек, но русские отбили атаку и рассеяли тысячное войско первого имама Дагестана и Чечни Гази Магомета. Заканчивалась песня куплетом:

*Полк примчался к переправе,*
*Что за Тереком была.*
*Там кричали нам солдаты:*
*«Честь и слава вам, ура!»*

И вся ремонтерская команда дружно подхватила:

*Там кричали нам солдаты:*
*«Честь и слава вам, ура!»*

Настроение сразу поднялось. Пели и другие известные песни: «Генерал Ермолов на Кавказе», «Я вечор, моя мила́я, во гостях был у тебя». Лермонтов с улыбкой подтягивал, радостно ощущая себя частью этого великого братства – воинов России, смелых, ловких, непобедимых. Ради таких мгновений стоило жить. Тут, в долине, верхом, в окружении соратников, с боевыми песнями на устах, жизнь казалась праведной, истинной, наполненной высшим смыслом, а салонные интрижки и любовные страсти выглядели мелкими, ничего не значащими, даже смехотворными.

На привал остановились возле горной речки Курмухчай. Ели обжигающую язык кашу с бараниной, дули на ложки, сухари размачивали в воде. Сидя рядом с Одоевским, Лермонтов спросил:

– Хорошо, не правда ли?

Тот взглянул невесело.

– Да чего ж хорошего, милостивый государь?

– Жизнь. Природа. Настроение.

– Жизнь не может быть хороша в принципе, ибо завершается смертью. Да, Кавказ красив, но природа России мне милее. А настроение скверное от плохих предчувствий. Так что ваши восторги, сударь, разделяю с трудом.

– Вы ужасный меланхолик.

– Так от безысходности. Собственной судьбы и судьбы России. Главное – от полнейшей невозможности изменить ни то, ни другое.

Михаил покачал головой, отрицая.

– Нет, напрасно, напрасно! Пушкин говорил: *«Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье».* А капля камень точит!

– Камень оказался слишком крепок.

– Но зато капель много!

К вечеру добрались до города Шеки, одного из древнейших на Кавказе. Комендант определил всех на постой в нижний караван-сарай: в каждой комнате офицеры разместились по двое, рядовые же по четыре человека. Лермонтов оказался в номере с

Федотовым. Тот достал из баула полотенце.

– Я пойду сполоснусь на речку. Не хотите составить мне компанию?

– Отчего же, извольте. Ледяная вода очень освежает.

Речка Гурджана оказалась быстрой, вода закипала у камней, разбиваясь в брызги. Но нагретый за день берег не успел остыть, и сидеть на валунах, раздеваясь, было приятно. Оба офицера остались в исподнем и, зябко ступая босыми ногами, охая и фыркая, пошли к потоку. Первым решился Федотов. Проревев нечто нечленораздельное, он окунулся с головой, вынырнул и прокряхтел:

– М-м, нечистая сила!.. До чего ж холодна!.. Ну, смелей, корнет, вам понравится.

Лермонтов ухватился за высокий, выступающий из воды камень, чтоб не быть снесенным течением, выдохнул и бултыхнулся в волны. Выскочил, как ужаленный, вытаращив глаза.

– Ух! Ых! Брр!

Оба захохотали. Долго находиться в такой обжигающей воде было опасно. Скользя на камнях, побежали на берег и стали растираться полотенцами.

У Федотова в руках откуда-то появилась фляга.

– А теперь выпейте, Михаил Юрьевич. Чтоб не простудиться.

– Это что?

– Знамо дело: водка.

Огненная жидкость сразу же согрела изнутри. Но оказавшись в пустом желудке, закружила голову.

– Ох, и крепка! – перевел дыхание корнет.

– Зато живительна, – отозвался майор, тоже прикладываясь к фляге.

Федотов предложил зайти в чайхану, расположенную в верхнем караван-сарае. Лермонтов смутился.

– Не могу, Константин Петрович, деньги оставил в нумере.

– А, пустое, корнет: я вас угощаю.

Приглашение, при всегдашней нелюдимости майора, дорогого стоило, и Михаил согласился. Чайхана была шумная, беззаботно-говорливая, как и все чайханы на свете, здесь коротали время после оголтелого базарного дня торгаши и мастеровые. При виде двух русских офицеров все замолчали и уставились на вошедших. Подбежавший чайханщик, кланяясь, предложил сесть за чистый стол. Перебросился несколькими репликами с Федотовым по-тюркски и торопливо побежал за едой и питьем.

– Хорошо вы освоили их язык, – с удивлением заметил

Лермонтов.

– Жизнь заставила. Коли надо допрашивать пленных, хочешь не хочешь – освоишь.

– Не могли бы вы дать мне несколько уроков?

– Почему нет? Только не взыщите: я бываю нетерпелив, коли собеседник за мной не поспевает.

– Постараюсь поспевать.

Ели манты (как положено на Востоке, руками), зелень, пили зеленый чай. Конечно, не удержались, и Федотов тайком, чтобы не смущать местных, по пиалкам разлил из фляги остатки водки; выпили, не чокаясь.

Лермонтов полюбопытствовал:

– Сколько лет вы служите на Кавказе, Константин Петрович?

Тот, смахнув с усов крошки, ответил не сразу:

– Уж двенадцать скоро. Начинал с Ермоловым, продолжал с Паскевичем, Вельяминовым, а теперь вот с Розеном. Лучшие годы положил.

– Не жалеете?

– Как вам сказать, Михаил Юрьевич? Прежде не жалел, даже несмотря на мои потери, потому как верил, что России это необходимо. А в последнее время…

– Разочаровались?

У майора скорбно поджались губы.

– Просто устал. Думаю об отставке. В тридцать два года для мужчины еще не все потеряно, жизнь начать сначала не поздно. Есть у меня именьице в Новгородской губернии – там сейчас сестра распоряжается. К ней бы и поехал. – Он помолчал и добавил: – Или в монастырь…

– Да с чего бы это? – удивился Михаил.

– Праведности хочется. Чистоты. Покоя. Грешник – не тот, кто грешил, грешник – тот, кто грешил и не раскаялся.

Дав на чай чайханщику, возвращались в свой караван-сарай уже в темноте. До номера их провожал коридорный с фонарем, и ему тоже пришлось дать на чай. Лермонтов хотел по привычке выставить сапоги за дверь, чтобы их почистили, но Федотов предостерег: тут Кавказ, могут и украсть. Разбирали кровати при зажженной свече.

– Вы читаете перед сном? – спросил майор.

– Да, обычно. Но сегодня увольте. Мочи нет – спать хочу.

– Тогда спокойной ночи. Я же почитаю с полчасика. Привык. Книги Ветхого Завета умиротворяют. Завтра трудный день: за Курой, бывает, налетают банды Шамиля. Нам же непременно надо дойти до вечера до Агдама, а еще лучше, если повезет, до самой Шуши.

Но Лермонтов уже не слышал его, провалившись в сон.

8

Самый опасный участок был между Евлахом и Агдамом: здесь, на Карабахской равнине, конница Шамиля часто нападала на обозы. За Агдамом, на отрогах Карабахского хребта, столкновений практически не случалось. Ехали с опаской, ружья и пистолеты наготове. Переправа через Куру длилась долго, мост оказался непрочным и с военной точки зрения уязвимым. Первыми перебрались восемь казаков, между ними – ремонтеры, а затем остальные казаки. Остановку сделали в Барде, где, согласно легенде, вещий Олег, ходивший против хазар, был укушен змеей и умер. Древности – мавзолеи и старые мечети – располагались в центре городка, но осматривать их было некогда. Наскоро перекусили, накормили-напоили лошадей, немного полежали в тени на травке и в начале третьего пополудни опять двинулись.

Речка Хачинай выглядела несерьезной – узкая и неглубокая, хоть и быстрая. Но в тот момент, когда отряд растянулся, переезжая вброд, в воздухе засвистели пули. Казаки открыли ответный огонь, развернули пушку, сделали два выстрела. Горцы ретировались. В результате у русских оказалось двое раненых: молодой казачок в плечо – легко, а Федотов в ногу – и довольно опасно, пуля застряла глубоко. Осмотрев рану, Одоевский (он когда-то начинал учиться на медика, но бросил) побоялся самостоятельно делать операцию, без необходимых для этого инструментов, только наложил жгут от кровотечения.

К Агдаму подъехали в половине шестого вечера. Командиром гарнизона был полковник Вревский – молодой, но, похоже, сильно пьющий человек с глупыми глазами. Он сказал, что пулю из раны мог бы извлечь доктор Фокс, но сегодня утром его похитили горцы и погоня не дала результатов. Есть еще местный брадобрей Камаль, практикующий врачевание, но ему вряд ли можно доверять.

– Наплевать, ведите Камаля, – прорычал Федотов, скрежеща зубами от боли. – Так и так помирать, ну а вдруг он вылечит?

Побежали за брадобреем. Он предстал перед ремонтерами – турок в феске и шальварах, с иссиня-черными от щетины щеками и глазами навыкате. Но по-русски говорил бойко.

Осмотрев рану, посерьезнел.

– Водка есть?

Вревский распорядился, живо принесли целую бутыль. Брадобрей налил два стакана: первый дал Федотову, а из второго сполоснул руки и остатками протер нож, заменявший ему скальпель. Опустился на колени перед раненым (тот лежал на скамье), приказал держать больного за руки и ноги, произнес

какие-то молитвенные слова и приступил к операции.

Водка – не наркоз, хоть и облегчает страдания, но не слишком. Мужественный майор не кричал, не ругался, лишь слегка постанывал и от боли плакал: слезы катились градом. Наконец Камаль извлек пулю, взвесил на ладони, оценил со знанием дела.

– Вай-вай, этот ядрышко можно на медведь охота!

Он начал зашивать рану. Тут Федотов потерял сознание, и пришлось хлестать его по щекам, чтобы привести в чувство.

Брадобрей со вздохом встал с колен, попросил полотенце и воды. Все повеселели, стали благодарить турка. Он застенчиво тер ладони, красные от крови, и отшучивался устало:

– Вай, какой спасибо, делал, что уметь.

Вревский протянул ему пять рублей. Но Камаль отказался.

– Нет, зачем обидеть, я за помощь денег не брать. Приходи – стричься, бриться – деньги приноси. А такой помощь бесплатно.

– Ну, хоть водки выпей.

– Нет, Коран запрещает водка.

– В Коране только о вине говорится. А про водку ни слова.

– Нет, нельзя, это очень грех.

– А по-нашему, грех не выпить за здоровье больного. Или ты не уважаешь русских офицеров?

Турок кланялся и беспомощно обводил всех глазами.

– Очень уважать, потому что Россия – сильный страна. Очень уважать. Только пить нельзя.

– Ну, чуть-чуть, только два глотка. Ты не можешь, Камаль, не выпить. Ну, не будь свиньей.

– Нет, я не свинья. Я молиться в мечеть и не свинья.

– Вот и выпей, а потом замоли грех в мечети. Или ты не друг нам больше.

Турок кряхтел, сопел, но потом все же согласился. Попросил, чтоб налили чуть-чуть, и сразу начал причитать, что налили много. Офицеры сдвинули кружки за выздоровление раненого и дружно выпили, в том числе и турок. Он сморщился, скривился, часто задышал.

– На, заешь огурцом, сразу полегчает.

Вревский принялся уговаривать Камаля выпить по второй, но несчастный брадобрей схватил нож и, прощаясь на ходу, выбежал из горницы. Все рассмеялись.

Федотова спрашивали, как его самочувствие. Тот ворчал с трудом:

– Ничего, ничего… завтра будет видно…

На другой день он проснулся бодрый, говоря, что рана почти не болит и, наверное, завтра можно будет ехать. А подчиненным

разрешил отдохнуть, осмотреть Агдам.

Лермонтов и Одоевский отправились на прогулку. Собственно, смотреть особенно было нечего: старая мечеть и руины дворца хана Панаха Али – груды белого камня (прежде это было самое высокое здание города, получившего название именно по дворцу: «агдам» по-тюркски означает «белая крыша»; но время и землетрясение уничтожили этот памятник).

– Представляете: когда-то здесь кипела жизнь, – говорил Михаил, проходя между развалин и поддавая носком сапога мелкие светлые камушки, – бегали покорные слуги, угощая своего повелителя, был сераль с десятком красавиц одалисок, били фонтаны, слух ублажала музыка. Сто лет прошло – никого и ничего не осталось. Люди умерли, стены рухнули, фонтаны высохли. Тишина, безмолвие! Так и мы уйдем. Так и наши страсти будут выглядеть глупыми через сотню лет.

Александр Иванович после паузы ответил:

– Я поэтому не люблю ходить по кладбищам. Сразу возникают мысли о бренном. Смотришь на могилы – все эти люди радовались свету, теплу, вкусным пище и питью, хорошей музыке. Учились, влюблялись, женились, изменяли… И что в итоге? Ничего, кучка праха, бугорок земли. Был ли смысл в их жизни? Есть ли смысл в нашей жизни?

Михаил скривился.

– Думаю, что нет. Или, может, этот смысл нам неведом. Знает только Бог. Для чего-то же Он создал наше мироздание, поселил человека в нем. Был какой-то замысел! Все в природе устроено разумно, значит, замысел есть и тут.

– Не уверен, совсем не уверен. Мир Божественный – мир иной. Ведь не зря существует выражение: «Перейти в лучший мир». Потому что там – Бог. Мир земной – порождение демонов. Здесь – болезни, хаос и муки, там – порядок, справедливость, спасение. Здесь все имеет начало и конец, там – вечность и бессмертие. Мы живем в аду. И желаем смерти как избавления.

Лермонтов присел на обломок камня и поднял на Одоевского глаза.

– Получается, по-вашему, что не надо бояться смерти?

Декабрист грустно улыбнулся.

– Смерти не бояться нельзя, все живое боится смерти. Только человек как носитель Божественного начала – разума – может осознать, что за смертью – новая жизнь. Просто переход жизни в иные формы. Тело боится – разум успокаивает.

– Тем не менее никто умирать не хочет. И самоубийство считается тяжким грехом.

– Только Бог решает, когда чей час. – Одоевский сел

напротив. – И потом, для того, чтоб покончить с собой, вовсе необязательно принимать яд, резать вены или выбрасываться из окна. Рисковать на войне и участвовать в дуэлях – тоже род самоубийства, но без греха.

Между развалин росла трава, пробивались кустарники. Новая жизнь заменяла старую, словно подтверждая слова Одоевского.

– У меня табак кончился, – обнаружил Михаил, распуская тесемки на кисете. – Надобно сходить в лавку. Заодно куплю карандаш и бумагу – хочется запечатлеть виды Агдама.

– Что ж, пойдемте вместе.

В гарнизонной крепости Вревский угощал офицеров, рядовым тоже кое-что доставалось с барского стола. Пили за удачу в лошадиных торгах, за здоровье раненого Федотова, за успехи Лермонтова на литературном поприще. Командир гарнизона поднял рюмку за здравие государя императора. А когда все присоединились, вдруг спросил:

– Вы, Одоевский, что, не пьете?

Александр Иванович сухо проговорил:

– Мне достаточно, я и так уже перебрал.

– Но за государя нельзя не выпить.

– Вот и пейте, сударь. Я мысленно к вам присоединяюсь.

– Этак не годится, – на полковника напал нетрезвый кураж. – Вас, бунтовщика и крамольника, столько лет воспитывали в Сибири, а теперь и на Кавказе, но учение, как видно, не пошло впрок. Я обязан сообщить, кому следует.

– Воля ваша. Я доносов никаких не страшусь. Более того: чем раньше меня повесят, тем лучше. Повидаюсь с повешенными друзьями на небесах.

Глупые глаза Вревского совсем поглупели. В ярости он сказал:

– До дуэли с вами я не унижусь, ибо драться полковнику с рядовым не пристало. Но начальству вашему будет доложено.

– Нет необходимости, – неожиданно вмешался Федотов. – Я его начальство. И считаю, что солдат Одоевский перед вами не провинился.

– Как не провинился? – повернул к нему голову командир гарнизона. – Он отказался выпить за здоровье государя!

– Разве? – удивился лицо Константин Петрович. – Я не помню.

Он обратился к присутствующим:

– Или кто-то помнит?

Офицеры и рядовые, опустив глаза, хранили молчание.

– Видите, полковник: никто не помнит. Можете писать, что угодно, но свидетелей нет.

Вревский встал, пробурчал: «Крамола! Вы, майор, ответите!» – и решительно вышел.

– Так! Попались! – произнес Лермонтов.

– Ой, да будет вам! – отмахнулся Федотов. – Знаю я подобных людишек. Выпил рюмку, а куража на целое ведро. Протрезвеет и успокоится. Лучше поговорим о том, как нам завтра быть. Я, скорее всего, сесть верхом не смогу. Стало быть, поеду в повозке. Это замедлит наше продвижение к цели, но пути, слава богу, нам осталось всего ничего – меньше тридцати верст. Через три часа, если без приключений, будем уже в Шуше.

– Говорят, здесь места спокойные.

– На Кавказе нигде не спокойно, но с армянами, естественно, лучше…

Утром встали ни свет ни заря, добудиться Вревского не смогли и повозку наняли собственными силами. Выехали в пять, двигаясь плотной группой, окружив со всех сторон раненого начальника. Видимо, Федотову лучше не сделалось: он полулежал бледный, морщась от каждого ухаба на дороге. Но от предложения Одоевского осмотреть рану и сменить повязку отказался: мол, в Шуше найдем настоящего доктора.

Городок оказался очень милым, чистым и ухоженным. Тюркская его часть находилась в низине, над которой высились башни мечети Говхар-ага. А в нагорной части жили армяне, и над крышами их домов возвышался ребристый конус храма с крестом. Древняя крепость называлась Панах-абад (то есть построенная тем самым Панахом Али), сложенная из серого камня, с зубчатыми стенами. В круглых башнях зияли бойницы. По смотровой площадке самой крупной из башен, под навесом от солнца и дождя, методично вышагивал караульный с ружьем. На базарной площади шли торги, все кругом шумело, кричало, лаяло, блеяло, двигались повозки, кони, ослы, верблюды, пахло сеном, жаренным на мангале мясом, конской мочой. В крепости ремонтеров встретил комендант Вартанов, добродушный армянин лет сорока пяти. Он разохался, узнав о ранении Федотова, и сообщил, что у них есть прекрасный доктор, только что прибывший из Агдама, по фамилии Фокс. Лермонтов удивился.

– Так его же похитили горцы!

– Точно так, похитили. Привезли к себе и заставили лечить своего командира: «Вылечишь – отпустим да еще наградим, а не вылечишь – убьем».

– Значит, вылечил?

– Конечно! Он просто творит чудеса. На второй день поднял больного с койки. И ему подарили кольцо с бриллиантом. Но в Агдам возвращаться не хочет, говорит, Вревский негодяй и

пропойца, хуже инквизитора.

– Что ж, велите доктора позвать.

Алексей Андреевич Фокс, по отцу – англичанин, а по матери русский, оказался кругленьким сдобным человечком, лысоватым, в очках, с хитрыми глазками и белыми мягкими ладошками. Их он беспрестанно потирал друг о друга. А когда размотал кровавые бинты на Федотове, по комнате разнесся тошнотворный запах гноя. Кое-кто закрыл нос платком. Доктор жестко попросил:

– Господа, соблаговолите выйти отсюда. Вы мешаете мне работать.

Лишь Одоевскому он позволил остаться: тот сказал, что учился на медицинском и готов ассистировать.

Все ждали за дверями больше получаса, а затем набросились на вышедшего Фокса: что и как? Тот ответил прямо, потирая ладони:

– Ситуация нехорошая. Брадобрей сделал операцию грамотно, но, как видно, не сумел обеззаразить рану полностью. Нам пришлось ее снова вскрыть и прижечь как следует. Если нагноение будет продолжаться и завтра, ногу придется ампутировать.

– Неужели?!

– Это крайняя мера, на которую мы пойдем, чтобы сохранить ему жизнь. Но посмотрим, как пройдут день и ночь. Нам же остается только молиться.

Лермонтов и Одоевский собрались «на разведку» на базар. Декабрист по дороге восхищался мастерством доктора – золотые руки, тонкая работа, гений медицины.

– Он бы мог иметь богатую практику в Петербурге или Москве, – продолжил Александр Иванович, – так ведь нет. Добровольно поехал на Кавказ, подвергается опасности и спасает людей. Что за человек, право слово!

– Мало ли подвижников на Руси, – заключил Михаил.

– В том-то все и дело, что мало.

На базаре отыскали торговцев лошадьми и посмотрели их товар, приценились. Наибольшее впечатление произвел жеребец Эльмас из табуна так называемого «ханского завода» – высота в холке сорок вершков (около 140 сантиметров), шея мускулистая, грудь глубокая и широкая, ноги и копыта короткие, но крепкие, лоб высокий, глубоко посаженные глаза. Эта порода называлась по-местному «кеглян».

– Вы нигде такой больше не найти, – убеждал торговец-татарин с жидкой бородкой. – Чистокровный джинс-сарыляр. Род ведет от отборный хорезмский аргамак. Посмотри, хозяин, где шея, где кадык. А? Только у аргамак есть такой. Волос тонкий и

мягкий, как шелк. Золотистая масть. И у нас весь табун не худшей.

– А почем? – спросил Одоевский.

– Двести рубль, – не моргнув глазом, ответил хитрец.

– Эк, куда хватил! За такие деньги в России двух приличных жеребцов купить можно.

Но торговец презрительно поморщился.

– Э-э, Россия! Разве там есть такой красавец?

– Сто пятьдесят, – назвал Лермонтов цену.

– Обижаешь, хозяин. Разорить меня хочешь?

– Коль по сто пятьдесят, мы возьмем двадцать. И на круг выйдет три тысячи. Разве плохо?

– Три тысяч – хорошо. Но когда по двести – выйти четыре тысяч. Еще лучше.

– Ну, как знаешь. Мы пойдем искать других продавцов.

– Стой! Стой! – испугался татарин. – Сто девяносто.

– Сто шестьдесят – и точка.

– Вай, зачем точка? Надо торговаться побольшей.

– Торг окончен. Красная цена – сто шестьдесят.

– Дай хотя бы сто семьдесят.

– Ни за что.

Продавец нахмурился.

– Должен говорить с мой хозяин. Завтра приходи.

– Хорошо, придем. Только, чур, Эльмаса никому без нас не продавай.

– Нет, нет, Эльмас – для вас.

– Стихами заговорил, каналья! – засмеялся Лермонтов. – Завтра мы придем вчетвером и, Бог даст, с нашим командиром. Коль уговоримся, то поедем отбирать скакунов к вам в табун.

Приложив ладони к груди, коневод кланялся, уверяя в своем почтении.

Удалившись, друзья продолжили обсуждать карабахских лошадей и решили, что могла бы выгореть неплохая сделка. Возвратившись в крепость, рассказали о своих впечатлениях. Но майор слушал как-то отрешенно. Наконец промолвил:

– Нет, по сто шестьдесят многовато.

– Он за меньшее не отдаст.

– Свет клином на нем не сошелся.

– Может, и сошелся. Экземпляр выдающийся, правду говорим.

– Ну, посмотрим завтра.

Пообедав, друзья отправились на прогулку. Лермонтов рисовал (по его словам – «снимал виды») крепость, мечеть, уличные лавочки. Вечером играли с офицерами в карты, пили местное вино (хуже кахетинского), слушали истории об амурных

похождениях служащих гарнизона. Те особенно хвалили жрицу любви по имени Мириам.

– Что, армянка?

– Нет, еврейка. Мы такой груди вовек не видали.

– Что берет?

– Рубль за час. Два рубля за ночь. Но в гондоне.

– А без гондона?

– Как договоритесь, но не меньше трех…

Утренний осмотр доктором Фоксом дал неплохие результаты: нового нагноения не случилось, жара не было, у больного появился аппетит. А поев, сказал, что хотел бы со всеми ехать на базар.

– Я бы не советовал, – счел своим долгом предупредить медик. – Даже сидя в повозке, вы не сможете уберечь рану от толчков и вибрации. А для заживления нужен полный покой.

– Ерунда, забинтуйте ногу потуже – и все в порядке.

– Можно и потуже, но тогда ранение не будет дышать. А приток воздуха очень важен для вентиляции: чем быстрее подсохнет, тем лучше.

– Понимаю, но потерплю несколько часов. А когда уладим главные дела, отлежусь два дня перед обратной дорогой.

– Ох, рискуете вы, Константин Петрович.

– Тот не драгун, кто не рискует.

Рассудили так: на базар Федотов поедет, сам посмотрит Эльмаса и решит вопрос о цене. А затем офицеры отправятся в табун отбирать других лошадей без него.

Утро было прохладное, дул студеный ветер, впервые природа давала понять: начался ноябрь и не за горами зима. Командир сидел в небольшой повозке, завернувшись в шинель; был он бледен, но бодр. На базаре нашли вчерашнего продавца, тот приветливо кланялся, говорил, что его хозяин рад служить русским офицерам и готов уступить еще пять рублей и назначить цену в сто шестьдесят пять за голову. Ничего не ответив, майор попросил помочь ему сойти с таратайки. Опираясь на здоровую ногу, поддерживаемый под мышки с двух сторон, запрыгал к Эльмасу. Осмотрел коня со всей тщательностью и остался весьма доволен. Обернулся к татарину.

– Коли остальные не хуже, я готов купить двадцать одного, но по сто шестьдесят два с полтиной.

Неожиданно татарин выдвинул встречное предложение:

– Будь по-твоему, господин, сто шестьдесят два с полтина. Но купи тогда двадцать три.

На лице Федотова отразилось сомнение: он считал деньги. Наконец определился:

– Двадцать двух куплю, но по сто шестьдесят одному рублю.

– Вай, совсем меня разорить хочешь. Мой хозяин меня убить. Ладно, господин, только для тебе: двадцать две по сто шестьдесят одному с полтина.

Рассмеявшись, майор кивнул.

– Черт с тобой, уболтал, мерзавец. Дайте ему задаток в тысячу рублей. Остальные – после завершения сделки. С Богом, господа, отправляйтесь в табун. Я поеду обратно в крепость… – Помолчав, добавил: – Прошу остаться со мной корнета Лермонтова. У меня до вас будет дело, Михаил Юрьевич.

– Слушаюсь, господин майор.

Возвращались молча. А потом, когда оказались в комнате вдвоем, Федотов произнес:

– Дни мои сочтены. До Караагача я не доберусь.

Лермонтов вздрогнул.

– Константин Петрович, вы поправитесь!

– Дайте сказать. Мне вчера во сне явились жена с доченькой… Ждут меня на небе. Вот и хорошо, я измучился от разлуки с ними и хочу скорее соединиться. Мы теперь составим с вами завещание и потом заверим у коменданта. Схóдите в армянскую церковь, позовете батюшку, чтобы исповедал меня и соборовал. А когда окажетесь в Петербурге, отдадите завещание моему духоприказчику – я вам расскажу, как его найти. Уж не откажите в любезности, Михаил Юрьевич.

– Константин Петрович, сделаю все по вашему желанию. Но уверен: доктор Фокс вам не даст покинуть этот мир.

– Ах, уймитесь, право. Мне лучше знать. – Он откинулся на подушки и закрыл глаза.

9

Лошадей подогнали к Шуше к вечеру. Их поместили в специальный загон и поставили четверых казаков и четверых солдат с пушкой для охраны, в том числе и Одоевского. Лермонтов без друга заскучал и хотел вначале отправиться к Мириам, но потом раздумал, опасаясь нехороших болезней. Вытащил тетрадь с «Демоном», начал изменять некоторые строки – например, под своим впечатлением от Эльмаса написал:

*Под ним весь в мыле конь лихой*
*Бесценной масти, золотой.*
*Питомец резвый Карабаха*
*Прядет ушьми и, полный страха,*
*Храпя косится с крутизны*
*На пену скачущей волны.*

Впрочем, сочинять настроения тоже не было. Завещание,

составленное Федотовым, и его возможная скорая смерть угнетали. Сам-то он когда? В тридцать три? Или, может, раньше? Да, Одоевский говорит, будто смерть – избавление. Отчего же тогда при мысли о смерти душа болит? Ева съела запретный плод, даже зная, что станет смертной. Что важнее – быть смертным, но вкусить от древа познания или быть бессмертным, но при том непричастным к тайнам бытия? Вот вопрос вопросов! Ахиллес при дилемме – либо краткая, но славная жизнь, либо долгая, но бесславная – выбрал первое. Он, Лермонтов, выбрал бы то же. Лучше умереть молодым и греметь в веках. Только, черт возьми, как не хочется умирать рано!

Александр Иванович, сменившись в карауле, возвратился в крепость за полночь. Увидев Михаила, сидящего на порожке и курящего трубочку, улыбнулся.

– Что, не спится?

– Грустные думы одолевают.

– А меня – напротив – отрадные. Ночь такая тихая! Я стоял в карауле, а кругом только редкие фонари, небо звездно-черное, зубчатые стены крепости, и восточные мотивы наполнили сердце. Начал фантазировать на тему «Соловей и Роза». Помните, у Пушкина? У меня такой вышел перепев:

*Соловей: «Зачем склонилась так печально,*
*Что не глядишь ты на меня?*
*Давно пою и славлю Розу,*
*А ты не слушаешь меня!»*
*Роза: «Зачем мне слушать? Слишком громко*
*Поешь ты про свою любовь.*
*Мне грустно: ты меня не любишь,*
*Поешь не для меня одной».*
*Соловей: «Но ты, как дева Франкистана [26] ,*
*Не расточай души своей:*
*Мне одному отдай всю душу!*
*Тогда я тихо запою».*

Одоевский помолчал и спросил:

– Или вы считаете, надо было в рифму?

– Нет, ни в коем случае! – отозвался Лермонтов живо. – В этом прелесть восточной поэзии. Вы такая умница! Обязательно запишите, чтобы не забыть.

– Не забуду, верно. Ну, прощайте. Я отправлюсь спать. Ног не

чую под собой. Вы пойдете?

– Докурю и пойду, спокойной ночи!

Но еще сидел не менее часа, глядя на мерцающие в небе звезды.

Утром выпал снег, но быстро растаял. Доктор Фокс сказал, что Федотову значительно лучше, нагноения нет, рана понемногу затягивается, кризис миновал. Бог даст, завтра можно будет двигаться восвояси.

Лермонтов и Одоевский прогулялись по армянской части города, зашли в церковь. Внутри она больше походила на католический храм: темные высокие стены и колонны без росписей, деревянные скамейки со спинками для прихожан, восьмигранная люстра, а за алтарем – лишь одна икона Богоматери и Младенца. Никакой византийской пышности. Это неудивительно: ведь в Армении христианство стало государственной религией чуть ли не на полвека раньше, чем в Византии.

Помолившись каждый о своем, поставили по несколько свечек. Лермонтов – пять: две за упокой (мамы и отца), три за здравие (бабушки, Раевского и Вари Лопухиной). Выйдя на улицу, он сказал:

– Жаль, что нельзя еще немного попутешествовать – я бы съездил взглянуть на Шемаху и Кубу́. Говорят, танцы шемаханских красавиц – нечто исключительное. Ведь недаром у Пушкина в «Золотом петушке» царь Дадон пал жертвой чар шемаханской царицы!

– Нет, далековато, не отпустят. И потом – дороги опасные.

– С почтой под охраной не страшно.

– Ах, бросьте, Михаил Юрьевич! Что вы нового там увидите? Ну, опять базар, старая крепость и развалины мавзолея какого-нибудь Сулейман-шаха… И зачем вам это?

– Так, для впечатлений. И друзьям похвастать.

– Можете похвастать без этого – «был в Шуше, Кубе́ и Шемахе». Ведь никто не проверит, правда ли.

– Самому будет совестно, Александр Иванович.

– Не смешите меня. Тот не гусар и не драгун, кто не привирает!

Вечером давали прощальный ужин коменданту Вартанову. Собрались все, кто не был в карауле. Сделали жженку, пили в удовольствие. Брали жареную баранину руками. Заедали огурцами, чесноком и терпкой зеленью. Лермонтова попросили почитать стихи. Он, подумав, начал:

*Когда волнуется желтеющая*

*нива,*
*И свежий лес шумит при звуке ветерка,*
*И прячется в саду малиновая слива*
*Под тенью сладостной зеленого листка…*

Перестав жевать, все внимательно слушали.

*…Когда росой обрызганный душистой,*
*Румяным вечером иль утра в час златой,*
*Из-под куста мне ландыш серебристый*
*Приветливо кивает головой…*

Кто-то прошептал: «Как чудесно сказано!» На него зашикали.

*…Когда студеный ключ играет по оврагу*
*И, погружая мысль в какой-то смутный сон,*
*Лепечет мне таинственную сагу*
*Про мирный край, откуда мчится он…*

Голос поэта зазвенел на высокой ноте, глаза вспыхнули божественным огнем. Все замерли.

*…Тогда смиряется души моей тревога,*
*Тогда расходятся морщины на челе, —*
*И счастье я могу постигнуть на земле,*
*А в небесах я вижу Бога!..*

В тишине раздался вздох Федотова:

– Господи Иисусе, сказочные строки.

Офицеры захлопали, бурно восхищаясь. Лермонтов смущенно говорил в ответ:

– Бросьте, что за вздор! Вот у Пушкина – стихи! Мы – жалкие его эпигоны…

Наутро покинули славную Шушу. Фокс просил не говорить Вревскому о своем местопребывании. Его уверяли, что без надобности вообще не станут заезжать в Агдам – постараются обогнуть его с запада и без остановки проследовать дальше, чтобы первый привал сделать в Барде. Так и получилось: самый опасный участок, где команда недавно попала под обстрел, миновали быстро, без приключений. Хачинай и Тертер переехали с ходу, не растягиваясь, и к полудню уже оказались под Бардой. Отдохнули около часа и опять отправились в путь. К мирному Шеки подъехали в сумерках. В город отправили ночевать только раненого Федотова, Лермонтова как его доверенное лицо и Одоевского как медика. остальные встали походным лагерем, охраняя свой маленький табун. Осмотрев рану, Александр Иванович радостно сказал, что никакой опасности не видит. Сам майор выглядел усталым, но присутствия духа не терял и даже пытался шутить. Наскоро поели и, сморенные тяжелой дорогой, тут же захрапели.

Ночью все проснулись от пушечных выстрелов. Лермонтов вскочил и, наскоро одевшись, бросился узнать, что произошло, а Одоевский остался при командире. Рядом с поэтом скакали гарнизонные офицеры – когда выехали за городские ворота и приблизились к лагерю, бой уже закончился. Горцы попытались завладеть карабахскими жеребцами, но атака была отбита. Русские потеряли двоих: одного солдата и того казака, что недавно получил ранение в руку (видно, смерть шла за ним по пятам). А табун остался в целости.

О происшествии доложили Федотову. Он велел не задерживаться в Шеки, отложив похороны до Караагача, чтобы не терять целый день. Оба тела погрузили на дроги и повезли в хвосте марша. Лошади чуяли покойников и храпели, вытаращив глаза.

Настроение у всех было скверное, но когда впереди блеснула синяя лента Алазани, на душе стало легче: это Грузия, а в Грузии спокойно, и до дома рукой подать.

В расположение части въехали уже в темноте, но, узнав о прибытии ремонтеров, Безобразов вышел им навстречу. Поздравил с успешно проведенной операцией, несмотря на потери. Обнял Федотова, сказал, что уверен в его поправке. А корнету Лермонтову, улыбаясь, сообщил: день назад в штабе получили приказ Розена – на основе приказа из Петербурга – о его переводе в Гродненский полк под Новгород. Михаил охнул и, пожав командиру руку, с жаром поблагодарил. Но сердце отчего-то сжалось. Уезжать с Кавказа вдруг не захотелось.

Без визита к Нечволодовым Лермонтов уехать не мог. Было стыдно огорчить старика. Тем более что подполковник обещал рассказать о дружбе с братьями Пушкиными. Это стоило многого.

Он решил отправиться рано поутру, чтобы по пути заехать к скале с развалинами замка царицы Тамары и порисовать. Взял походный этюдник, масляные краски.

– Ждать ли вас к обеду? – спросил Андрей Иванович.

– Нет, к обеду точно не жди. К ужину – пожалуй. И скажи Никанору, чтобы меньше спал и готовил возок в дорогу. Послезавтра непременно отбудем.

– Обязательно скажу-с.

До скалы было не больше десяти минут неторопливой езды. Солнце уже всходило и окрашивало небо в розовые цвета. Михаил привязал Баламута к дереву, сел на сваленный бурей карагач, по которому озабоченно ползали муравьи, раскрыл этюдник и карандашом по грунтованному картону набросал очертания будущей картины [27] : впереди – долина, вдалеке горы, слева – скала, на ней – руины башен и крепостных стен. На тропе возникли путники: впереди шел татарин и вел за собой верблюда с поклажей, за ними ехал всадник. Лермонтов и их зарисовал. Затем, в течение получаса, до полного восхода солнца, быстро написал красками пейзаж. Вышел он в багровых предрассветных тонах, но не зловещий, а романтический и ясный. Солнце окончательно поднялось, и натура заиграла иначе, потеряв прежний колорит. Лермонтов закрыл этюдник: после дорисует, по памяти. Сел на Баламута и продолжил путь.

Несмотря на ранний час, в доме Нечволодовых было оживленно: на дворе служанка-грузинка развешивала белье, слышался детский плач, а на балконе с трубкой в руке стоял сам Григорий Иванович в шлафроке и ночном колпаке. Увидав гостя, воскликнул восторженно:

– Ба! Кто к нам пожаловал! Мы уж не чаяли!

Михаил, поздоровавшись, сказал:

– Извините за столь ранний визит без предупреждения. Но послать было некого, слуга боялся, что заблудится.

– Не беда, голубчик, мы сейчас приведем себя в порядок и вместе будем завтракать.

Он спустился вниз.

– Дайте вас обнять, дорогой. Я безмерно счастлив! Слышал, что скоро отбываете, и решил, что ко мне уже не заедете.

– Я не мог не заехать, Григорий Иванович.

– Как же я люблю вас, ей-богу! Что-то есть от Пушкина-старшего. Нет, вы совсем другой, но что-то есть. Катерина Григорьевна то же говорит.

На пороге появилась хозяйка. При виде ее Лермонтов почувствовал, как в груди все сжалось: женщина была божественно хороша – стройная, смуглая, черноволосая, настоящая царица Тамара. Да, Орбелиани тоже царица, но изнеженная, нервная, во взгляде гипнотизм. А у Нечволодовой – сила настоящей природы, она вся пропитана горным воздухом и напоена горными источниками, солнце горит в глазах. У каждой женщины своя прелесть.

– Здравствуйте, Михаил Юрьевич, – поклонилась она. – Вы такой молодец, что приехали. Вас Григорий Иванович тут поругивал, говорил, что не снизойдете, только мне казалось, что мы еще увидимся, и была права.

Катерина смотрела на него так пристально, что поэт поспешил отвести глаза.

Завтракали втроем – маленьких дочек няньки кормили отдельно в детской. Нечволодов рассказывал о Суворове: он впервые увидел легендарного полководца, будучи подростком, а чуть позже, повзрослев, стал участником итальянского похода и переходил через Альпы, заслужив к концу кампании чин майора.

– А в отставку ушли всего лишь подполковником? Как же так? – удивился Лермонтов.

Григорий Иванович отмахнулся.

– Длинная история. Говоря коротко – дрался на дуэли со смертельным исходом. Был судим, лишен чинов и наград и сослан к Баренцеву морю.

– А потом?

Ветеран покрутил усы.

– А потом пробрался на английский корабль, что стоял в порту на Мурма́не, и отчалил в Англию. Там завербовался в войско, направлявшееся в Индию. И уплыл бы покорять дикие народы, если бы не граф Воронцов, наш посланник в Лондоне. Убедил меня вернуться в Россию, понадеясь на милость императора Александра Павловича. Только милость оказалась с серединки на половинку…

– Это как?

– Отменил ссылку и разрешил жить в столице, но чинов и наград не вернул. Их пришлось завоевывать сызнова – во французских походах.

– Вы сражались с Наполеоном?

– Было дело.

– Расскажите подробнее!

– Что ж рассказывать? Что навоевал, то потом опять пустил прахом! – И хозяин дома горько усмехнулся.

– Отчего, Григорий Иванович?

В разговор вступила Екатерина.

– Григорий Иванович влюбился. – Она рассмеялась. – Потерял голову. Было от чего: польская графиня Тышкевич, первая красавица завоеванной Польши! Но наш гусар тоже был красавец! Словом, обвенчались. Жили хорошо, если бы не страсть Нечволодова к картам. Знамо дело – гусар! Он однажды просадил семнадцать тысяч…

– Ох ты! – вырвалось у корнета.

– …да еще не своих, а казенных!

– Господи Иисусе!

– В результате полностью был разжалован и сослан на Кавказ, в армию Ермолова, рядовым в Нижегородский драгунский полк.

– Да-а, – откинулся на спинку стула Михаил. – О вас роман писать можно.

– Еще какой! – улыбнулась черкешенка.

Лермонтов узнал, что детей у Нечволодова и Тышкевич не было (откуда дети: он всегда на фронте, а она в тылу), и графиня уговорила супруга удочерить девочку-горянку, сироту, по имени Сатанаиса – Сати (в православии стала Екатериной). Жили дружно и счастливо, но, увы, недолго: вскоре ясновельможная пани умерла от сердечного приступа. Девочка осталась с приемным отцом в расположении части, превратившись поистине в «дочь полка»: русскому языку, истории, географии обучали ее драгуны-однополчане. Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта, Петр Александрович Бестужев, брат писателя Марлинского, Александр Ефимович Ринкевич и Демьян Александрович Истрицкий, оба – ссыльные декабристы… Когда Екатерине минуло шестнадцать, Нечволодов сделал ей предложение, и она без раздумий согласилась.

– Ну-с, заговорили мы гостя, – благодушно заметил Григорий Иванович. – У него, поди, голова уже кру́гом от наших семейных происшествий.

– Что вы, помилуйте, – отозвался Лермонтов. – Очень интересно.

– Пойдемте в мою библиотеку – покажу вам автограф Александра Сергеевича.

– Да, конечно!

Это было старое издание «Руслана и Людмилы» – видимо, книжка имелась у хозяина дома раньше, и при встрече он подсунул ее поэту. Легким почерком на титульном листе значилось: *«Милый Гриша. Я желаю тебе быть всегда на коне – и в прямом смысле, и в переносном. Твой А. П-н. Июль 1829 г.».* Восемь лет назад. Как недавно! Тут он сидел, тут обмакивал перо в чернильницу. Очень уютная библиотека, полки с книгами,

столик, лампа. Вид на горы из окна. Здесь хотелось остаться навсегда, затвориться от мира и писать, писать. Сочинять стихи, драмы, прозу. Когда же он сможет посвятить себя сочинительству целиком? Надо поскорее уйти в отставку. Вот приедет в Петербург и начнет хлопотать.

– Расскажите о Пушкине, Григорий Иванович.

Тот задумчиво пощипал ус.

– Что ж рассказывать? Был у нас недолго – день и ночь. Вместе с ним катались на лошадях по окрестностям. По его желанию забрались на скалу, осмотрели дворец царицы Тамары. Когда спускались, он слегка подвернул ногу. Потом прихрамывал. С Катенькой играл в карты в подкидного дурака – ей тогда было лет четырнадцать, так она его оставила дураком восемь раз кряду! Пушкин смеялся от этого, как маленький. Видимо, нарочно ей поддавался…

Нечволодов помолчал.

– Вот ведь как в природе порой бывает: два брата, Лев и Александр. Очень похожи меж собою, оба кучерявенькие такие, смуглые. Один немного благообразнее, а второй – ну чистая обезьянка, прости господи. Только Льву таланта пиитического Бог не дал, как Александру. Лев – замечательной души человек, добрый, вежливый, очень образованный. Но литературного дара нет. Александром же восхищаются все на Руси – от мала до велика. Отчего так бывает?

Лермонтов вздохнул.

– Знает только Бог.

– Отчего он забрал его так рано?

– Значит, на роду так было написано. Бог тем самым наказал не его, а нас. Взял к себе, в лучший из миров, и теперь ему на небесах хорошо. Нам без Пушкина плохо!

– Плохо, это правда.

Выпили по рюмочке за помин души великого человека. В двери заглянула Екатерина.

– Папочка, а можно нам с гостем покататься на лошадях? Мы недолго – обогнем рощицу и вернемся.

– Будь по-твоему, моя лапушка, – согласился хозяин дома с улыбкой. – Не могу тебе ни в чем отказать. Только осторожнее у ручья – камни мокрые, можно поскользнуться.

– Ничего, мы наездники опытные.

Вскоре черкешенка вышла из дома, облаченная в костюм амазонки: элегантное платье цвета бордо, шляпка в виде мужского цилиндра с вуалью, шейный платок. Выглядела она чрезвычайно элегантно. Конюх-грузин подвел ей стройного вороного жеребчика с белым пятном во лбу и помог взобраться в

седло. Лермонтов вскочил на Баламута. Нечволодов сказал с балкона:

– Жду вас к полднику. Покатайтесь как следует!

Жена послала ему воздушный поцелуй.

Какое-то время ехали молча, потом Екатерина спросила:

– Михаил Юрьевич, можно задать вам нескромный вопрос?

– Извольте.

– Вы помолвлены?

Поэт фыркнул:

– На что вам знать?

– Из праздного интереса.

– Не помолвлен. Никакими обязательствами не связан. Вольный человек! – Он рассмеялся.

Екатерина не разделила его веселья. Сохраняя на лице серьезное выражение, строго произнесла:

– Не тяните с женитьбой. Надобно жениться в молодом возрасте. Чтоб успеть воспитать детей собственным примером.

Он взглянул на нее сочувственно.

– Вы боитесь, что Григорий Иванович… может не успеть?

Женщина вздохнула.

– Да, и этого тоже. Что я знала, выходя за него? Он был лучшим для меня мужчиной на свете.

– А теперь?

– И теперь, конечно. Но… Ах, не слушайте меня, я болтаю зря.

– Но ведь вы любите его?

– Безусловно, люблю. Как же не любить? Он меня растил и лелеял, выучил всему. Он отец двух моих малюток. Я ему благодарна за мирную, спокойную жизнь, в теплоте и достатке. Только…

– Что?

– Мне ведь всего двадцать два. И душа рвется познавать новое, путешествовать, знакомиться с интересными, умными людьми. Вот такими, как вы, к примеру. А Григорий Иванович этого не хочет и не понимает. Молодость, искания у него в прошлом. Роль отца семейства в Богом забытом Дедоплис-Цкаро представляется ему идеальным завершением жизненного пути. Я не осуждаю. Если человеку под шестьдесят, трудно его осуждать за желание провести старость тихо, чинно, благородно. А мне? Быть заживо похороненной здесь? Как когда-то хоронили жен восточных тиранов, молодых и красивых, вместе с умершим? Эта мысль приводит меня в отчаяние! – И, закрыв лицо ладонью в перчатке, Екатерина разрыдалась.

Лошади остановились перед ручьем. Спешившись, поэт

подбежал к Нечволодовой, протянул руку и помог сойти на землю. Женщина внезапно прильнула к нему – как-то по-детски, наивно, безыскусственно, без стеснения. Попросила:

– Обнимите меня покрепче…

Он исполнил ее желание, и Екатерина внезапно сказала:

– Миша, у тебя такие сильные руки…

От слов «у тебя» и «Миша» сердце Лермонтова сладко заныло. Господи, неужели? Сомневаться глупо. Но старик Нечволодов? Как потом ему в глаза смотреть?

Он прошептал:

– Катя, дорогая… Я схожу с ума…

– Я давно сошла…

Поцелуй был страстный, долгий, оба словно растворились друг в друге. И потом, не помня себя от нахлынувших чувств, задыхаясь, беспрерывно целуясь, опустились в траву. Как весенний гром в небе, прозвучал Катин вскрик – звонкий, чистый, радостный. Журчал рядом ручей. Шелестели над головами листья. Лошади щипали неподалеку травку. И никто, кроме них, не знал о тайне этой мимолетной любви…

Екатерина, разметав руки по траве, лежала с сомкнутыми ресницами. Произнесла тихо:

– Что же мы наделали, Миша?

Он лежал рядом и смотрел на плывущие в вышине осенние облака, похожие на косматых кавказских старцев. Затем ощупью нашел ее руку, сжал пальцы.

– Ничего, Катюша… Это ничего…

– Но ведь мы нарушили заповедь?

– Бог простит… мы же по любви…

Он повернулся к ней и приблизил лицо к ее лицу.

– Ты такая красивая, Катя…

Она подняла веки.

– Правда?

– Разве ты не знаешь сама?

– Мне об этом никто никогда не говорил.

– А муж?

Екатерина приложила палец к его губам.

– Тсс, ни слова о муже… – Потом вздохнула: – Нет, не говорил. Я не помню. – Она помедлила. – В последнее время… видимо, стареет… несколько месяцев мы с ним – как брат и сестра… – Она густо покраснела. – Я – неблагодарная тварь!..

– Хватит. – Он поцеловал ее в лоб. – Ты – святая, потому что жила и живешь в аскезе.

– Нет, я грешница. Мы с тобой согрешили.

– Значит, ты – святая грешница. Это я во всем виноват. Беру

всю вину на себя.

Она подняла на него взволнованные, любящие, утопающие в слезах глаза.

– Миша, вспоминай обо мне в Петербурге хоть иногда.

– Катя, дорогая, я тебя никогда не забуду!..

Возвращались молча. Возле самого дома Екатерина посмотрела на него жизнерадостно и легко, словно ничего между ними не было.

– Михаил Юрьевич, гран мерси за прогулку. Вуз этэ трэ куртуа [28] .

– Мерси бьен. Вуз этэ трез эмабле [29] .

Оба рассмеялись. И предстали перед хозяином как ни в чем не бывало. Пили чай, весело болтали. Нечволодов, ничего не подозревая (или делая вид?), развлекал гостя новыми рассказами из своей боевой юности. Остаться на обед тот не пожелал, несмотря на уговоры: в три часа пополудни сел на Баламута и, махнув на прощание рукой, ускакал в сторону Караагача.

Глядя ему вслед, Григорий Иванович задумчиво сказал: – Если бы не я, был бы для тебя хороший жених.

Катя изобразила на лице удивление.

– Ах, мон шер [30] , не говорите глупостей. Мне никто не нужен, кроме вас!

# Глава третья

1

Накануне отъезда Лермонтов навестил Федотова: тот уже самостоятельно ходил, рана затянулась и болела несильно. Выпили по стаканчику. Константин Петрович попросил завещание его не выбрасывать: если до Петербурга дойдет известие о его смерти, то пустить в дело. Если, паче чаяния, он заслужит помилование и вернется в Россию, заберет документ сам. Михаил обещал.

В тот же вечер отъезжающий дал своим однополчанам-офицерам прощальный ужин. Шампанское и вино лились рекой, было много здравиц, напутствий, пели песни, поэт читал старые и новые стихи и по просьбе Безобразова – «Бородино». Говорил, что его пребывание на Кавказе было хоть и кратким, но незабываемым, он увозит с собой массу впечатлений, возвращается домой другим человеком. В довершение вечера сели расписать пульку, и виновник торжества выиграл пятнадцать рублей. Дойдя до своих покоев, рухнул на постель как подкошенный. Андрей Иванович стаскивал сапоги уже со спящего.

Наутро он разбудил Лермонтова ровно в пять, чтобы ехать вместе с почтой, отправляющейся в Тифлис. Голова у поэта была чугунная, координация слабая, так что он предпочел сесть в повозку, а не верхом.

Проводить его в предрассветных сумерках вышел лишь Одоевский – он вчера на пирушке не был и стоял на ногах твердо. Пожелал приятелю счастья, новых успехов на литературной стезе. Михаил пожелал ему того же. Александр Иванович с горечью бросил:

– Да какое мое счастье! Разве что скорее получить пулю в сердце.

– Что вы такое говорите?

– Мне-то милости от государя не видать. Так зачем продлевать мученья? Лучше сразу избавиться от всего.

– Крепитесь, дружище. Христос терпел и нам велел.

– Разве я похож на Христа?

Обнялись и расцеловались по-братски. Каждый словно чувствовал: больше им никогда не встретиться.

Вскоре почтовый караван выехал из расположения Нижегородского драгунского полка. Лермонтов переживал прощание с другом недолго – хмель и сонливость взяли свое. Он сидел в повозке, то и дело задремывая, а проснулся окончательно

на привале после переезда речки Иори. Неожиданно пошел снег, он почти не таял, будто слоем ваты покрыв спины лошадей и фуражки военных. Михаил сел на Баламута, ощутил свежесть ветра, бившего в лицо, с удовольствием вспомнил приключение в Царских Колодцах, черные глаза Кати Нечволодовой. Ах, как хорошо все сложилось. Любовное приключение – и никаких обязательств. Словно в сказке о Колобке: я от бабушки ушел, я от Сушковой ушел, я от Нечволодовой ушел, а уж от Майко Орбелиани и подавно уйду! Но увидеться с ней в Тифлисе хотелось. Как говорится, чтобы лишний раз пощекотать себе нервы…

Город встретил слякотью от растаявшего снега, злой холодной Курой, колокольным звоном храма Сиони. Конь скользил подковами на обледенелых булыжниках. Дом Ахвердова на Садовой выглядел безжизненно. Вышедший сторож в бараньей шапке и солдатской шинели без знаков отличия, проговорил с грузинским акцентом:

– Барин нет, никого нет, все давно уехал.

– А когда будут?

– Ничего не сказал, когда ехал.

– И записки для меня не оставил?

– Да, записка есть. Для Лермонтов. Ты Лермонтов?

– Лермонтов, Лермонтов. Быстро неси, болван.

Сторож проворчал:

– Вай, зачем болван? Я почем знать – Лермонтов, не Лермонтов?

Михаил развернул бумагу и прочел на французском:

«Мой любезный братец! Думал, что увидимся при твоем отъезде с Кавказа, но, как говорится, офицер предполагает, а начальство располагает: послан в Кизляр с особым поручением и вернусь не раньше декабря. Ничего, Бог даст, в Петербурге свидимся: я надеюсь заслужить отпуск по весне и приехать навестить мачеху и сестрицу. То-то погуляем! Кстати, ты знаешь, наш дружок, поручик Николаев, под следствием: он приревновал мамзель Вийо к одному нашему гусару и убил обоих. Ахах! Не узреть и не попробовать нам больше ее прелестей!.. Не грусти: думаю, на наш век мамзелей хватит. Остаюсь твоим любящим братцем Е. А.».

Усмехнувшись, Михаил сложил листок и подумал:

– Тоже болван. Ну, уехал – отчего не позволить мне пожить у него? В доме офицеров будет слишком шумно. Если только Чавчавадзе уже в Тбилиси.

Он помахал рукой Никанору и Андрею Ивановичу.

– Едем по соседству, на Андреевскую!

Домик Чавчавадзе был довольно мал: за железной оградой, одноэтажный, без балконов и особых изысков. Узкие высокие окна. Палисадник под ними.

Лермонтов позвонил в колокольчик. Из дверей появился чинный лакей с огромными бакенбардами.

– Что, любезнейший, дома ли князья?

– Дома, точно так, но велели говорить, что не принимают.

– Доложи, сделай одолжение, что приехал Лермонтов.

– Как, прошу прощения?

– Корнет Лермонтов, из драгун.

– Точно так, сей момент доложу.

Он ушел, но вскоре вернулся.

– Вам изволили разрешить… милости прошу, Михаил Юрьевич.

– Благодарствую.

Вышел сам Александр Гарсеванович в домашней тужурке и уютной домашней обуви на меху. Распростер объятия.

– Я безмерно счастлив опять вас видеть! Вот уж поговорим как следует!

Гость попросился на постой на две-три ночи перед отъездом в Россию. Князь закивал.

– Конечно, конечно! Это большая честь для нас.

– Обещаю вести себя смирно и не нарушать покоя вашей обители.

– Ах, к чему подобные реверансы?

За обедом встретились со всей семьей: три сестры и оба родителя (брат Давид вновь уехал в Петербург). Маленькая Софико ела точно взрослая, правда, не ножом и вилкой, а ложкой. Нина Александровна, как всегда в черном, выглядела усталой и, даже, болезненной. Зато Като с интересом внимала рассказу поэта о его поездке в Шушу. Мама Саломея только восклицала: «О, мой Бог! Ужасы какие!»

После десерта Чавчавадзе сказал:

– Ну-с, дадим сегодня гостю отдохнуть с дороги. А завтра с утра сходим в бани и обсудим, чем занять его свободное время.

– Нина Александровна обещала мне посещение могилы Грибоедова.

– Да, я не забыла, – отозвалась вдова. – Очень тронута, что и вы не забыли.

Лермонтов удалился в отведенную ему комнату и стал раздеваться. В это время в дверь робко постучали. Михаил ответил:

– Юн моман, пардон! [31] – и накинул на сорочку халат.

На пороге стояла улыбающаяся Като. Ласково сказала:

– Миль пардон [32] , что мешаю отдыхать. Просто мне было поручено передать вам письмо, если вы заедете.

– От кого?

– Сами догадайтесь. – Она протянула маленький, пахнущий духами конверт. Пока Михаил вертел его в руках, скрылась со словами:

– Все, до завтра, Мишель: миссию я выполнила и могу удалиться со спокойной душой.

– Да, мерси, мерси…

Сел на стул около окошка, оторвал заклейку. Прочитал по-французски:

«Дорогой друг! Я, по настоянию моих близких, предварительно согласилась на брак с князем Б***. Но одно Ваше слово – и венчанию этому не быть. Жду от Вас решения. Помню все. М.О.».

Он оторопело провел рукой по лбу. Вот незадача! Былые свидания с Майко представлялись ему теперь очень далекими и почти нереальными. Столько событий потом произошло: и поездка с командой ремонтеров, и неожиданная близость с Катей, и печальное расставание с Одоевским… А Майко не забыла и ждала. Что же ей ответить?

2

На могилу Грибоедова отправились вдвоем с Ниной Александровной и со слугой-грузином из княжеского дома: в одной руке он нес букет свежесрезанных чайных роз, а в другой – кожаную сумку. Шли пешком, поднимались вначале по крутой вымощенной улочке с чахлыми одинокими деревцами на тротуарах, а затем по тропинке в гору. На горе еще издали была видна приземистая грузинская церковка, сложенная из белого камня, – невысокая, без купола, с треугольной покатой крышей. Слева от нее можно было заметить узкую башню-звонницу с небольшим колоколом. Вблизи открылось, что церковка стоит на площадке, огражденной спереди кованой решеткой с балясинами. Основание храма и площадки – каменные, справа и слева сбегают две каменные лестницы, посредине – ниша со склепом. Вход был закрыт решеткой-воротами. За воротами и покоился Грибоедов.

Нина Александровна извлекла из сумки ключ, отперла висячий замок.

Лермонтов, освоившись в полумраке, разглядел каменное надгробие. Сверху было распятие, сзади которого на коленях стояла бронзовая плачущая женщина, в скорби своей приникшая к основанию креста. То ли Дева Мария, оплакивающая Сына, то ли Нина Грибоедова, оплакивающая мужа. Слева на камне – золотом высеченные слова: *«Ум и дела твои бессмертны в памяти*

*русской, но для чего пережила тебя любовь моя!»* Это было очень трогательно, в этом было столько чувства, непосредственности, открытости, точно Нина начала говорить официальные, правильные, пафосные слова о бессмертии и памяти русской, а потом сорвалась на обычный, искренний язык одинокой любящей женщины. Потрясенный Михаил почувствовал, что из глаз его потекли слезы. Он устыдился их, торопливо вытер со щек указательным пальцем.

Между тем вдова, опустившись на колени, возложила к могиле цветы и приникла виском к холодному камню. Провела ладонью по барельефу. Что-то при этом проговорила беззвучно. Потом, повернув к корнету лицо, тихо сказала:

– Время придет, и рядом упокоят меня. Будем вместе в вечности. – Помолчав, добавила: – Потому что единство тел мимолетно. Превращается в тлен. А единство душ бесконечно. Ибо богоравно.

Лермонтов опустился на колени рядом с ней и, перекрестившись, поклонился праху великого человека. Подумал: а будет ли у него такая могила? Будет ли у него такая вдова? Будет ли у него загробное счастье?

Нина Александровна поднялась и, позвав слугу, что-то достала из сумки. Встала вновь на колени рядом с Михаилом и произнесла:

– Здесь, на святом для меня и моей семьи месте, я хочу подарить вам кинжал из коллекции Александра Сергеевича Грибоедова. Был куплен им во Владикавказе. Муж его любил и ценил. Надеюсь, что там, на небе, он будет рад видеть вас владельцем этой реликвии.

– О, благодарю.

Он взял торжественно, вытащил из ножен и поцеловал сверкнувший клинок. Разглядел на стали надпись по-персидски.

– Что здесь начертано?

– В переводе Саши: «Умирая – воскресай».

– «Умирая – воскресай». Лучший девиз для воина.

– И не только воина. Умирая телом, воскресай душой.

Лермонтов взял ее руку и поцеловал. Оба на коленях снова перекрестились и склонились перед распятием…

Позже, у себя в комнате, Михаил, взволнованный увиденным, услышанным, пережитым, глядя на кинжал Грибоедова, походил взад-вперед от окна к двери и обратно, затем быстро сел за стол и почти без помарок написал:

*Люблю тебя, булатный мой кинжал,*

*Товарищ светлый и холодный.*
*Задумчивый грузин на месть тебя ковал,*
*На грозный бой точил черкес свободный.*
*Лилейная рука тебя мне поднесла*
*В знак памяти, в минуту расставанья,*
*И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,*
*Но светлая слеза – жемчужина страданья.*
*И черные глаза, остановясь на мне,*
*Исполнены таинственной печали,*
*Как сталь твоя при трепетном огне,*
*То вдруг тускнели, то сверкали.*
*Ты дан мне в спутники, любви залог немой,*
*И страннику в тебе пример не бесполезный:*
*Да, я не изменюсь и буду тверд душой,*
*Как ты, как ты, мой друг железный.*

Бросив перо, он повалился на кровать и, закрыв глаза, прошептал:

– У меня есть кинжал Грибоедова. Я теперь преемник если не Пушкина, то Грибоедова точно. Я докажу всем, что это так.

Сел, тряхнул головой, рассмеялся:

– Вы еще лизать мне сапоги будете. Все, все! Мерзавцы…

3

Вечером в доме Чавчавадзе собрались близкие и друзья: барон Розен, князь Бебутов [33] с супругой, полковник Дадиани [34] , сестры Орбелиани (Майко и Майя) и их родственник – молодой поэт Николай Бараташвили [35] . После легкого ужина дамы музицировали, пели романсы, а поэты читали стихи на русском и грузинском. Лермонтов, по многочисленным просьбам, декламировал «Бородино». Вскоре старшее поколение удалилось за карточный стол, а молодежь села кружком около камина.

Самым именитым был жених Като – Давид Дадиани, сын правителя Мегрелии Левана V: худощавый, лощеный, с маленькими усиками. Говорил он мало, словно каждое его слово дорого стоило, и, как правило, по-французски.

Самым скромным выглядел Бараташвили, хотя по титулу тоже князь, но отнюдь не владетельный и совсем не богатый, – не имея средств к существованию, он работал чиновником Экспедиции суда и расправы. И писал лирические стихи на грузинском. Все они были посвящены некоей N, но по ряду признаков многие догадывались, что N – Като Чавчавадзе.

Сестры Чавчавадзе сидели рядышком: Нина Александровна – в черном глухом, Екатерина – в светло-сиреневом платье и с открытой шеей, на которую было надето жемчужное ожерелье.

Сестры Орбелиани на ее фоне смотрелись скромно: в сером и коричневом платьях, отделанных кружевами, простые прически с лентами; украшениями служили только серьги и броши.

Пили кофе и болтали на разные темы. Дадиани спросил Лермонтова:

– С легким ли сердцем вы покидаете Кавказ?

Тот ответил:

– Нет. Я, конечно, рад вернуться домой, но, с другой стороны, буду по Кавказу скучать. Здесь останется частица моей души.

– А сюжеты кавказские с собой повезете? – улыбнулась Като.

Михаил весело кивнул.

– Целый мешок сюжетов! Было бы только время сесть за письменный стол! Я иногда думаю об отставке.

– И о женитьбе тоже? – приставала младшая Чавчавадзе.

– О женитьбе пока не думаю.

Он глянул на Майко и отвел глаза.

– Отчего так?

– Чтобы сделаться главой семейства, надобно иметь прочные позиции в обществе. Не метаться, как я, с одного поприща на другое. Обрести статус. Может, к тридцати годам и созрею. Пушкин вот женился в тридцать один.

Дадиани поморщился.

– Пушкин женился поздно и неудачно. По вине его жены все и случилось: не смогла понять, что живет с гением. И что с гениями надо себя вести осмотрительно. Нина Александровна знает: ведь ее Грибоедов – гений.

Старшая Чавчавадзе не согласилась.

– Понимаете, Дато, гений гениален в чем-то одном. Скажем, в духовной сфере. А во всех других проявлениях вполне заурядeн. Может пить, играть, волочиться за дамами, даже сплетничать, драться на дуэлях. Точно Сын Божий: внешне – человек, а по сути

– Бог.

Майя Орбелиани задумчиво сказала:

– Значит, гений, как и Сын Божий, должен мученически погибнуть за всех людей?

– Как и Грибоедов.

– Пушкин, раненый, говорят, сильно страдал…

– Может ли гений умереть без страданий? Кто из гениев дожил до глубокой старости?

– Леонардо да Винчи.

– Вольтер.

– Гете.

Повернувшись к Бараташвили, Екатерина ввернула:

– Ну а вы, Николоз, готовы ли страдальчески умереть?

Молодой человек смутился, покраснел, как рак, и пробормотал:

– Да при чем тут я? Я не гений.

– Вы хотите дожить до старости?

– Кто не хочет! Каждый нормальный человек хочет.

– Я не хочу, – объявил Лермонтов с вызовом.

Все озадаченно уставились на него.

– Потому что считаете себя гением? – хмыкнул Дадиани.

Михаил ответил серьезно:

– Гений, не гений – это решать другим. И Богу. Я про другое: старость не дает озарений. Все озарения случаются только в юности. Реже – в зрелом возрасте. Значит, умирать надо не позже сорока, сорока пяти.

Неожиданно заговорила Майко:

– Как – жениться в тридцать и умереть в сорок? Не успев вырастить детей?

– Дети гению не нужны, – холодно отрезал поэт.

– Отчего ж? Вот у Пушкина – четверо детей.

– Говорят, что трое, – заметила Като, – младшая не его, а весьма высокопоставленной особы… В этом – подоплека дуэли…

– Ну не станем повторять досужие слухи, – упрекнула ее Нино.

– У Вольтера не было детей. И у Леонардо да Винчи.

– А у Гете были.

– Что это доказывает?

– Ровным счетом ничего.

Поэт упрямо повторил:

– Я хотел бы умереть в тридцать три.

– Как Христос? – тут же съехидничал Дадиани.

Майко вздохнула.

– Час от часу не легче: сначала в сорок, сорок пять, теперь

уже в тридцать три. Я не понимаю.

– Гения понять трудно, – продолжал подшучивать владетельный князь.

Лермонтов поднялся с перекошенным от гнева лицом.

– Издеваться изволите? – впился он в Дадиани глазами. – Я не потерплю.

Тот воздел руки к потолку.

– Полно, дорогой. Я назвал вас гением – разве это издевка? Это признание вашего таланта.

– Вы прекрасно понимаете: я не про слова, а про интонацию. Интонация была оскорбительной.

– Да помилуйте – в мыслях не держал.

Михаил произнес зловеще:

– Я прошу у вас удовлетворения.

Дамы всполошились, стали убеждать мужчин прекратить их нелепую ссору, говорили, что поэт неправильно понял князя. Но тот настаивал:

– Я прошу у него удовлетворения. Или извинения.

Нина Александровна попросила с надрывом:

– Извинитесь, Дато, умоляю вас!

Князь тоже уперся.

– Да за что я должен извиняться? Никаких оскорблений не было. Он вообразил невесть что.

– Хорошо, пусть и не было, он вообразил. А вы извинитесь тем не менее. Чтобы не сделаться вторым Дантесом.

Лермонтов отреагировал.

– Отчего вы думаете, что он меня убьет? Может, я его?

– Этого еще не хватало! Мало было трагедий у нас в семье?

Екатерина присоединилась.

– Дато, в самом деле – что вам стоит принести извинения? Это моя личная просьба.

У Давида брови съехались на переносице и образовали складку, говорящую о крайнем неудовольствии.

– Если вы любите меня! – с вызовом сказала Като. – Если хотите счастья со мной!

Николай Бараташвили отвернулся и закрыл лицо руками: он дрожал, словно от озноба.

Помрачнев еще больше, князь проговорил:

– Хорошо, извольте.

Он поднялся.

– Михаил Юрьевич, я прошу меня извинить, если ненароком задел ваше самолюбие. Мне делить с вами нечего.

Лермонтов смягчился.

– Извинение принимается. Больше не сержусь.

– И пожмите друг другу руки, – предложила Майко.

– Совершенно верно: в знак примирения, – поддержала ее сестра.

После некоторой внутренней борьбы оба спорщика обменялись рукопожатием.

Все посидели какое-то время молча, чувствуя неловкость. Обстановку разрядила Като, взяв Давида под руку: «Мне необходимо сказать вам несколько слов…» Они ушли. Затем увела младшую Орбелиани Нина Александровна: «Майя, ты хотела посмотреть на мое рукоделие – с удовольствием покажу». – «Можно мне с вами?» – вызвался Бараташвили. «Разумеется, Николоз, пойдемте».

Лермонтов сидел напротив Майко. Понял, что оставили их нарочно. Он был взвинчен после ссоры, а теперь еще это испытание! Девушка, поняв его состояние, ласково сказала:

– Вы, оказывается, такой задира, Мишель.

Тот скривился.

– Он первый начал.

– Вот: типичные слова забияки.

– Никому не позволю надо мной глумиться.

– Разве было глумление? Вы действительно гений.

– И вы туда же?

– Все, молчу, молчу. – Сложенным веером она провела по его руке. И спросила вполголоса: – Вы читали мою записку?

– Да.

– Очень жаль.

У Михаила вытянулось лицо.

– Это отчего же?

– Оттого что была тогда крайне взволнована. А теперь спокойна. И могу сказать совершенно здраво: ни за князя, ни за вас замуж я не пойду.

– Вы его не любите?

– Конечно, нет. Мне его навязывают родные. Но для брака по расчету я не настолько стара.

– И меня не любите?

Девушка помедлила, опустив глаза.

– Вас люблю. – Снова помолчала. – Так по крайней мере мне кажется.

– Коли любите, почему замуж не хотите?

– Потому что вы этого не хотите. Зачем разыгрывать пошлую пиеску? Я навязываться не стану. И освобождаю вас от каких бы то ни было объяснений.

– Очень мило с вашей стороны. – Он поерзал на стуле. – Если честно, я и сам не знаю, чего хочу. Настроения у меня меняются,

семь пятниц на неделе. То хочу стать художником, то поэтом. То продолжить карьеру военного, то уйти в отставку. То скакать на лошади, то пустить себе пулю в лоб! То хочу жениться, то остаться холостяком. Да, вы правы, что с таким сумасбродом, как я, вряд ли можно свить семейное гнездышко. – Он взял ее за руку. – Милая Майко! Вы такая чистая, светлая душой, образ ваш прекрасен. Питать вас несбыточными надеждами было бы преступно с моей стороны. Да, я не спорю: вы мне нравитесь. Очень, очень сильно. Но для брака пока не готов. Видно, на роду так написано. Господи, да вы плачете?

Девушка достала из рукава платочек, промокнула слезы.

– Нет, не смотрите на меня, это так – случайно. Мы отлично поняли друг друга. В словах ваших – только правда. То, что возникло тогда в Цинандали, мы напрасно приняли за серьезные чувства.

– Я вас никогда не забуду, Майко.

– Я вас тоже не забуду, Мишель.

– Я желаю вам найти свое счастье.

– Я вам того же, дорогой.

Появился хозяин дома – Александр Чавчавадзе. Улыбнувшись, спросил:

– Не скучаете, дети мои?

Майко покачала головой.

– Нет, разговариваем на разные темы.

– Предлагаю отметить мой выигрыш: князь и барон проиграли мне по двести рублей.

– О, прилично! Поздравляю вас, князь.

Вечер закончился долгим чаепитием. Лермонтов и радовался тому, что, согласно своей шутке, «от Орбелиани и подавно ушел», и грустил отчего-то. Может, оттого, что в который раз упустил свое счастье?

4

...

*«Милая бабушка.*

*Это мое последнее письмо из Тифлиса: завтра поутру уезжаю в Россию и надеюсь написать Вам уже с дороги – видимо, из Ставрополя. Если погода и прочие обстоятельства будут благоприятствовать, то рассчитываю быть к Рождеству в*

*Москве. А уж после Крещения – в Петербурге. Очень соскучился и хочу обнять всех, всех, кто ко мне расположен. Как там наши? Шан-Гирей, Лопухины? То-то станем при встрече болтать сутки напролет!*

*Здесь я встретил многих милых людей и, сказать по правде, чуть было не женился на одной прекрасной грузинской княжне. Но потом вспомнил Вас, Ваше вероятное недовольство на сей счет и раздумал. Да и что толку теперь в женитьбе? Только лишние хлопоты и деньги. Послужу еще год-другой, попрошусь в отставку – а там видно будет.*

*Словом, все мои дела не так плохи; Баламут здоров, Никанор и Андрей Иванович тоже, оба ждут не дождутся уехать с Кавказа, кланяются Вам. Что там Дарья, жена Андрея Ивановича? Он в последние месяцы сокрушался, что не пишет она ему. Хоть они давно порознь и не раз он ее ругал за сварливость и скупость, все равно переживает и говорит: пусть и дура, а жалко, если что плохое случилось с нею. Добрый человек!*

*Мысленно я уже в пути. До встречи, милая бабушка. Целую Ваши ручки, прошу Вашего благословения и остаюсь покорный внук*

*М. Лермонтов».*

5

Утро было ненастное: дождь со снегом, ветер и сильная влажность воздуха. Проводить корнета вышло все семейство Чавчавадзе, кроме маленькой Софико. Уложили в повозку гостинцы – сладости и вино для него самого и для сына Давида в Петербурге. Обнялись и расцеловались, говорили напутствия. Саломея перекрестила военного и сказала почти по-матерински:

– Да хранит вас Господь, Мишико. Укрощайте свой буйный

нрав, помните, что вы должны беречь свой чудесный дар.

Он ответил с улыбкой:

– Полноте, Саломея Ивановна: да кому мой дар нужен в России? На что его беречь? Нынешней России нужны служаки, а не поэты.

– Перестаньте, все не так плохо. Вы нужны друзьям, нам, читателям.

Александр Гарсеванович поддержал жену:

– Мы не для царей пишем, а для их подданных, простых смертных. Не по воле царей, но по воле Господа. Как у Пушкина: *«Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца; хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца».*

Лермонтов согласился:

– Да, оспоривать глупцов – последнее дело.

Нина Александровна на прощание трижды поцеловала его, обняла по-дружески:

– Пусть судьба отнесется к вам более милостиво, чем к обоим Александрам Сергеевичам.

– Спорное суждение, дорогая Нино. По мнению моего приятеля, милость Бога в том и состоит, что он берет к себе лучших и наказывает тем самым не их, а нас, грешных.

– Друг ваш – чудак, судя по всему.

Като, попрощавшись, сунула ему душистый конвертик.

– Это от известной вам особы, сами понимаете. Велено сказать, чтобы прочитали уже в дороге.

– Низкий поклон особе и поцелуй. В щечку.

– Обязательно передам.

Выехали с Андреевской улицы и, спустившись вниз к базару, присоединились к отряду казаков, сопровождавших почту и других путников, следующих по Военно-Грузинской дороге во Владикавказ. Снег валил не переставая, ветер слепил глаза, и прочесть письмо было невозможно. Только на первой остановке в селенье Пасанаури, высоко, в предгорьях Казбека, на почтовой станции, выпив чаю и согревшись, Михаил распечатал конверт. Единственная фраза была написана по-русски:

...

*«Жаль, что Вы ничего не поняли.*
*М.».*

Он сложил листок вчетверо и подумал:

– Это вы ничего не поняли, Майко. – Затем тяжело вздохнул. – Я бы вам принес одни неприятности. – Вспомнил Катю Нечволодову и опять вздохнул.

Лермонтов вынул карандаш и на оборотной стороне письма набросал начало нового стихотворения:

*Спеша на север издалека,*
*Из теплых и чужих сторон,*
*Тебе, Казбек, о страж Востока,*
*Принес я, странник, свой поклон.*
*Уйми, Казбек, мое стенанье:*
*Боюсь спросить! – душа дрожит!*
*Ужели я со дня изгнанья*
*Совсем на родине забыт?*

Это четверостишие ему не понравилось, и он его зачеркнул, решив, что потом исправит.

*О, если так! Своей метелью,*
*Казбек, засыпь меня скорей*
*И прах бездомный по ущелью*
*Без сожаления развей.*

Позади была Грузия. Впереди была Россия. Новые события. Новая любовь. Главная в его жизни.

# Часть вторая Княгиня Мэри

# Глава первая

1

А теперь автор попробует набросать портрет петербургской красавицы Эмилии (Милли) Мусиной-Пушкиной.

Мужчин прежде всего поражало в ней сочетание вроде бы не сочетаемого – белокурых волос и небесной синевы глаз с черными бровями.

Белая, матовая кожа лица. Высокий лоб. Черные длинные ресницы. Маленький прямой носик, узкие овальные ноздри. Губы розовые, припухлые. Прекрасная шея.

Задумчивый, ясный взгляд. И серебряный голос, точно колокольчик.

У Эмилии были шведские корни. Отец ее, Карл Иоганн Шернваль, занимал высокий пост губернатора Выборга. А мать, Ева Густава, происходила из старинного рода фон Виллебрандтов. Жили они в Финляндии и имели российское подданство.

Отец умер в 1815 году (Милли шел тогда шестой год), и вдова вышла замуж за видного выборгского сенатора и юриста Карла Иоганна фон Валена. Так что отныне Милли стала зваться Эмилией Шернваль фон Вален.

В обоих браках у Евы Густавы родились пятеро детей: мальчик и четыре девочки.

Старший брат Милли, Карл Кнут, после университета Або стал военным и служил в генштабе у фельдмаршала Паскевича на Кавказе. Затем, уйдя в отставку, помогал статс-секретарю Финляндии графу Ребиндеру.

Старшая сестра Милли, Аврора, тоже слыла красавицей и едва не разбила семью финского генерал-губернатора и командующего отдельным финским корпусом графа Закревского. Но стараниями его жены, Аграфены Закревской, брак был сохранен, а прекрасную шведку удалось сплавить в Петербург и пристроить фрейлиной ее императорского величества.

Младшие сестры Милли звались Алина и Софья.

В 1826 году мать вывела юную Эмилию в свет в Гельсингфорсе (Хельсинки), и в нее моментально без памяти влюбился граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин.

Графу было в ту пору двадцать восемь лет. Раньше он дружил с декабристами, состоял в тайном обществе, но 14 декабря 1825 года находился по частным делам в Могилеве и поэтому не мог оказаться с другими заговорщиками на Сенатской площади. Тем не менее вскоре был задержан, просидел шесть месяцев в

Петропавловской крепости, а затем указом Николая I отправлен служить в Петровский пехотный полк в Гельсингфорсе. Здесь-то и состоялось его знакомство с Милли.

Граф немедленно попросил у Евы Густавы руку ее дочери Эмилии. Но суровая мать не обрадовалась этой партии: ей не слишком льстило родство с опальным русским, к тому же он был старше Милли на 12 лет. Мать, пользуясь дружбой с генерал-губернатором Закревским, закрутила интригу, в результате которой Мусина-Пушкина удалили служить в глушь Финляндии.

Но не тут-то было: юная Эмилия проявила характер и заявила матери, что объявит голодовку, если та не даст согласие на брак. «Хорошо, голодай», – бросила матрона и наблюдала страдания дочери десять дней. Но когда у девушки начались голодные обмороки, вынуждена была смягчиться. Граф и Милли поженились 4 мая 1828 года, терпеливо дождавшись 18-летия девушки.

Между тем фрейлина императрицы Аврора Шернваль фон Вален стала пользоваться особым расположением Николая I, и, благодаря этому, вскоре ее зятю графу Мусину-Пушкину вышло послабление: в 1831 году ему разрешили уйти в отставку и уехать в подмосковное имение Валуево. Правда, без права выезда за границу. Здесь, в Валуеве, и родился первенец – Алексей.

Осенью того же года император и вовсе простил несчастного и освободил из-под надзора полиции. Граф с семьей вернулся в Петербург. Здесь родился второй сын – Владимир.

Мусины-Пушкины жили на доходы с имений в Московской, Могилевской и Ярославской губерниях. Посещали театры и балы.

Милли продолжала беспрерывно рожать – двое следующих сыновей умерли, не прожив и нескольких месяцев. Только в 1835 году появился на свет здоровенький и вполне жизнеспособный Александр.

Когда императрице надоели слухи о походах Николая I в покои фрейлины Авроры Шернваль, она распорядилась выдать ее замуж. Подыскали выгодную партию – егерьмейстера двора его величества, богача и промышленника Павла Николаевича Демидова. Он был славным человеком: добряк, толстяк, меценат. В 1812 году (14 лет от роду) оказался на поле Бородина в составе Кавалергардского полка. Позже, после тридцати, сделался курским губернатором. Жертвовал огромные суммы на нужды Академии наук, стал учредителем ежегодной Демидовской премии за лучшие сочинения. Вместе с братом на свои деньги построил детскую больницу в Петербурге, помогал инвалидам, нищим. Но здоровье имел неважное и был вынужден часто лечиться за границей. Поговаривали, что Аврора не слишком

счастлива в браке.

В мае 1838 года Павел Николаевич с женой отдыхали в Германии. К ним приезжала Милли с детьми и младшей сестрой Алиной (Мусин-Пушкин по-прежнему считался «невыездным» и не смог к ним присоединиться). Затем, в конце августа, она возвратилась в Россию. Весь остаток лета и начало осени провела в Китае – небольшой деревеньке под Царским Селом, где снимали дом и Карамзины. Здесь-то Софья Николаевна Карамзина и познакомила Лермонтова с Мусиной-Пушкиной.

2

Знаменитый русский писатель-историк Николай Карамзин был женат дважды. Первая супруга умерла при родах дочки Сонечки. Во втором браке имел пятерых детей – двух дочерей и трех сыновей. Старший сын, Андрей, был военный, артиллерист, по годам – ровесник Лермонтова.

Карамзин умер в 1826 году. Его вдове было сорок шесть, она вела все хозяйственные дела. Принимала у себя известных писателей, художников, композиторов – завсегдатаями ее салона были Пушкин, Жуковский, Вяземский, Тургенев. Ей помогала падчерица – Софья Николаевна: у нее сложились очень добрые отношения с мачехой. Старую деву, Софью, интересовали только литература и искусство, целью ее жизни стала помощь новым талантам. Она «приметила» юного Лермонтова, пригласила к себе в салон, собрала друзей и попросила почитать стихи. Посетители пришли в восхищение. Жуковский взялся опубликовать его комическую поэму «Тамбовская казначейша».

После высылки на Кавказ Лермонтов появился в Петербурге в январе 1838 года, но потом был вынужден до конца весны отбывать службу в Новгородской губернии. В перерывах между дежурствами и смотрами сочинял стихи и прозу, написал «Песнь о купце Калашникове» и новеллы из журнала Печорина. Ездил в отпуск к бабушке. Та продолжала хлопотать по инстанциям и добилась своего: внука перевели поближе к столице – в Царское Село, в Лейб-гвардейский гусарский полк.

В первый же выходной – это было в пятницу, 2 сентября, – Михаил отправился в Ротонду, где обычно встречалась светская молодежь: танцевала, общалась, веселилась. И увидел Софью Карамзину.

Она была в светлом закрытом платье и в высокой шляпе с пером. Стройная, высокая, 36-летняя дама. Некрасивая, но с приятными, добрыми чертами лица. Увидев поэта, сразу оживилась и пошла навстречу.

– Господи, Мишель, наконец-то! Мы вас заждались. Ходят слухи о вашем новом шедевре – про Кавказ и Демона. Это правда?

Он поцеловал ей руку в перчатке.

– Так, безделица, право. Вряд ли достойна она вашего внимания.

– Ах, не скромничайте, голубчик, знаю, что лукавите. Вы должны нам ее прочесть. Приходите обедать. Вот хотя бы завтра.

– Завтра не могу, я на дежурстве.

– Приходите пятого. Будут именины Лизы – моей младшей сестренки, соберутся гости. Ваше чтение станет для нее подарком.

– Благодарю. Буду непременно.

– Заодно обсудим будущий спектакль.

– Что за спектакль?

– Мы решили поставить своими силами водевиль Грибоедова и Вяземского «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом». Вяземский – мой дядя, вы знаете? Сводный брат моей мачехи.

– Да, я слышал.

– Нам необходим исполнитель главной роли – Рославлева-младшего, гусарского офицера. Вы бы подошли идеально.

Михаил сделал вид, что испугался.

– Я? На сцене? Боже упаси!

– Ах, оставьте сомнения – мы же не для публики, а для себя, будут только свои. Кстати, познакомитесь с Милли. Помните, я о ней писала вам на Кавказ?

Он потер висок.

– А-а, графиня Мусина-Пушкина.

– Совершенно верно. Ей досталась роль Юлии, вашей жены, то есть жены Рославлева-младшего.

– А ее реальный супруг, Мусин-Пушкин, возражать не станет?

– Он и знать не будет. Приезжает сюда нечасто, раз в две недели, чтобы проведать деток, и опять в Петербург, за ломберный стол. Совершенно помешан на картах. Новый Германн.

– Хорошо, я подумаю.

– Тут и думать нечего, дорогой Мишель. Если вы откажетесь, мы поссоримся.

– Мой Бог, это ультиматум?

– Почему бы и нет? С вами, мужчинами, по-другому нельзя.

Лермонтов рассмеялся.

– Лучше возьмите меня в «карусель» в манеже.

(«Каруселью» назывались костюмированные выездки – конный карнавал пользовался большой популярностью в царскосельском обществе.)

– Да возьмем, возьмем. Итак, приходите в понедельник на именины.

– Гран мерси.

Михаил задумался: – И зачем мне эта Мусина-Пушкина? Новый роман с замужней дамой? Нет уж, извините. До сих пор меня совесть мучает, что наставил рога бедняге Нечволодову. Другое дело – Лиза Карамзина. Ей семнадцать лет – говорят, очень недурна. Если набиться к ней в пару на «карусель» – можно познакомиться ближе. Нет, Лиза, и только Лиза. Тем более имя мне родное. (Бабушку поэта звали Елизавета Алексеевна.)

3

...

*«Милый мой Маешка.*

*Ты, поди, забыл о существовании своего двоюродного дядюшки? Ну, так я напоминаю тебе. Нынче я в Москве, отдыхаю от кавказских баталий генерала Вельяминова [36] , но в ближайшее время собираюсь в Петербург. Ведь мое назначение вышло: буду в твоем полку в Царском. Не желаешь ли поселиться, как прежде, в одной квартирке? Коли не поссорились раньше, то теперь уж не подеремся, чай.*

*Ты знаком с Вовой Соллогубом [37] , и поэтому тебя вряд ли удивит его пасквиль, писанный противу нас с тобою. По дошедшим до меня слухам, он сейчас корпит над гумористической повестью о большом свете, где выводит личности, известные, в виде карикатур. В частности, он читал в салонах отрывки, где героями у него граф Сафьев и корнет Леонин. Очень похоже на нас двоих. Граф у Соллогубки увлечен графиней Воротынцевой (чуешь намек на мою любовь к В.-Д.?), а Леонин – поэт, ищущий славы. Мы еще посмотрим, что он там в реальности пишет. Коли просто смех, как в твоей*

*поэмке про Монго и Маешку, [38] – бог с ним; коли оскорбление, мы испросим у мерзавца удовлетворения.*

*Я соскучился по тебе ужасно. Знаю о твоих литературных успехах. Тут в Москве все с ума сходят от твоей «Казначейши», напечатанной в «Современнике». Отчего без подписи? Многие теряются в догадках, кто автор, не Жуковский ли, я же знаю, что ты, и всем говорю, что мой родственник. А «Купца Калашникова» еще не читал, но уже наслышан. Ты, глядишь, и в новые Пушкины выбьешься. Я горжусь тобою и желаю дальнейших озарений. Стану купаться в лучах твоей известности. Спросят через сто лет: кто таков граф Алексей Столыпин по прозвищу Монго? И ответят – это дядя самого Лермонтова! «А, – ответят, – тогда понятно!»*

*До скорой встречи, Маешка. Обнимаю.*

*Всегда твой Монго».*

* * *

…

*«Дорогой Монго.*

*Ты меня порадовал своим письмом несказанно. Предвкушаю наше совместное житье на квартирке (я договорился – будет та же самая, что и в прошлый раз, на углу Большой и Манежной улиц), буйные пирушки и походы к веселым девушкам. Ты, поди, всю Москву ужо уе?… Или половину? У меня новости*

*скромнее, но одну красотку, что живет близ Софии, я тебе покажу – этакой затейницы в части амурных игр свет еще не видывал.*

*В понедельник иду на именины младшей Карамзиной. Говорят, душка. Очень надеюсь в нее влюбиться и затеять бурный роман. А потом, чем черт не шутит, жениться. В здешних светских кругах очень нравятся мои сочинения, так что скоро выйду в знатные женихи.*

*Я считаю дни до того, как увидимся. Приезжай скорей.*

*Твой любезный племянничек*
*Маешка Лермонтов».*

4

Раньше Карамзины селились тоже в Китае, но с недавних пор начали снимать дом в центре Царского Села, напротив Александровского сада. Здесь они имели собственный цветник, палисадник и фруктовый сад. Гости, собравшись на именины Лизы, тут и расположились – кто сидел за столиком, кто расхаживал вдоль уютной галереи, кто играл с собачкой возле входа в теплицу. Все взоры обратились на вошедшего во двор гусарского офицера в красном доломане, синих брюках с лампасами и задорно заломленной форменной шапочке. Его фигуру портил короткий корпус: если бы вытянуть туловище на несколько вершков вверх, было бы то, что надо, а так он казался со стороны несколько приплюснутым.

– Господа, знакомьтесь, кто еще не знаком: корнет Лермонтов, восходящая звезда отечественной словесности, – громко представила вошедшего Софья Николаевна.

Первой подошла мать семейства – Екатерина Андреевна. Незаконная дочь князя Вяземского и графини Сиверс, она получила в девичестве фамилию Колыванова (от русского названия Таллина – Ревеля – Колывани, где родилась), а в замужестве стала Карамзиной. Невысокого роста, полная, с милым круглым лицом, она излучала добродушие и гостеприимство. Заговорила по-русски:

– Милости прошу, дорогой Михаил Юрьевич. Мы так любим ваши произведения, а сейчас просто в восторге от «Купца Калашникова».

– Вы преувеличиваете, сударыня. Мне еще расти и расти.

– Вы известный скромник, корнет. Разрешите представить моих детей. – С Андреем вы уже знакомы. Он тоже будет играть в спектакле. Вот – Александр, прапорщик, начинающий литератор. Не стесняйся, милый, у тебя стихи очень недурны. Вот наш младшенький – Владимир. Он учится на последнем курсе Петербургского университета, будущий юрист, а теперь на вакациях. Самый большой насмешник в семье, думаю, вы подружитесь. А вот и именинница – Лизонька. Ей недавно исполнилась семнадцать, девушка на выданье и уже получает признания в любви. Ну, молчу, молчу, это тайна, вы же понимаете, девичьи секреты нельзя разглашать!..

Девушка была худовата, из открытого платья выпирали ключицы. Да и носик хотелось бы видеть чуточку короче. Но веселые, добрые глаза искупали прочие недостатки. А уж по сравнению с Софьей Николаевной, своей сводной сестрой, она выглядела просто красоткой.

– Здравствуйте, мсье Лермонтов. Рада познакомиться.

– Я тоже. Разрешите преподнести вам в качестве подарка этот альбом. Там на первой странице мое стихотворение. Нет, не читайте вслух, это только для вас. Желаю вам здоровья и счастья.

Михаила перехватила Софья Николаевна и повела к своим друзьям. Первой оказалась графиня Евдокия Ростопчина, по-домашнему – Додо, поэтесса, лирикой которой восхищался сам Пушкин. У нее было больше публикаций, чем у Лермонтова, она подписывала стихи псевдонимом «Р-а». В свете судачили о ее романе с Андреем Карамзиным.

– Здравствуйте, Мишель. Как поживаете? Вы уже приглашены на свадьбу моей кузины?

Двоюродной сестрой Додо была Екатерина Сушкова – давняя пассия Михаила. Он слегка опешил:

– Кити выходит замуж? Я не знал.

– Да, за камер-юнкера Хомутова, начинающего дипломата. Они очень хорошо смотрятся вдвоем.

– Я бы смотрелся лучше.

– Кто же виноват? Сами упустили свой шанс.

– Ох, будто бы! Кити меня никогда не любила по-настоящему. Это была забава.

– С вашей стороны или с ее?

Он задумался и не ответил, а спросил:

– Так когда же свадьба?

– В середине ноября.

– Ну, еще не поздно ее расстроить.

– Прекратите, Мишель, я ценю шутников, но такие шутки не совсем уместны.

– Да какие шутки? Я приду на свадьбу и все испорчу.

– О, прошу вас, прошу. Проигрывать надо уметь.

– Партия не окончена. Мы еще поборемся с мсье Хомутовым – кто кого! Как он смел увести невесту у меня из-под носа!

– Господин корнет! Вы невыносимы. Для чего вам это? Вы же все равно на Кити не женитесь.

– Разумеется, не женюсь. Я не умалишенный.

– Так тогда зачем?

Михаил усмехнулся.

– Скажем, из азарта.

– Это не игра, сударь. Вы уже сломали играючи жизнь Варваре Лопухиной, ныне Бахметевой.

Лермонтов оскорбленно поджал губы.

– Замолчите, Додо. И не поминайте имени Вареньки всуе.

Евдокия хмыкнула.

– Не сверлите меня глазами, а то прожжете.

– Запросто прожгу.

Софья Николаевна, прекращая спор, повела гостя к галерее, где играла с собачкой миниатюрная дама в темно-синем бархатном платье. Ее лицо, шея и ручки были словно сделаны из фарфора.

– Дорогой Мишель, разрешите вас познакомить с Милли Мусиной-Пушкиной.

В этот момент Михаил моментально забыл о Лопухиной, о Сушковой, обо всех остальных женщинах на свете. Какие синие глаза! Даже не чисто синие, а, скорее, синие в крапинку: более темные пятнышки на светло-синем фоне, мозаично-синие. Взгляд доверчивый, прямо детский.

– Рад знакомству, сударыня.

– Я тоже рада.

– Говорят, нам с вами играть в спектакле мужа и жену?

– Это было бы занятно, – она улыбнулась.

– Не в спектакле, а в спектаклях, – уточнила Карамзина. – Мы решили ставить два водевиля.

– А не слишком ли много?

– Да они короткие.

– А какой второй?

– Скриба и Мазера «Карантин». Вам, Мишель, отведена роль негоцианта Джонато. Читали?

– По-французски – да.

– Мы и собираемся играть по-французски.

Подошел слуга с бокалами шампанского на подносе.

– Давайте выпьем за успех нашего предприятия. Это будет нечто грандиозное!

Лермонтов поморщился.

– Ох, не знаю, не знаю, господа. С детства не играл в домашних спектаклях.

– Ничего, в паре с дорогой Милли быстро войдете во вкус.

Чокнулись, пригубили.

– Расскажите Мишелю о кораблекрушении, которое случилось с вами по дороге в Германию. Это любопытно. Я пока пойду распорядиться насчет стола. – И мадемуазель Карамзина упорхнула.

Михаил удивился.

– Кораблекрушение? В самом деле?

Мусина-Пушкина застенчиво улыбнулась.

– Громко сказано. Но по сути верно… Я с детьми и младшей сестрой ехала в Германию к старшей сестре Авроре Демидовой. Мы отплыли на пароходе «Николай» и несмотря на май попали во льды. Так страшно было смотреть, как льдины бьются о борт корабля! Мало того: перед самым заходом в Травемюнден в трюме вспыхнул пожар.

– Господи Иисусе!

– Женщин и детей начали грузить в шлюпки. Несколько человек утонули на наших глазах. Царствие им небесное! Наконец добрались до берега: он был такой скалистый, необитаемый. Мы полураздетые: так как было раннее утро, нас из-за пожара подняли прямо с постели. Бедная моя сестрица Алина вся дрожала от холода, и один кавалер отдал ей мундир, чтобы она согрелась. Очень галантный мужчина! Это был сеньор Корреа – посланник Испании в Швеции.

– Испанец? У меня испанские корни, между прочим.

– Я слышала, будто шотландские?

Лермонтов потупился.

– Версии разнятся… Ну и как же вы спаслись на пустынном берегу?

– Наши доблестные мужчины отправились на разведку и нашли неподалеку деревню. Там мы обогрелись, выпили чаю и взяли лошадей, чтобы добраться до Травемюндена.

– Настоящее приключение!

– Да, теперь смешно, а тогда было не до смеха.

Софья Николаевна пригласила гостей к столу. Михаил предложил Эмилии руку, и она молча согласилась, сделавшись тем самым его дамой на этот вечер. Графиня нравилась Лермонтову все больше и больше: простотой, не манерностью, искренними суждениями, ясной белозубой улыбкой, звонким смехом, тонкими изящными пальчиками с ухоженными ногтями. Было в ней что-то непосредственно-детское и, вместе с тем,

взрослое, женственное, вызывающее страсть.

После нескольких перемен принесли десерт – мороженое с персиками. Но не успел Лермонтов съесть и двух ложек, как раздался командный глас Софьи Николаевны:

– Господа, корнет Лермонтов милостиво согласился прочитать для нас свою новую поэму о Демоне. Просим!

Общество поддержало:

– Просим, просим!

Он поднялся и достал сложенные листки. Затем внимательно посмотрел на зрителей.

– Я хочу предупредить, что работа над поэмой еще ведется. Некоторые места мне пока не нравятся. И я учту ваше мнение, коли выскажете его…

Михаил откашлялся и негромко начал:

*Печальный Демон, дух изгнанья,*
*Летел над грешною землей,*
*И лучших дней воспоминанья*
*Пред ним теснилися толпой…*

Гости слушали внимательно, ловя каждое слово. Описание Грузии вызвало возгласы восхищения, а убийство жениха Тамары – неподдельное волнение. Наконец наступила главная сцена – приход Демона в монастырь к его избраннице.

*Я тот, чей взор надежду губит,*
*Едва надежда расцветет,*
*Я тот, кого никто не любит*
*И все живущее клянет;*
*Ничто пространство мне и годы,*
*Я бич рабов моих земных,*
*Я враг небес, я зло природы,*
*И, видишь, я у ног твоих.*

Лермонтов читал вдохновенно, глаза его горели неземным светом, словно сам Демон говорил устами поэта. Слушатели внимали с суеверным ужасом, глядя, как мятые листки мелко вздрагивают в руках гусарского офицера.

*И только за скалой соседней*
*Утих моленья звук последний,*
*Последний шум людских шагов,*
*Сквозь дымку серых облаков*
*Спустился ангел легкокрылый*
*И над покинутой могилой*

*Приник с усердною мольбой*
*За душу грешницы младой…*

После финальных строк наступила гробовая тишина. Все сидели потрясенные.

Михаил достал носовой платок, вытер выступившие на висках и на лбу капли пота. Он сразу как-то сгорбился, превратившись из Демона в обычного литератора. С неуверенностью в голосе спросил:

– Не понравилось?

Все задвигались, дамы начали обмахиваться веерами. Первой нарушила молчание мать семейства – Екатерина Андреевна.

– Михаил Юрьевич, это превосходно. Так хорошо написано, словно само Провидение водило вашей рукою. Но зачем вы избрали такую тему?!

Лермонтов не понял.

– Отчего же нет? Что вас смущает?

– Все смущает, все! Ибо вы коснулись того, что таит в себе очень опасные вещи. Вы коснулись не просто потустороннего мира, но такой его сферы, где душа человека сразу гибнет. Демон! Про́клятый Создателем! Нет ничего ужаснее! – И она суеверно перекрестилась.

– Дорогая Додо, неужели и вы так думаете?

Евдокия Ростопчина откликнулась.

– Право, я и не знаю, что думать. Ваша поэма совершенна, она словно мастерски ограненный алмаз. Но нельзя не разделить мнения Екатерины Андреевны. Вы играете с такими материями или не материями, ибо это область духа, что становится страшно. За последствия.

В разговор вступил младший Карамзин – Владимир Николаевич.

– Ты усугубляешь, Додо. Да и вы, мама́, слишком впечатлительны. Нет здесь никакой мистики. Я, вы знаете, человек нерелигиозный. Не атеист, боже упаси, а, скорее, экуменист и даже пантеист. Библия, Коран для меня – больше литературные памятники, нежели священные книги. В свете этого, конфликт Господа и Демона – для меня лишь метафора, часть глобального мифотворчества. Господин Лермонтов вправе брать подобную тему без фатальных последствий для себя.

Екатерина Андреевна продолжала упорствовать.

– Литератор не имеет права затрагивать потусторонний мир.

– А иконописец? – возразил ей сын. – Он изображает иной мир. Есть иконы Страшного суда, Апокалипсиса. Ну и что? Разве это плохо кончалось для богомазов?

Мать покачала головой.

– Не знаю. Ты, конечно, ученей меня, без пяти минут кандидат и силен в красноречии. Мне трудно с тобою тягаться. Но сердцем я чувствую, что сфер потустороннего касаться нельзя. Это табу.

Спор пошел по второму кругу. Лермонтов опустившись на стул рядом с Мусиной-Пушкиной, заглянул ей в глаза.

– Вы того же мнения, Эмилия Карловна?

Графиня вздохнула.

– Затрудняюсь ответить, Михаил Юрьевич. Я потрясена вашими стихами. Вы, конечно, гений… первый после Пушкина… Но я боюсь за вас! – Она посмотрела на него так пронзительно, что ему сделалось неловко.

– Да чего ж бояться? По моим подсчетам, я должен умереть не раньше тридцати трех лет. Значит, впереди еще девять.

– Разве это много?

– О, вполне достаточно, чтоб успеть высказать все, что хочется.

Страсти постепенно улеглись. Дамы музицировали, пели, первой вокалисткой вечера была признана именинница Лизонька. Затем все танцевали под фортепьяно. Лермонтов пригласил Милли, но она вежливо отказалась, сославшись на головную боль.

– Тогда давайте выйдем на свежий воздух.

– Хорошо, пойдемте, – она накинула на плечи ажурную шаль.

Вечер был не по-осеннему теплый. На прозрачном небе мигали звезды. Сад стоял безмолвный, словно бы уставший за лето.

– Дышится легко, – тихо сказала Эмилия Карловна. – Я люблю это время, полное таинственных шорохов, призраков и видений. В детстве мы с сестрой перед сном, лежа в своих кроватках, пугали друг друга. Было и смешно, и страшно!

– Я вас напугал своей поэмой?

– Да, отчасти. Мне впервые довелось слышать подобное… Вы великий поэт и должны беречь свой талант.

Он пожал плечами.

– Что значит беречь? Не служить, не браниться, не скакать верхом, а сидеть взаперти, затворившись от мира? Невозможно и нелепо. Коли ты поэт – будь любезен вращаться среди людей, для которых пишешь, о которых пишешь, слушать разговоры, участвовать в них, находить сюжеты. Только летописцы-монахи могут сочинять в своих кельях.

– Вы, конечно, правы. Уходить от мира нельзя. Но среди людей столько злых! Ненароком могут задеть… Как задели Пушкина, оскорбив его в лучших чувствах.

Помолчав, Лермонтов сказал:

– Существует мнение, что Дантеса направляли очень высокопоставленные особы.

Мусина-Пушкина кивнула.

– Да, не исключено. Слишком серьезная интрига была затеяна. О подобных вещах я знаю не понаслышке. Взять хотя бы мою сестрицу Аврору… Вы, должно быть, слышали?

– Слышал. Как ее супруг? Все еще хворает?

– Подлечился на водах, слава богу. – Словно что-то вспомнив, вдруг заторопилась. – Ну, мне пора. Не люблю надолго оставлять на няньку детей.

– Сколько им?

– Старшему, Алешеньке, скоро будет семь, Вове – шесть, Саше – два.

– Одни мальчики.

– Да, мой муж этим доволен, я же хотела бы еще и девочку.

Лермонтов вздохнул.

– Если бы Бог наградил меня дочкой, я бы назвал ее Марией – в честь моей бедной покойной маменьки.

– Машей, Машенькой… – чуть слышно повторила Милли. – Однако мне надо распорядиться подать мою коляску.

– Я сейчас распоряжусь. Вы позволите вас сопроводить до дому? Время позднее…

– Не стоит утруждаться, Михаил Юрьевич: у меня двое слуг. А вас, наверное, ждут на празднестве.

– Может, вы и правы. Тем более, что нынче я не верхом. Надеюсь на новую встречу в доме Карамзиных.

Наклонившись, он поцеловал ей руку.

– Да, я тоже буду надеяться. – И она слегка пожала ему ладонь.

Это был весьма недвусмысленный знак.

Провожать Эмилию Карловну вышли все. Помахав на прощание, женщина уехала.

Михаила немедленно взяла под локоток Софья Николаевна и шепнула на ухо:

– Она прелесть, да? Вы, конечно, в нее влюбились?

Лермонтов усмехнулся.

– Может быть. Чуть-чуть. Будущее покажет.

– Вы скоро увидитесь. Приходите послезавтра на репетицию.

– Мерси бьен. Стану жить надеждой на эту встречу.

5

Первую в России железную дорогу проложили год назад между Петербургом и Царским Селом. Многие пока опасались по ней ездить – например, Елизавета Алексеевна, бабушка

Лермонтова, умоляла его приезжать в столицу только на лошадях. Но Столыпин-Монго ничего не боялся и решил опробовать новый вид транспорта. Своим слугам (конюху и лакею) он наказал прибыть следом конным ходом. Поэтому сам ехал налегке, с небольшим саквояжем.

Михаил, извещенный по телеграфу, ожидал Алексея Аркадьевича на станции.

Их родство было следующим: Елизавета Алексеевна доводилась отцу Монго – Аркадию Алексеевичу – родной сестрой. Таким образом, формально Монго приходился Михаилу двоюродным дядей. А по возрасту – почти что ровесником: дядя был младше племянника на два года!

Прозвище же появилось так. В Школе гвардейских прапорщиков Алексей увлекался книжкой Мунго Парка – путешественника по Африке, сам хотел ехать в Африку по его следам и постоянно твердил: «Мунго, Мунго». Лермонтов подарил ему однажды щенка и в насмешку назвал Мунго. А слуга Столыпина начал звать собачку просто Монькой. Вот и вышло: Мунго – Монька – Монго. Незлобивый Алексей на кличку не обижался, сам веселился, а потом привык, да и все привыкли.

Станция была свежевыкрашенная – деревянный вокзальчик, больше похожий на сарай, с кассой, скамейками и буфетом. Газовые фонари. Механические часы на стене.

В ожидании поезда Лермонтов вышел на перрон. Мокрые доски под ногами говорили о недавнем дожде. Небо хмурилось, приближалась настоящая осень.

Наконец прозвонил колокол – приближался паровоз. Выглядел он зловеще: тупорылый, красный, в клубах пара и дыма, валившего из трубы. Чухая и свистя, протащил вдоль платформы несколько вагонов. На перроне было больше зевак, нежели встречающих.

Из второго вагона вышел великан в экзотическом облачении кавказца – бурке, архалуке и косматой шапке, за пояс заткнут кинжал. Пышные усы победоносно торчали. Черные глаза сияли лукавством и мужской энергией.

– Монго!

– Маешка!

Родичи обнялись, Михаил при этом был не выше плеча гиганта.

– Ты, Маешка, я гляжу, сильно возмужал, и усы стали гуще. Да, Кавказ закаляет.

– Только не меня: я за все время пребывания на Кавказе был всего в одной серьезной переделке, да и то случайно.

– Не жалей, племянник: настоящая война – это не веселое

приключение, а грязь.

Вслед за Алексеем из вагона вышел статный господин в темной невоенной шинели и высоком цилиндре, с тростью в руке. На его слегка удлиненном холеном лице были написаны аристократизм и снисходительность к окружающему миру: дескать, мир, конечно, плох, но не стоит из-за этого слишком огорчаться.

Монго с воодушевлением произнес:

– Разрешите вас познакомить, господа. Мой дражайший родственник корнет Михаил Лермонтов. Вы, должно быть, читали его дивные стихи. А это мой случайный попутчик – граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин. Мы прекрасно провели время в дороге за беседой.

«Вот кому она принадлежит», – с горечью подумал Михаил.

– Да, стихи ваши нынче в моде. Только и слышишь по салонам: «Лермонтов, Лермонтов». А «Смерть поэта» – просто блестяще, – сказал граф.

– Ваше мнение да государю бы в уши.

Мусин-Пушкин поморщился.

– Знаю о ваших неприятностях. Что делать? Кто избег монаршей опалы? Государь не хочет знать никаких отклонений от его точки зрения. Он, как геометр, признает лишь прямые линии. Все зигзагообразные отметает.

Монго вмешался.

– Господа, здесь не место для дебатов на подобные темы. Столько посторонних ушей! Не пора ли в город? Лошади в нашем распоряжении есть?

– Да какие лошади! – отмахнулся поэт. – Тут идти пять минут пешком.

– А Владимиру Алексеевичу, видимо, придется нанимать извозчика – до Китайской деревеньки путь не очень близкий.

Мусин-Пушкин кивнул.

– Да, я знаю, не в первый раз. Скоро заберу семейство в Петербург. После бабьего лета.

«Значит, в октябре, – мысленно отметил Лермонтов. – Времени еще много».

Выйдя со станции, попрощались, церемонно раскланявшись. Алексей спустя некоторое время произнес:

– Милейший человек, независимого ума и парадоксальных суждений.

– А как прелестна его жена! – вырвалось у Михаила.

Монго удивился.

– Ты с ней знаком?

– Познакомился давеча у Карамзиных.

– Я видал ее год назад на балу у Лавалей. Хороша, но сестра поизящней. Та, которая замужем за Демидовым.

– Может, и поизящней, не знаю, но Эмилия Карловна – просто чудо.

Дядя улыбнулся.

– Э-э, да ты влюблен, как я погляжу.

Племянник вздохнул.

– Мог бы и влюбиться, если бы не муж. Совестно наставлять рога хорошему человеку.

– А по мне, это не имеет значения. Ну и что, что муж? Коль ты муж, будь готов к появлению на башке рогов. Я вот расположен к Мусину-Пушкину – ты сам видел, но случись возможность завести романчик с его женой – ни минуты бы не раздумывал, ей-бо. И не потому, что я негодяй, просто он на моем месте сделал бы то же самое.

Михаил не согласился.

– Ты известный башибузук. Ничего святого.

Монго расхохотался.

– Только ты не строй из себя Архангела Михаила!

Квартирка, снятая Михаилом, находилась на втором этаже и включала в себя три комнаты для господ, комнату для слуг, туалетную и столовую. Окна выходили на Софийский собор, близ которого и располагался Лейб-гвардейский гусарский полк. Алексей, бросив саквояж в своей комнате, обратился к племяннику:

– Ты не против, если с нами поживет мой кузен Алексей Григорьевич? Он ведь тоже доводится тебе двоюродным дядей.

Лермонтов поморщился.

– Был бы только рад, если бы не его нрав. Ты же знаешь, он страшный педант. Дискутировать с ним – одно, а вместе жить – совсем другое. Изведет нравоучениями по праву старшего.

– Понимаю. Но отказать тоже совестно. Думаю, терпеть придется недолго – скоро выйдет его новое назначение, и он съедет.

– Разве что недолго.

А пока Алексей Григорьевич не приехал, вечер провели весело – накупили вина, разных вкусностей и отправились навестить прелестницу Дашеньку, пышнотелую вдову, в гостях у которой перебывала четверть гусарского полка. Дашенька была большая затейница по части любви и не брезговала общением сразу с двумя, тремя или даже четырьмя кавалерами.

6

Лермонтов прочитал пьеску Грибоедова и Вяземского, в которой ему предстояло играть, и она ему не слишком

понравилась. Легкий, ни к чему не обязывающий водевильчик. Плоские, однозначные персонажи, а сама ситуация, по-существу, нереальная. Только в водевиле старший брат главного героя может не понять, что его дурачит не настоящий гусар, а переодетая женщина.

Участвовать в этом балагане сразу расхотелось. Но, с другой стороны, подвернувшуюся возможность познакомиться поближе с Мусиной-Пушкиной упускать было глупо. Монго прав: муж мужем, а роман романом. Тем более, что муж тоже не святой: в свете говорили о его побочной семье то ли в Москве, то ли в Ярославле. Что ж, ему можно, а жене нельзя?

Михаил собирался на репетицию со всей тщательностью, загоняв Андрея Ивановича: тот чистил сапоги и мундир, сбегал за брадобреем и в мускусную лавку за одеколоном и бриолином. В результате поэт был свеж, выбрит и надушен. «Хоть сейчас под венец, – оценил его расфуфыренность Монго, лежа на кровати, как античный римлянин на пиру. – Бедный Мусин-Пушкин! Шансов не стать рогоносцем у него мало». – «Мон шер, я не на свидание иду, а на репетицию». – «Совмещаешь одно с другим, это очень мудро».

Лермонтов явился в дом к Карамзиным на пятнадцать минут раньше срока. Он был слегка взволнован и старался скрыть взволнованность под личиной беззаботной веселости. Чтобы успокоиться, вышел на крыльцо покурить. Вместе с ним вышел и Владимир Николаевич.

– К сожалению, полноценной репетиции не получится.

– Отчего? – удивился Михаил.

– У мадам Эмилии дома неприятности, и она, скорее всего, не приедет.

– Неприятности?

Будущий юрист понизил голос.

– Строго энтр ну [39] – мне по секрету сказала сестрица, – ее муж, Владимир Алексеевич, сильно проигрался. Около семидесяти тысяч.

– Господи Иисусе!

– Умоляет Эмилию Карловну попросить у Демидова. А она не соглашается. Произошел скандал, он едва не поднял на нее руку. Муж умчался в бешенстве в Петербург, а жена лежит бездыханная от мигрени. Вуаля [40] .

Михаил погрустнел.

– Да-с, весьма обидно. Ну да ничего не попишешь: милые бранятся – только тешатся.

Карамзин махнул рукой.

– Помилуйте: «милыми» давно уже не пахнет. Брак у них на

грани распада, это всем известно.

– Вот как? Я не знал.

– Граф – милейший человек, но безумный игрок. Может просадить за вечер состояние. Весь в долгах. Иногда детям на еду не хватает.

– Бедная Эмилия Карловна.

– Вышла в юности замуж по глупости. Начиталась французских книжек: ах, лямур, лямур! Вот вам и лямур. Замуж выходить лучше по расчету.

– Вовсе без любви?

– Для женитьбы достаточно простой симпатии. Потому как амуры крутить – это одно, а семью строить – совершенно другое.

Репетицию начали со сцен, где не была занята героиня Мусиной-Пушкиной: выходные куплеты дочек содержателя почтового двора, диалоги мужчин на станции. Лермонтов сначала был рассеян, пропускал свои реплики, но потом втянулся и финальные куплеты ( *«Наши замыслы все шатки, наша мудрость все туман, вечно люди будут падки и к обманам, и в обман»* ) очень сносно исполнил. Чисто и на подъеме.

Неожиданно отворилась дверь, и вошла Эмилия – немного осунувшаяся, бледная, но с веселым блеском в глазах.

– Здравствуйте, господа. Извините за опоздание.

Софья Николаевна пошла навстречу.

– Милли, дорогая, наконец-то! Мы уже не ждали.

Мусина-Пушкина слабо улыбнулась.

– Я сама не думала: голова с утра болела ужасно. Но потом взяла себя в руки, встала и приехала.

– Ты умница! – Хозяйка обратилась ко всем: – Господа, предлагаю сделать маленький перерыв и выпить чаю. А потом продолжим. Федот, неси самовар! Лиза, помогай разливать.

Михаил подошел к Милли, проводил за стол.

– Я так рад, что вы приехали.

– Правда? – Подняла она на него глаза.

– Истинная правда. Я в спектакле участвую только из-за вас.

– Да будто бы?

– Не люблю представлений. То есть театр я люблю – настоящий, умный театр; даже если это комедия, но хорошая, умная комедия. А домашние спектакли меня раздражают.

– Чем же?

Он пожал плечами.

– Профанацией, вероятно.

– Вы чересчур строги. Мы же это делаем для себя просто, чтобы повеселиться. А не в видах высокого искусства. Выбираем пиески нам по зубам. Или вам не нравится Грибоедов?

– »Горе от ума» превосходно. Жаль, что запрещено к постановке. А наша пиеса – посредственная.

– Фу, какой вы злой критик. Отнеситесь к этой затее без особых претензий.

Оживленно болтая, пили чай. Евдокия Ростопчина, как всегда, трещала без умолку. Александр Карамзин рассказывал светские анекдоты. Андрей морщился: «Где ты набрался этой дряни, брат? Слушать тошно». Все смеялись.

Затем продолжили репетицию. Проходили сцену Рославлева-старшего (в исполнении Андрея Карамзина) с Юлией (Мусиной-Пушкиной) в мужском наряде. Милли смешно пыталась говорить басом.

В два часа пополудни, утомившись, сели обедать. Тут уже заправляла мадам Карамзина, от души потчуя гостей. После десерта отдыхали в саду.

Лермонтов подсел на скамейку к Мусиной-Пушкиной.

– Разрешите? Не помешаю?

– Нет, конечно, сделайте одолжение. Ваше внимание так лестно.

– Отчего же?

– Сами знаете. Вся читающая Россия восхищается вашими стихами.

Он игриво прищурился.

– Скоро и прозой будет восхищаться.

– В самом деле?

– В самом деле – не знаю, будет ли восхищаться. Но из прозы кое-что у меня готово.

– Повесть? Роман?

– Затрудняюсь ответить.

– Как сие понять?

– Несколько повестей, объединенных одним героем. В целом получается вроде бы роман.

– Очень любопытно.

На крыльцо вышла Софья Карамзина, потрясла мешочком с бочонками.

– Кто в лото будет, господа?

Мусина-Пушкина спросила:

– Не желаете, Михаил Юрьевич?

– Нет, увольте, мне уже пора. Заступаю на дежурство в восемь вечера.

– Жаль. Но я надеюсь, что послезавтра мы снова увидимся на репетиции.

– Я тоже надеюсь.

Михаил поцеловал ей руку, встал, кивнул, щелкнул

каблуками.

– Честь имею, Эмилия Карловна.

– До свидания, Мишель. – Она взглянула на него так тепло и приязненно, что поэт подумал: «Провалиться мне на сем месте, если это не приглашение к развитию отношений!» И, веселый, воодушевленный, раскланялся с хозяевами.

Зайдя по дороге домой на почту, он получил с десяток писем, в том числе от бабушки и от Безобразова из Караагача. Вскрыв второй конверт, прочитал известие: умер Нечволодов, и его вдова, Екатерина Григорьевна, спрашивала полковника, знает ли он адрес Лермонтова в Петербурге. Безобразов не рискнул ей ответить без дозволения самого Михаил Юрьевича.

У него потемнело в глазах: он не знал, как вести себя в этой ситуации.

7

Пушкины и Мусины-Пушкины состояли в дальнем родстве: их объединял общий предок – выходец из Пруссии, приближенный Александра Невского, Ратша. Точно так же и Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин состоял в родстве с фрейлиной ее императорского величества Екатериной Мусиной-Пушкиной. Разумеется, император Николай I не обошел вниманием и эту симпатичную девушку, как не обходил вниманием большинство фрейлин своей жены, многие из которых имели от него детей.

Заминая очередной альковный скандал, начали искать подходящего жениха, чтобы взял в жены даму на сносях. И, конечно, нашли: им стал корнет лейб-гвардии Кирасирского полка Серж Трубецкой. Он был страшный повеса и бретер, за свои выходки не единожды подвергался опале и высылке. Сейчас в очередной раз сидел на гауптвахте в ожидании воли императора (на Кавказ? в Сибирь?), как вдруг ему сказали: коли женишься на беременной фрейлине, то искупишь свою вину. Трубецкой заметил: «Но ведь всем известно, от кого дитя». А ему в ответ: «Не твоя печаль, рассуждать не надо. Надо исполнять, говорить, что якобы ты встречался с Екатериной тайно больше года. Мол, ребенок твой». Делать нечего, корнет согласился.

Летом 1838 года родилась девочка, окрещенная Софьей – Софьей Сергеевной Трубецкой.

Ко взаимному удовольствию, Екатерина с дочкой вскоре навсегда уехала за границу.

10 сентября Серж явился в Царское Село и прямым ходом направился на квартиру к Лермонтову и Монго. Ибо, во-первых, он приходился шурином Алексею Григорьевичу Столыпину, жившему с ними, во-вторых же, был участником тайного общества, именуемого «кружком шестнадцати» («les seize») [41] .

Этот кружок сложился в Петербурге в начале 1838 года: собирались дома у кого-нибудь из участников, пили пунш и болтали на запретные темы – декабристы, конституция, крепостное право. Лермонтов читал вслух стихи. Словно не было для них в России жандармского III Отделения, сыска, стукачей… Разумеется, впоследствии все из них в той или иной степени поплатились за свое легкомыслие (или инакомыслие?) – в основном службой на Кавказе.

В кружок входили (в алфавитом порядке):

1. Браницкий-Корчак
2. Валуев
3. Васильчиков
4. Гагарин
5. Голицын
6. Долгорукий А. Н.
7. Долгорукий С. В.
8. Жерве
9. Лермонтов
10. Паскевич
11. Столыпин А. А. (Монго)
12. Столыпин А. Г.
13. Трубецкой
14. Фредерикс
15. Шувалов А.П.
16. Шувалов П.П.

Многие из них так или иначе будут участвовать в данном повествовании, и тогда автор расскажет о них подробнее. А пока вернемся к Сержу Трубецкому, появившемуся в квартире Лермонтова – Столыпиных.

Статный голубоглазый блондин, он сиял улыбкой и размахивал бутылкой шампанского.

– Господа, всем привет от моей сестрицы, а твоей, Алексей Григорьевич, законной супруги. Кланяться велела и еще сказать, что стараниями великой княжны назначение твое, считай, состоялось. Жди приказа.

Старший из Столыпиных раскрыл объятия.

– Дай тебя расцелую, шурин, за хорошую весть. Вот что значит иметь женой фрейлину ее императорского величества!

– Ну, сказать по правде, основную лепту внес мой братец Алекс, находящийся под особым покровительством Лаллы-Рук [42] .

– Хорошо, – согласился Алексей Григорьевич. – Скажем так: вот что значит иметь шурином друга августейшей особы!

– За это надо выпить.

– Да, всенепременно.

Снарядили слуг сбегать за едой и добавочной выпивкой и начали выпытывать у приезжего петербургские новости.

– Да какие новости, господа? Только и разговоров, что о бурном разрыве Мусина-Пушкина с женой. Этот фат проигрался в пух и прах и хотел занять у Демидова, свояка, а Эмилия была против. Он ей говорит: «Если я пущу себе пулю в лоб, долг придется платить тебе – все равно пойдешь просить у Демидова; так зачем же доводить меня до самоубийства?» А она ему: «Поступай, как хочешь, а просить у сестры и зятя мне совестно». Он ей говорит: «А оставить мужа в бесчестье не совестно?» А она ему: «Отчего муж не думал о своей чести, сидя за ломберным столом?» В общем, он решил продать или заложить одно из имений, а она грозится больше с ним не жить.

Монго крякнул.

– Ну-с, теперь лафа нашему Маешке!

Трубецкой не понял.

– А Маешка-то здесь при чем?

– Он влюблен в Эмилию по уши.

– Поздравляю!

Лермонтов незло огрызнулся:

– Слушай больше этого фалалея. Врет и не краснеет.

– Разве не влюблен?

– Да ни боже мой.

– Ты врун ужасный, – отозвался Монго, а затем обратился к Сержу: – Он вообще заврался: соблазнил на Кавказе подполковничью жену, и теперь она грозится разыскать его в Петербурге, а Маешка дрожит, словно заячий хвостик.

– Да иди ты в жопу! – Михаил швырнул в двоюродного дядю хлебной коркой. – Не умеешь хранить секреты.

– От друзей и родичей у меня нет секретов.

– Господа, хватит спорить, – оборвал препирательства Алексей Григорьевич. – Предлагаю выпить за любовь. Мне скрывать нечего: я женился на Мэри Трубецкой по любви, и живу в любви, и хотел бы умереть с ней, как в сказке, в один день.

– Ты счастливый человек, – вздохнул Лермонтов.

– Нешто ты несчастлив? Вон какие дамы тебя любят.

– Преимущественно чужие жены.

Трубецкой заметил:

– А зато Бог наградил тебя талантом поэта. Жаловаться грех. Потому как редко случается – и талант, и счастье в семейной жизни.

– Жаль, что редко.

– Это, брат, природа. За любовь!

– За любовь! – сдвинули все бокалы.

Вечером Алексей Григорьевич читал у себя в комнате. А Монго с Сержем навострились в гости к Дашеньке. Предложили Михаилу, но тот отказался, заявив, что должен учить роль в спектакле.

8

Главный начальник III Отделения собственной его императорского величества канцелярии, шеф жандармов граф Александр Христофорович Бенкендорф прибыл на доклад к самодержцу в понедельник 21 сентября 1838 года к двум часам пополудни. Был он в полной форме лейб-гвардейского жандармского полуэскадрона: темно-синий мундир, эполеты, аксельбанты, голубая лента через плечо. Плоские бакенбарды, небольшие усики – аля Николай I, и высокий лоб, уходящий в лысину; под глазами мешочки.

О нем доложили, Бенкендорф вошел, отрапортовал. Император поднялся из-за стола, предложил сесть напротив в кресло и устроился сам. Александр Христофорович сообщил, как идет работа над проектом новой линии железной дороги – между Петербургом и Москвой. Деньги требуются немалые. Император кивал: да, немалые, но что делать, это веление времени, вон в Европе сколько уже дорог, а в такой огромной России – не смешно ли? – только из столицы в Царское Село и Павловск.

Обсудили настроения в петербургском и московском дворянстве. Николай спросил: не усилить ли цензуру над прессой? Иногда проскальзывают в печать сочинения сомнительного свойства. Бабушка, Екатерина Великая, при ее либеральных взглядах поступала с вольнодумцами жестко.

Бенкендорф ответил:

– Мы читаем все публикации, ваше величество: явной крамолы нет.

– А неявной? – скривил губы Николай.

Шеф жандармов развел руками.

– Тут, как говорится, трактовать можно всяко. Скажем, басни у Ивана Андреевича Крылова – аллегории и полунамеки; но за аллегории как осудишь?..

Император отрезал:

– Никаких аллегорий нам не нужно. Да, Крылов – великий баснописец, русский Лафонтен, но печатать все, что ни напишет, тоже не годится.

Перешли на «кружок шестнадцати». Самодержец поинтересовался: не прообраз ли это новых тайных обществ? Не пора ли пресечь их сборища?

– Я бы повременил, – высказал свое мнение Александр

Христофорович. – Разговоры они ведут порой хоть и скользкие – например, о необходимости вольности крестьянству, – но решительных шагов никаких не предпринимают, целей изменить существующий порядок не ставят. Болтовня, не больше.

Николай неодобрительно покачал головой.

– Знаем мы, что порой выходит из пустой болтовни. Пресекать надо в корне. – Он помолчал, задумавшись. – Впрочем, разгонять их впрямую не надо. Просто разобщить: одного – в одну часть, другого – в другую. Кто ваш информатор?

– Граф Васильчиков Александр Илларионович.

– Надобно его поощрить негласно. А что там Лермонтов? Как себя ведет?

– Служит ревностно. Великий князь Михаил Павлович [43] , опекающий лейб-гвардию, отзывался о нем неплохо.

– Да, я слышал. Но к тому же слышал, что корнет читал у Карамзиных некую поэмку… в центре которой – гений зла. Как сие понять?

– Аллегории, больше ничего.

– Опять эти аллегории! Где нет четкости и ясности, там сидит дьявол – Господи, прости! – Император перекрестился. – Наблюдайте, наблюдайте, Александр Христофорович. Коли перейдут дозволенную черту, станем принимать меры.

– Неусыпно наблюдаем, ваше величество. Вся империя у нас под контролем.

Николай поднялся.

– Вашими бы устами да мед пить! – Он тяжело вздохнул. – Да, империя! Нет печальней участи быть хозяином такого пространства – от Восточной Пруссии в Европе до земель Калифорнийских в Америке. Четко управлять невозможно, везде воруют. Если не воруют, так вольничают. Матушка Россия словно необъезженная кобылка! И не слушается никак! – Он улыбнулся. – Ничего, объездим.

Бенкендорф кивнул.

– Непременно объездим, ваше величество.

9

...

*«Здравствуйте, Мишель.*

*Извините, что давно не писал, было много дел, ведь теперь у нас горячая пора и идут нешуточные бои. Вспоминаем о прошедшем годе как о*

*райской поре: развлечения, музыкальные вечера и спектакли давно забыты. Мы сейчас в составе войск под командованием генерала Вельяминова и стоим под Ольгинской. Наша цель – окончательно очистить от мятежников Черноморскую линию. И одновременно с нами действует генерал Граббе в Дагестане и Чечне по пошмке Шамиля. Заварушка крупная.*

*Но погоды стоят прекрасные, солнце – точно летом, спелый виноград, персики, мандарины. Ходим черные от загара, будто эфиопы, только зубы белые так и сверкают. В море же купаемся изредка, но когда случается – райское блаженство!*

*Я читал Вашего «Купца Калашникова» и буквально дрожал от восхищения. Боже, какой Вы молодец! Все на месте и все к месту, словно зарисовки с натуры, вместе с тем эпический стих, романтическая возвышенность – очень впечатляют. Поздравляю с удачей!*

*Сам почти не пишу – нет на это ни времени, ни желания. Иногда одна мысль в мозгу: поскорей бы убили! Но Господь для чего-то меня хранит.*

*Обнимаю, буду ждать ответного письмеца.*

*Очень расположенный к Вам*

*Александр Одоевский».*

* * *

…

*«Милый Мишико.*

*Ничего, что рискую так Вас называть? Я надеюсь, Вы не в претензии.*

*Наше все семейство кланяется Вам.*

*Наш рара́ часто вспоминает о Вашем пребывании на Кавказе, а когда прочитал «Купца Калашникова», был в таком восхищении, что неоднократно пил за Ваше здоровье. Наша тата́ по весне расхворалась, кашляла пресильно, мы в тревоге провели несколько недель, но теперь уже все в порядке и она здорова.*

*В декабре намечена свадьба нашей Като с князем Дадиани. Сразу сделалась такая значительная, умудренная, меньше стала смеяться и скакать, говорит – не тараторит, как раньше. Да, забавно: маленькая Катенька превращается во владетельную княгиню, ведь Мегрелия – это очень обширная область на западе Грузии, примыкающая к Черному морю (греки называли ее Колхидой, и сюда ходили аргонавты за золотым руном), а дворец Дадиани – в Зугдиди. Спрашиваю Катю: а не страшно повелевать народом? Дурочка хохочет: мол, чего бояться, и не боги горшки обжигают. Дай ей Бог, конечно, но боюсь чего-то, ведь народ в минуты безумия совершенно неуправляем, и ужасная смерть А. С. Грибоедова тому примером…*

*Всех нас опечалила смерть Григория Нечволодова. Умер в одночасье у себя в Дедоплис-Цкаро, там же упокоен. Славный подполковник, добрый человек. Генерал-губернатор назначил его*

*вдове пенсию, но, конечно, ей одной с двумя маленькими девочками будет трудновато. Постараемся помогать ей, чем сможем.*

*Жду от Вас письма. Расскажите подробно о своей жизни. Не женились ли? Этот вопрос до сих пор волнует в Тифлисе кое-кого. Эта кое-кто до сих пор не замужем…*

*Будьте счастливы.*
*Любящая Вас как сестра*
*Нина Грибоедова».*

10

Мусина-Пушкина пропустила две репетиции, и участники спектакля уже стали подумывать, не пора ли искать ей замену, как она приехала и сказала, что лежала с головной болью, не могла подняться, но слова учила и теперь знает назубок. В доказательство спела куплеты Юлии:

*Любви туман и сумасбродство*
*Не посетят меня и вас!*
*Признавших красоты господство*
*Мильон страдают и без нас.*

При этом она почему-то смотрела на Лермонтова. Михаил подумал, что в течение минувшей недели в женщине произошла какая-то внутренняя работа и Эмилия Карловна сделала для себя определенные выводы – судя по ее взглядам, не в его пользу. Сердце сразу заныло: ах, опять разочарование!

Все происходившее в дальнейшем только подтвердило его догадки: в перерыве репетиции Милли села за столом, чтобы выпить чаю, вдалеке от корнета и демонстративно общалась только с Софьей Николаевной, Лизой и Додо. А когда Михаил попытался проводить ее от крыльца к коляске, попросила этого не делать. Он воскликнул:

– Боже мой, я не понимаю, что случилось! Отчего вы переменились ко мне?

Избегая встретиться с ним взглядом, она холодно ответила:

– Оттого, что так надобно. Вы прекрасно понимаете, почему.

Лермонтов схватил ее за руку.

– Я люблю вас, Милли. Больше всех на свете!

Мусина-Пушкина вырвала руку, выпалила: «Именно поэтому!» – и задохнувшись, побежала к своей коляске.

Он смотрел ей вслед: хрупкая фигурка в светло-синем наряде

растворялась в фиолетовых сумерках. Так и счастье его растворяется каждый раз, не давая возможности насладиться им. Отчего судьба столь жестока и несправедлива к нему? Или Серж Трубецкой действительно прав: коли есть один Божий дар – талант, наглость требовать других жизненных даров?

Сразу расхотелось ездить к Карамзиным, репетировать и участвовать в спектакле. Он поделился своей печалью с Монго. Тот сказал:

– Что тут сомневаться? Нет желания – не участвуй.

– Неудобно: я же обещал, на меня рассчитывают, надеются.

– Заболей. Сделай вид, будто заболел.

– Выйдет неубедительно. Нет, нехорошо.

– Подверни ногу. Сядь на гауптвахту.

Михаил оживился.

– Сесть на гауптвахту? Но каким образом?

Друг пожал плечами.

– Не знаю. Завтра, во время смотра, который приедет проводить великий князь Михаил Павлович, чем-нибудь разгневай его. Но несильно, чтобы дал не более недели ареста. Аккурат на время спектакля.

Лермонтов задумался.

– Непорядок во внешнем виде? Михаил Павлович придирается к любой мелочи. В этом он пошел в своего отца – императора Павла Петровича, тот за кривую пуговицу мог в Сибирь сослать.

– Может быть, подстричь эполеты?

– Фи-и, нехорошо, и заметят сразу, не допустят к смотру. Надо что-то такое, чтобы не успели предупредить.

– Заменить саблю?

– Это как?

– Перед самым объездом великим князем строя войск перевесить форменную саблю на неформенную, не по уставу.

– На какую?

– Детскую. Копию взрослой, но короче. И деревянную.

Монго рассмеялся:

– Да, забавно. Но за этакую вольность можно не только на «губу» загреметь, но и звания лишиться.

– Нет, не думаю. Михаил Павлович хоть и суровый командир, но отходчивый. Да и сам пошутить любит.

– Шутка шутке рознь… Больно риск велик. Но арест будет обеспечен, и в спектакле участвовать не будешь наверняка.

– Я еще подумаю.

Чем больше он думал, тем эта затея представлялась ему интереснее и забавнее. В водевиле он играл только ради Милли.

А коль скоро она его отвергает, фиглярствовать не хочется.

У хозяйки дома (у нее было трое сыновей – десяти, восьми и шести лет от роду) корнет выпросил игрушечную саблю в ножнах. Завернул ее в холст, чтобы пронести в часть. Предвкушая потеху, веселился и потирал руки…

Михаил Павлович действительно был человеком добрым. Младший внук Екатерины Великой, он воспитывался во всеобщей любви, рос баловником и проказником. Разница между старшим братом – императором Александром I – и ним составляла 21 год, и в войне с Наполеоном Михаил не участвовал по малолетству. Но к моменту воцарения другого брата – Николая I – был уже генерал-инспектором инженерной части.

Сын своего отца, он ценил не столько боевые качества армии, сколько марши, смотры и парады. Объезжал войска регулярно. В Царском Селе он появился по заранее согласованному графику – в воскресенье, 27 сентября 1838 года. Лейб-гвардии Гусарский полк выстроился вначале во фрунт, и кавалеристы сидели на лошадях навытяжку, громогласно приветствуя великого князя. В черном мундире Отдельного гвардейского корпуса, он смотрел на них, чуть насупив брови, как будто что-то бормоча в пегие усы, сросшиеся с бакенбардами. После объезда строя присоединился к свите, которая стояла сбоку на плацу, чтобы посмотреть проезд войска. Грянул оркестр, и гусары, перестроившись в каре, стали молодцевато скакать мимо августейшей особы. Все прошло вроде бы неплохо, но великий князь обратился к командиру полка – генерал-майору Михаилу Григорьевичу Хомутову [44] – в крайнем раздражении:

– Милостивый государь, соблаговолите позвать корнета Лермонтова.

– Слушаюсь, ваше императорское высочество.

Адъютант исполнил приказ и доставил шалопая.

Повернувшись к нему лицом, Михаил Павлович поднял указательный палец в белой перчатке.

– Как сие понять, сударь?

Щелкнув каблуками сапог со шпорами, Лермонтов ответил:

– Не могу знать!

– Как – не можете знать? Что это за сабля на вас?

Все уставились на оружие провинившегося. Кое-кто не особенно сдержанный даже прыснул беззаботным смешком.

Князь побагровел.

– Не хихикать! Молчать! – И опять повернулся к Лермонтову. – Жду ваших разъяснений.

– Виноват, ваше императорское высочество. По ошибке нацепил не ту саблю.

– Как это – не ту?

– Сына моей квартирной хозяйки.

Снова послышались смешки за спиной Михаила Павловича.

– Я велел молчать! – проревел он. – Генерал-майор Хомутов, что у вас творится? То, что корнет ночует у своей квартирной хозяйки, – полбеды, но вот то, что он цепляет детскую саблю, – бог знает что такое!

Все подавленно молчали. Попыхтев в усы, великий князь заключил:

– Объявляю вам, Михаил Григорьевич, строгое предупреждение. От кого-кого, но уж от вас, батенька, я не ожидал… А корнету Лермонтову – девять суток ареста. И потом – месяц без увольнительных. – Он осуждающе покачал головой. – Ишь, разбаловались! Скоро из игрушечных пистолетов стрелять начнут. – Затем отдал честь, но руки никому не подал и убыл в расстроенных чувствах.

Хомутов, коренастый здоровяк, из донских казаков, ревностный служака, но имевший своих любимчиков, Лермонтова в их числе, только многозначительно крякнул.

– Да-с, господин корнет, подвели вы меня под монастырь. Я, конечно, сам люблю пошутить, но для шалостей выбираю время и место. Вы исправно служите, нареканий не имеете, печатаете стихи в столичных журналах – очень недурные стихи: я люблю «Бородино» и «Кавказского пленника». Но такое ребячество ныне – просто ни с чем не сообразно! Ладно бы обычный проезд – но на смотре его императорского высочества?! Объяснитесь, сударь.

Михаил стоял с видом победителя, словно ни капли не огорченный всем случившимся. Весело сказал:

– Бес попутал, господин генерал-майор.

– Так я и поверил. Зная вас и вашу натуру не один день, смею утверждать, что проделали вы сие нарочно. Только для чего?

– По рассеянности, по глупости.

– Не хотите говорить, значит. Дело ваше. Но за непослушание день на гауптвахте вам накину: станете сидеть десять.

– Слушаюсь, ваше превосходительство! Саблю игрушечную сдавать?

Окружающие грохнули от смеха. Хомутов только вздохнул.

– Скройтесь с глаз моих, карбонарий!

Так Лермонтов увильнул от участия в спектакле. Сидя на «губе», время попусту не терял – начал сочинять поэму из кавказской жизни, про свободолюбивого юношу-монаха – ту, что впоследствии назовет «Мцыри».

Семейство Карамзиных было огорошено вестью о его гауптвахте. Срочно пришлось по-иному распределять роли –

вместо Михаила был введен Андрей Николаевич. Эмилия Карловна, узнав о случившемся, вначале побледнела, а потом все время оставалась в задумчивости, путая куплеты. Понимала ли она, что влюбилась? Вероятно, да: женщины всегда это чувствуют очень остро.

# Глава вторая

1

Цесаревич Александр – будущий император Александр II – возвратился из поездки по странам Европы в марте 1839 года. В ходе путешествия он посетил, в числе прочих, герцогов Гессенских. Людвиг II жил в Дармштадте и встретил великого князя без особых чувств, сухо, протокольно. Его жена Вильгельмина проживала отдельно – в Хайлинберге – со своим любовником, камергером бароном Августом фон Сенаркленом де Грасси, – встретила русского гостя с родственной теплотой. Дело в том, что они действительно были близкими родственниками: Александр доводился ей двоюродным племянником.

От любовника Вильгельмина имела четверых детей. Неохотно, под давлением монарших особ Европы, Людвиг II согласился их усыновить и тем самым узаконил.

В Хайлинберге Александр познакомился со своей троюродной кузиной – официально принцессой Гессенской – Марией Максимилианой Вильгельминой Августой: ей в ту пору шел 15-й год. Она ему чрезвычайно понравилась. Он даже вначале думал сделать ей предложение, но потом побоялся гнева отца: вдруг тому не понравится, что девушка фактически не от герцога? Все-таки речь идет о грядущих наследниках русского престола. Хорошо ли, что в них потечет часть не голубой крови?

В Петербурге стояла обычная весенняя слякоть. Брат с сестрой – Александр Николаевич и Мария Николаевна – вышли прогуляться в Летний сад в калошах и под зонтом. Шли под руку, оживленно болтая. Он рассказывал о своих любовных интрижках в Вене и Париже. А она сообщила, что к ней посватался герцог Максимилиан Лейхтенбергский – младший сын Евгения Богарне, то есть внук императрицы Жозефины, первой жены Наполеона. Вначале Николай I выступил против этого брака, не желая хотя бы косвенно породниться с семьей Бонапарта, но потом поставил условие: он даст свое согласие, если герцог примет православие и подданство Российской империи и пойдет служить под ее знамена. Герцог согласился. Бракосочетание состоится в июле в Зимнем дворце.

– А тебе действительно приглянулась эта крошка из Гессена? – с интересом посмотрела на брата великая княжна.

– О, не то слово! Никогда не видел столь приятного женственного профиля и милых глаз и застенчивой улыбки. Говорит свободно на пяти языках. И поет прелестно.

– Что сказал папá?

– Сразу – ничего, паузу держал двое суток, а потом разрешил. Но велел дождаться ее совершеннолетия – стало быть, поженимся года через два.

– Поздравляю. Рада за тебя.

Постепенно перешли на светские сплетни, обсудили размолвку Мусиных-Пушкиных, вспомнили Аврору Демидову: та, по слухам, ждет ребенка, а ее супруг продолжает сильно хворать и все время лечится на курортах в Германии.

– Ну а что в литературе?

– Сенсация этого сезона – повесть корнета Лермонтова «Бэла» из кавказской жизни. Все читают взахлеб. А корнет сделался героем светских салонов. Я сама в него чуть-чуть влюблена.

– Неужели? Серьезно?

– Нет, конечно. Так, мимолетное увлечение. Он очень забавный: кривоногий, широкоплечий, большеголовый коротышка. Но глаза, глаза! Просто омут какой-то. И насмешливая речь – часто шутит едко и удачно.

– Хорошо, что мы спасли его от Кавказа.

– Да, хорошо. Но папа́ очень недоволен.

– Продолжает злиться за стихи о Пушкине?

– Не знаю. Он не говорит. Но когда слышит упоминание о Лермонтове, просто каменеет. А прочитав «Бэлу», даже сквернословил.

– Быть того не может.

– Уверяю тебя. Говорил, что Лермонтов – мерзавец, коли пишет такие вещи – не во славу русского оружия, а живописуя русских офицеров как развратников, интриганов и тупиц.

– Бог ты мой! Раз отец этакого мнения о «Бэле», значит, она в самом деле занятна.

Оба рассмеялись. Мария вздохнула.

– Все равно я папа́ люблю. Даже при всех странностях его натуры.

– Я тоже люблю. Хоть и не всегда разделяю его взгляды на Россию и способы управления ею. Знаешь, из Европы наше Отечество видится по-другому. Там иначе люди живут. В девятнадцатом веке. Мы же все никак не покончим с восемнадцатым.

– Мой Максимилиан того же мнения. Я надеюсь, он поддержит все твои будущие перемены.

Александр кисло улыбнулся.

– О, когда это будет! Да и будет ли вообще?

– Я молюсь о тебе и о твоей блестящей судьбе.

– Очень рад, что ты меня понимаешь, – и по-детски звонко поцеловал ее в розовую щечку.

2

За прошедшие полгода отношения Лермонтова с Мусиной-Пушкиной никак не развивались: оба с тех пор ни разу не виделись. Выйдя с гауптвахты, он узнал, что она с детьми сразу после представлений у Карамзиных возвратилась в столицу. В октябре же произошли следующие события: Алексей Григорьевич Столыпин съехал с квартиры, получив приказ о своем назначении адъютантом герцога Лейхтенбергского (жениха Марии Николаевны); Святослав Раевский был прощен, и ему позволили вернуться в Петербург.

Михаил продолжал работать над этюдами о Печорине.

В ноябре 1838 года он присутствовал на свадьбе своей давней пассии Екатерины Сушковой. Они были знакомы с ней много лет. Мише исполнилось тринадцать, а красивой московской барышне – пятнадцать, он влюбился, а она лишь посмеивалась над нескладным, большеголовым, постоянно краснеющим мальчиком. Вскоре Катя с семьей уехала в Петербург, а Миша остался учиться в Первопрестольной. Встретились они уже позже, в северной столице, после окончания им Школы гвардейских прапорщиков. В 1836 году Лермонтов шутки ради взялся расстроить намечавшийся брак Сушковой и его друга детства Алексея Лопухина, посчитав, что приятель достоин лучшей участи. Начал за ней ухаживать, посвящать стихи, объясняться в серьезных чувствах. Девушка растаяла, потеряла голову и ждала предложения руки и сердца. Тут как раз приехал из Москвы Лопухин, получил афронт и, рассерженный, укатил восвояси. А Михаил, добившись своего, сразу прекратил игры, перестал увиваться за Катериной и фактически опозорил ее перед светом. В общем, отомстил за давнишнее невнимание к нему, мальчику. Это было очень жестоко. Лермонтов нередко бывал с друзьями жесток. Недаром великий князь Михаил Павлович, прочитав список «Демона» (отклоненного от печати цензурой), сказал так (хоть и в шутку, но во многом справедливо): «Я не понял, кто кого создал – Лермонтов Демона или Демон Лермонтова?»

Страсти улеглись. Оказавшийся в 1837 году в опале поэт побывал на Кавказе, а потом служил под Великим Новгородом и в Царском Селе. К Сушковой за это время посватался камер-юнкер Хвостов, троюродный брат Лермонтова, восходящая звезда русской дипломатии. И Екатерина приняла его предложение.

Венчание состоялось в Петербурге, в церкви Святого Симеона. Михаил не мог не присутствовать: во-первых, брат, хоть и троюродный, во-вторых, в роли посаженой матери жениха выступала бабушка поэта – Елизавета Алексеевна, в-третьих, был прекрасный повод лишний раз уколоть Сушкову…

Он стоял под сводами храма рядом со своим другом – Акимом Шан-Гиреем – и вполголоса комментировал происходящее. «Тише, тише, – говорил друг, – мы же в церкви, неудобно». Лермонтов умолкал, но мгновение спустя принимался снова ехидничать. А потом вдруг схватил Шан-Гирея за рукав и, со словами: «Мы должны успеть!» – потащил на улицу. «Да куда успеть?» – упирался Аким. – «Скоро поймешь!»

В экипаже доехали до дома Хвостова, где уже накрывались свадебные столы. Лермонтов с Акимом оказался впереди гостей и молодоженов. Он взбежал по ступеням, бросился к столам и, найдя солонку, с торжествующим видом рассыпал соль по всей скатерти. «Что ты делаешь?» – изумился приятель. Михаил от души потешался: «Рассыпанная соль – к размолвкам. Пусть же ей не сладко будет с ним, а солоно!» Шан-Гирей осуждающе произнес: – «Господи, ты себя ведешь, как тринадцатилетний мальчишка!» Лермонтов поник, и глаза его стали злыми: «Ненавижу женщин. Вероломные твари» – и сидел потом весь вечер нахохленный.

Новый 1839 год не принес ничего существенно нового: необременительные дежурства в Царском Селе, редкие пирушки с участием Монго, частые поездки в Петербург, танцы на балах, мимолетный флирт со светскими дамами. В перерывах меж всей этой кутерьмы – сочинительство: проза и стихи.

С Мусиной-Пушкиной он увиделся в первый раз после долгой разлуки в середине марта в доме Карамзиных. Говорили о Гоголе, год назад уехавшем в Италию и работавшем там над какой-то юмористической поэмой из жизни провинциальных помещиков. Софья Николаевна уверяла, что сюжет Николаю Васильевичу подарил Пушкин – так же, как сюжет «Ревизора».

– Ну, не знаю, какой из Гоголя поэт, – заметил Лермонтов. – Проза его прекрасна, более всего я ценю «Шинель» и «Записки сумасшедшего». Но поэма? Совершенно не представляю.

В этот момент открылась дверь, и вошла Эмилия Карловна. В темном закрытом платье, в скромной шапочке с небольшим бриллиантиком, выглядела она немного усталой, с синеватыми тенями под глазами. Но улыбка была по-прежнему хороша – ясная, приветливая.

– Милли, наконец-то! – радостно воскликнула Софья Николаевна, устремляясь к подруге. – Мы думали, ты опять не приедешь.

– Я и не хотела, честно говоря. Настроение, знаешь ли, какое-то скверное. Только дети и радуют. Думала и этот вечер провести вместе с ними. Но потом вдруг решилась. По тебе соскучилась, по всем друзьям.

– Вот и молодец, что решилась. Дети, конечно, занимают первое место, но, с другой стороны, закисать дома, в четырех стенах, тоже не годится. Проходи, садись.

Мусина-Пушкина не спеша поздоровалась со всеми. Лермонтов приблизился, поклонился, поцеловал руку.

– Счастлив видеть вас, Эмилия Карловна. Вы стали еще прекраснее.

– В самом деле? Шутите, как всегда?

– Нет, нимало. В вас появился какой-то новый лиризм.

– Да? Не замечала. Все равно спасибо.

Чтобы не привлекать внимание окружающих, Михаил отошел и устроился в кресле в противоположном углу салона. В этот вечер новые стихи читали Додо Ростопчина и Петр Вяземский, пела романсы Лиза Карамзина, поэт преувеличенно громко ей аплодировал. Лишь когда гости начали разъезжаться, он вроде невзначай оказался возле Мусиной-Пушкиной. Спросил:

– Послезавтра вечер у Валуевых. Вы приедете?

Петр Валуев был в составе «кружка шестнадцати» и служил по дипломатической части. Начинал карьеру при известном реформаторе Михаиле Сперанском и проникся его идеями. Сочинял стихи и прозу. Обожал жену – дочь Вяземского.

– Я не собиралась. Но теперь подумаю. Хочется увидеться с Машенькой, мы давно с ней не болтали.

– Вот и приезжайте.

– Постараюсь.

– У меня новая повесть только что вышла в «Отечественных записках». Был бы рад поднести вам с надписью.

– Это для меня большая честь.

– Значит, я могу питать надежду?

Эмилия Карловна посмотрела кокетливо.

– Как известно, надежда умирает последней.

Они раскланялись.

Лермонтов, глядя ей вслед, подумал: – Боже, что за женщина! Я схожу с ума. Отчего она не моя? Чувствовал, что готов расплакаться, как ребенок.

3

Утром доложили: пришли супруги Федотовы, просят принять. Михаил удивился: «Я таких не знаю», но велел впустить. Вышел в домашней курточке и сорочке апаш. Посмотрел и воскликнул:

– Константин Петрович, вы ли это?! Вот не ожидал! – и раскрыл объятия.

– Я, а кто же? – улыбался в седые пышные усы бывший фронтовой друг, обнимая поэта. – Представьте себе, женился и в отставку вышел. Следую с супругой в мое имение, по дороге

заехали в Петербург, чтоб увидеться с вами.

– Я очень рад.

Дама подняла вуаль на шляпке и сразила Лермонтова наповал: это была Катя Нечволодова, красавица-черкешенка, его мимолетная связь.

– Господи Иисусе! Это утро сюрпризов, ей-богу.

Женщина смотрела, как ему показалось, с увлажнившимися глазами. Черными, бездонными. Словно у колдуньи.

Федотов стал объяснять:

– Как похоронили мы нашего Григория Ивановича, так и порешили в полку не оставить без внимания и заботы скорбную вдову с малыми девчушками. Приезжали в гости, привозили подарки. Тут мне и подумалось: отчего не уйти в отставку и не сделать ей предложение? И чем больше размышлял я на эту тему, тем сия перспектива больше мне нравилась. Наконец отважился – перед Рождеством попросил Катерину Григорьевну, чтоб составила мое счастье. А она в ответ: мол, не возражаю, только надобно выдержать год траур. Это обязательно – как иначе, мы же православные. Соблюли приличия. А как год закончился – тут и обвенчались. И хотим пока пожить в моем имении. Дом, что в Царских Колодцах, не продавали, а замкнули просто, завязали в узлы пожитки – и давай на север!

– Что же мы стоим? Проходите, располагайтесь. Я велю самовар поставить. Андрей Иваныч, окажи милость, приготовь чаю. – И уже гостям: – Где вы остановились?

Константин Петрович ответил:

– У моей сестрицы. То есть сама-то сестра в деревне, а в ее квартире проживают мои племянники, проходящие курс в университете. Девочек мы оставили с нянькой – и немедля к вам. Не сердитесь, что не известили запиской. Побоялись не застать дома. Завтра поутру отбываем в Новгород.

– Отчего так скоро?

– Кроме вас, в Петербурге дел более не имеем. – Федотов чуть замялся. – Свидеться хотели и забрать бумагу, ныне бесполезную.

Михаил удивился.

– Что за бумагу?

– Завещание мое, коли помните.

– Ах, ну да, ну да, безусловно, помню. Я сейчас найду.

– Да не к спеху, Михаил Юрьевич, мы ведь сразу не уйдем. Лучше расскажите о своей жизни. Слышали, что делаете успехи на литературном поприще. Бесконечно рады за вас.

Отставной подполковник слегка постарел и уже не казался таким суровым, как раньше; говоря об убитых на Кавказе товарищах, смахивал слезы. Катя выглядела веселой, щебетала

непринужденно, с неизменной доверчивой улыбкой. «Да, она хороша, – думал Лермонтов, глядя на нее, – будоражит кровь. Хочется целовать и носить на руках. Катя – омут, бездна, пропасть, горная река. А Эмилия – сладкий лесной родник. Сказочная живая вода».

– Помните полковника Вревского из Агдама? – спросил Федотов. – Так его убили. И не горцы, заметьте, а наши. Видимо, довел всех своими зверствами. Получил пулю в спину при атаке неприятеля. Учинили следствие, но, конечно же, убийцу не обнаружили. Все молчали, как рыбы. Поделом поганцу. Впредь наука тем, кто горазд на подлости.

– А здоров ли доктор Фокс? – осведомился поэт.

– Чего не знаю, того не знаю. Больше не довелось увидеться. А молва мне не доносила.

Просидели гости часа четыре. Михаил, порывшись в своих бумагах, нашел завещание и отдал его Константину Петровичу со словами:

– Рад, что не пришлось пустить в дело.

– А уж я как рад! – улыбнулся тот.

На прощанье трижды поцеловались. Михаил приложился к ручке молодой мадам Федотовой. Она сказала:

– Я горжусь тем, что знакома с вами.

– Рад, что вы нашли свое счастье с Константином Петровичем. Я его очень уважаю.

Они пристально взглянули в глаза друг другу, силясь прочитать то, что не было сказано. Затем Катя опустила вуаль на шляпке. Вроде как занавес в театре: представление окончено, и пора по домам.

Лермонтов смотрел, как Андрей Иванович закрывает за гостями двери. Вздохнул, повернулся на каблуках. Бросил через плечо:

– Сделай одолжение, братец, вычисти мундир. Мне к семи к Валуевым.

4

Молодая чета Валуевых обитала по адресу: Петербург, Большая Морская, 27, доходный дом Лауферта. Раньше с ними жил и отец Маши – Петр Вяземский, но потом переехал на Литейный, 8, уступив все апартаменты дочери и зятю. Здание было в стиле барокко, с вычурным орнаментом поверх окон и декоративными полуколоннами, обрамлявшими невысокий балкон с ажурной решеткой.

В этот вечер из числа «шестнадцати» присутствовали четверо – сам Валуев, Серж Трубецкой, Лермонтов и Монго. А из дам с опозданием приехала только Додо Ростопчина. Михаил был

рассеян, задумчиво пил шампанское. Обсуждали ситуацию на Кавказе и на Балканах, спорили о возможности большой войны с Турцией. Наконец бросили политику и стали слушать Ростопчину – та читала очерк о светских нравах, тонко полемизируя с повестью Соллогуба «Большой свет». Узнаваемые пассажи вызывали смех.

– Господа, правду ли болтают, что у Соллогуба особые отношения с великой княжной Марией Николаевной? – спросил Трубецкой.

– Ах, оставьте, Серж, что за глупости? – сказала мадам Валуева. – Володя ухаживает за Сонечкой Виельгорской и намерен жениться.

– Разве одно другому помеха? – отозвался Монго.

– Нет, Мария Николаевна не такая.

– Ах, ах, ах, «голубая кровь»! Это не мешает ее папаше соблазнять всех фрейлин императрицы.

– Серж, у вас личная обида на августейших особ.

– Может быть.

– Ваша Мусина-Пушкина пишет вам из-за границы?

При упоминании имени Мусиной-Пушкиной (номинальной супруги Трубецкого, навсегда уехавшей с дочкой за рубеж) Лермонтов почувствовал, как сжимается его сердце.

– Нет, с какой стати? Мы давно не общаемся. Я женился на ней по известным вам причинам, но реальным супругом никогда не был.

– Ну и зря, – вновь заговорил Монго. – Женщина красивая и незлая. Да, была фавориткой императора – и что с того? Дело прошлое. Женятся же на вдовах с детьми.

Трубецкой кивнул.

– Ты, конечно, прав, и с холодной головой я бы так и сделал. Но тогда все во мне кипело и протестовало. А теперь уж поздно.

– Отчего же поздно? Напиши ей письмо, поезжай, в конце концов.

– Нет, я слышал, у нее там теперь любовник.

– А, тогда понятно… Упустил ты свое счастье, бедолага.

В разговор вступила Маша Валуева.

– Отчего, вы, Мишель, за целый вечер не проронили ни слова? Уж не захворали ли?

Лермонтов поморщился.

– Да, отчасти: зуб болит.

– Ах, бедняжка! – с деланной заботой произнес Монго. – А не оттого ли зубик расшалился, что на вечер не приехала некая особа на букву М?

Все оживились. Михаил покраснел.

– Ты болтун, Столыпин, и тебе пора отрезать язык.

– Хорошо, что не голову.

Евдокия Ростопчина удивилась.

– Вы по-прежнему в нее влюблены?

– Да в кого же? – не вытерпел Валуев.

– Как, ты не знаешь? – повернулась к нему жена. – Мишель без ума от Милли.

– Что, действительно?

– Брось, не слушай этих зубоскалов, – огрызнулся поэт. – С Мусиной-Пушкиной мы друзья, не более.

– Только отчего-то ты всегда становился взволнован при ее появлении, – не сдавался Монго.

– Ты заметил? – улыбнулась Ростопчина.

– Это все заметили.

– Боже мой, что за люди! – Лермонтов демонстративно схватился за голову. – Сплетники, завистники. Стоит человеку пококетничать с дамой, сразу за его спиной: шу-шу-шу, он в нее влюблен!

– Значит, не влюблен? – осведомился Валуев.

– Совершенно. Я страдаю от неразделенной любви к мадам Хвостовой, кузине Додо.

(Евдокия Ростопчина, до замужества Сушкова, приходилась двоюродной сестрой Катерине Сушковой, вышедшей за Хвостова).

– Это он нарочно, – заметил Монго. – Для отвода глаз. А на самом деле никаких чувств к Кити давно не питает.

– Ты почем знаешь?

– Я тебя, племянничек, как облупленного знаю.

Неожиданно лакей доложил:

– Ее сиятельство графиня Мусина-Пушкина.

Трубецкой даже хлопнул в ладоши.

– На ловца и зверь бежит!

Лермонтов фыркнул.

– Я с тобой посчитаюсь, Серж, и за «ловца», и за «зверя»!

– Ой, ой, ой. А отчего мы вспыхнули, мсье любострастник?

В залу вошла Эмилия Карловна, раскрасневшаяся от вечернего холодка.

– Извините, господа, за мое столь позднее появление, но никак не могла раньше вырваться. Саша, младшенький, раскапризничался, не хотел идти с нянькой в спальню.

– Мы уже не надеялись, – пошла ей навстречу Маша. – Чай будешь?

– Да, пожалуй. В дороге слегка подмерзла.

– Весна нынче прохладная.

– В Петербурге всегда прохладные весны.

Граф Валуев поинтересовался:

– Как здоровье супруга, Владимира Алексеевича?

– Слава богу, пишет, что неплохо.

– »Пишет»? Разве он в отъезде?

– Он теперь в Москве. Чтобы продать или заложить одно из имений.

– Все-таки решили продать?

Милли потупилась.

– Некуда деваться. Страсть Владимира Алексеевича к игре дорого обходится нашему семейству.

Трубецкой заметил:

– Но порой он бывает в прибытке, как я слышал. Говорили, месяца два назад выиграл у Потоцкого более ста тысяч.

– А спустя неделю все проиграл да еще и должен остался.

Маша Валуева перекрестилась.

– Вот несчастье, Господи, прости.

Милли улыбнулась.

– Ах, не нужно за нас переживать. Мы с Владимиром Алексеевичем серьезно поговорили накануне его отъезда в Москву. Он поклялся больше не садиться за ломберный стол.

– Дай-то Бог, – вновь перекрестилась хозяйка.

Разговор пошел на отвлеченные темы, затем Лермонтова попросили что-нибудь почитать. Он вначале отнекивался, но потом, хитро посмотрев на Мусину-Пушкину, сказал:

– Разве что вот это.

*Графиня Эмилия —*
*Белее, чем лилия,*
*Стройней ее талии*
*На свете не встретится.*
*И небо Италии*
*В глазах ее светится.*
*Но сердце Эмилии*
*Подобно Бастилии.*

Гости засмеялись, стали громко выражать свое восхищение. Эмилия Карловна, пунцовая и смущенная, бормотала оправдания, вроде: «Я не понимаю, чем вызвано…», «Не давала повода…», «Мсье Лермонтов шутит…»

– Ясное дело, шучу, – проговорил поэт.

– Э-э, позволь тебя уличить в лицемерии, – возразил Монго. – Тон стихотворения хоть и веселый, но по сути все верно. Наша графиня действительно прелестнее лилии, обладает удивительно тонкой талией и в глазах ее итальянский блеск, несмотря на шведские корни. Про Бастилию – тоже правда: сердце

принадлежит только мужу.

– Ты уверен? – усмехнулась Ростопчина.

– Был уверен до настоящего времени. Неужели ты знаешь, Додо, то, что неведомо нам? И Бастилия пала?

Все опять засмеялись. Мусина-Пушкина сказала:

– Господа, я считаю сию полемику на мой счет неприличной.

– Извините, Милли, вы правы, – поклонился в ее сторону Столыпин. – Мы с Додо слегка увлеклись. Этот башибузук Маешка вечно выбивает солидных людей за рамки благопристойности.

– Прекрати, Монго, или мы поссоримся, – проворчал Лермонтов.

– Умолкаю, ибо наш гений страшен в гневе.

– Представляете, Эмилия Карловна, – продолжил ерничать поэт, – Монго и Додо утверждали до вашего приезда, будто я от вас без ума.

Мусина-Пушкина помолчала. Затем тихо спросила:

– Разве это не так?

Михаил растерялся от этого вопроса, но быстро нашелся:

– Так же, как и все: нет мужчины в свете, кто бы не увлекся вами.

– Но они не сочиняют обо мне столь очаровательные стихи.

– Вам понравилось?

– Безусловно. Кроме последних строчек.

– Что же в них дурного?

Графиня вздохнула.

– Участь любой Бастилии незавидна…

В воздухе повисла напряженная тишина. Произнесенный намек был весьма прозрачен.

– …посему такое сравнение неверно. Сердце мое – не Бастилия, а Тауэр: он не знал разрушений.

Михаил расхохотался.

– Нет, сравнение с Тауэром не подходит.

– Отчего же?

– Оттого что не в рифму.

Все рассмеялись вслед за ним, и Эмилия Карловна тоже. Покачав головой, она ничего больше не сказала.

Вскоре начали разъезжаться. Первыми ушли Монго и Трубецкой, чтобы успеть посетить знакомых артисток кордебалета после спектакля, за ними распрощалась Ростопчина, лукаво погрозив Лермонтову пальчиком. Затем поднялась и Мусина-Пушкина.

– Вам пора? – огорченно спросил Михаил.

– Да, уже двенадцатый час. И хозяева от гостей утомились.

– Милли, не спешите, – возразила Маша Валуева.

– Не могу, ибо неприлично замужней даме пропадать из дома надолго в отсутствие мужа.

– Разрешите вас сопроводить? – не сдавался поэт.

– Разрешаю – только вниз по лестнице до парадного.

– Ну а если до вашего парадного?

– Нет, ни в коем случае.

Он подставил согнутую в локте руку, и они вышли из дверей залы. Оказавшись наедине с Михаилом, Эмилия шепнула:

– Замечательные стихи… я не ожидала… И весьма тронута…

– Это был экспромт. В письменном виде их не существует.

– Нет, они уже существуют: я приеду и сразу запишу их себе в дневник.

– Вы ведете дневник?

– Да, веду, чтобы изливать душу самой себе. Больше некому, к сожалению…

– Ну а вдруг прочтут посторонние?

– Я надежно прячу. А в конце года, когда на улицах Петербурга начинают жечь рождественские костры, чтоб обогревать нищих и бездомных, бросаю очередную тетрадь в огонь.

– Неужели вы так одиноки?

– Невообразимо.

Лермонтов повернулся к ней лицом, и увидел, что Мусина-Пушкина плачет.

– Боже мой, дорогая Милли… – голос его предательски дрогнул. – Умоляю, не надо слез. Вы отныне не одиноки, поверьте. Потому что я с вами.

– О, Мишель… – простонала она. – К сожалению, вы со мной, а я с вами только мысленно.

Он покачал головой.

– Нет, моя любимая – лишь одно ваше слово, лишь одно ваше «да», и мы будем вместе и душой, и телом.

Наклонившись, Михаил коснулся губами ее мокрых губ. Эмилия ответила робко и нежно, чуть подняв подбородок. Затем прошептала:

– Дорогой, любимый… это невозможно.

– Отчего же?

– Я клялась перед Богом… в верности супругу.

– Бог есть любовь. Бог поймет и простит.

– Не могу… не знаю… – вырвавшись, графиня устремилась на улицу.

Лермонтов бросился следом, увидал, как она садится в свою коляску, поджидавшую ее у дверей; и только успел крикнуть на

холодном ветру:

– В воскресенье бал у графини Лаваль! Если вы придете, мы увидимся.

Кучер щелкнул кнутом, и коляска тронулась.

Он стоял на весенней улице, с неба сыпался дождь со снегом, и снежинки таяли на его горячем лице.

5

До последнего времени он старался жить отдельно от бабушки и снимал квартиру на набережной Фонтанки. Но весной 1839 года домовладелица подняла плату, и пришлось поселиться у Елизаветы Алексеевны на Сергиевской улице. Сразу возникла масса неудобств бытового и психологического свойства: бабушкин контроль, невозможность приходить-уходить когда вздумается, приводить девушек и прочее. Михаил, вкусивший вольной жизни, нервничал и злился.

Бабушке в ту пору было шестьдесят шесть лет. Грузная, высокая, вся в столыпинскую породу, она говорила низким голосом и любила командовать. В молодости ее звали гренадером в юбке.

Вдовствовала уже третий десяток лет.

Муж ее, Михаил Васильевич Арсеньев, закрутил роман с соседкой-помещицей, у которой супруг был в действующей армии. Страсти кипели нешуточные, и, когда благоверный соседки все-таки вернулся домой, Михаил Васильевич, полный отчаяния, принял яд. Похоронили его в семейном склепе в Тарханах.

Там же была упокоена и мать Михаила, Мария Арсеньева-Лермонтова, умершая вследствие скоротечной чахотки в 22 года. Сыну тогда исполнилось только три.

Бабушка, недолюбливавшая зятя, Юрия Петровича Лермонтова, как и большинство тещ на свете, выдвинула жесткое условие: если он отдаст ей ребенка на воспитание, то она сделает Мишеля единственным наследником всех своих богатств (а богатства оценивались в 300 тысяч рублей деньгами плюс недвижимость), разрешив отцу видеть сына после совершеннолетия последнего без ограничений. Бедный Юрий Петрович (и в прямом, и в переносном смысле) скрепя сердце согласился.

Умер отец, тоже от болезней, в 44 года.

Таким образом, Елизавета Алексеевна с детства управляла всей жизнью внука, в том числе финансами, скупо выделяя средства на его существование и учебу. Собственного жалованья в полку хватало только на еду, нижнее белье, мыло и одеколон.

Утро в воскресенье, 7 апреля, выдалось пригожее: голубое

небо, праздничное солнце, тающие сугробы, серые бурные ручьи. Михаил проснулся с ощущением скорых перемен в своей жизни. Ждал ближайшего повышения по службе – из корнетов в поручики, и гонораров за публикации прозы и стихов. Тогда он, возможно, снова снимет себе квартиру, а со временем, выйдя в отставку, полностью отдастся литературе. Станет издавать на паях с Краевским журнал. До намеченной им смерти в 33 года оставалось 8 лет. Можно было реализовать многое из задуманного.

К столу он вышел веселый, выбритый, надушенный. Бабушка уже сидела на своем излюбленном месте у окна, и ее фигура на контражуре выглядела черной квадратной глыбой. Со словами: «С добрым утром, ма гран-мама́» – поцеловал ее в щеку. От нее пахло пудрой, легкими духами и барсучьим жиром (мазала свои подагрические суставы). Сел напротив. Горничная налила кофе.

– Это правда, что толкуют про тебя в свете? – низким голосом спросила Елизавета Алексеевна.

Он удивился.

– Что именно?

– Будто ты волочишься за известной замужней дамой, пишешь ей стихи и кричишь на каждом углу, что она тебя тоже любит?

Лермонтов нахмурился.

– Это ложь. Я поэт и пишу стихи многим дамам. Ну а кто из них меня любит – мне дела нет.

– Ой ли, дорогой внучек? Ты, во-первых, никакой не поэт, а офицер и дворянин. И должен дорожить своей честью. Во-вторых, муж, приехав из Москвы и узнав про вас, может захотеть попросить удовлетворения.

Михаил усмехнулся.

– Не вопрос. Удовлетворю.

– Ты в своем уме? А убьют тебя – что мне прикажешь делать? Тоже от горя ложиться в могилу? А убьешь ты – и пойдешь под суд? Снова на Кавказ вышлют? Обо мне подумай, о моем здоровье.

– Бабушка, оставьте. Выдумали глупости и себя пугаете. Никакой дуэли не будет, ибо я не давал для нее повода. Я слегка влюблен, отрицать не стану, и она отвечает мне взаимными чувствами, но супружескому долгу верна и тверда в этом, как скала. Так что успокойтесь.

Елизавета Алексеевна молча допила кофе и, отставив чашку, сказала:

– Коль не будет дуэли, так случится иное что-то дурное: муж вернется, ты же примешь яд, как и твой ненормальный дед.

Лермонтовы, Арсеньевы – все мужчины беспутные и гнилые. Только род Столыпиных честь имеет.

Михаил с иронией отозвался:

– Да, конечно: Монго служит подтверждением этой мысли. Такой праведник, что клейма негде ставить.

Но Елизавету Алексеевну было не оспорить.

– Исключения подтверждают правило, а в семье, как известно, не без урода.

Внук рассмеялся.

– Ну, хотите, чтобы вас утешить, я женюсь на вдове Щербатовой? Дама весьма приятная и небедная. И ко мне расположена, между прочим.

Бабушка вздохнула.

– Нет, избави Бог. Потому как твоя женитьба будет мне ударом, а не утешением.

– Отчего же так, ма шер гран-мер [45] ?

– Оттого, что я люблю тебя сильно. Ты мой свет в окошке и единственная привязанность в жизни. И, лишившись тебя, я умру.

– Но женитьба – не смерть, смею уточнить. И женившись, я останусь верным и заботливым внуком.

– Не таким, как ныне. Делить тебя с иной женщиной не намерена. Обещай мне, Миша: до моей смерти ни на ком не жениться.

Он пожал плечами.

– Хорошо, извольте. Я и сам жениться пока что не собираюсь.

– И веди себя в свете осторожно.

– Я сама осмотрительность, бабушка. – Он встал, поцеловал ей руку и удалился.

Елизавета Алексеевна пробормотала ему вслед:

– Ах, болтун, болтун. Весь в отца и деда. Делают, а потом уж думают. Чем приносят страдания любящим их сердцам. – Она вытерла кружевным платочком увлажнившиеся глаза и велела горничной принести еще фуа-гра из гусиной печени.

Тем временем Михаил взял у Андрея Ивановича пришедшую почту, просмотрел и нашел долгожданную записку Святослава Раевского:

«Дорогой Мишель! Я в субботу вернулся в Петербург и хотел приехать сразу к тебе на Фонтанку, но узнал, что живешь ты теперь у бабушки, и остановился в доме у Краевского. Ждем тебя сегодня обедать. Обнимаю. Твой С.».

Лермонтов от радости сделал балетное антраша, чем весьма удивил слугу, а потом сказал:

– Славка Раевский прикатил. То-то наговоримся!

Он велел к часу дня привести в порядок партикулярное

платье: ехать к друзьям в мундире было неловко.

Дом на Невском проспекте, где снимал квартиру Краевский, выходил на Аничков мост: красного кирпичного цвета, четырехэтажный, с величавым порталом. Сам Андрей Александрович был под стать дому: основательный, солидный, он имел в собственности несколько газет и один журнал – «Отечественные записки». Собирался жениться, но пока вел холостую жизнь.

Михаил застал приятелей за столом, уставленном разными яствами, принесенными из соседнего ресторана, – от паштетов и устриц до розовобокого поросенка с хреном. Посреди возвышались три бутылки «Вдовы Клико». Святослав был высок и худ, за время ссылки не поправился и не отощал, выглядел свежо и приветливо. А Краевский словно говорил всем своим видом: «Это я поспособствовал тому, что его отпустили, связями и знакомствами, потому как я весьма влиятельный в обществе человек».

– Славка!

– Мишка!

И друзья крепко обнялись. Сразу выпили за радостную встречу: год назад, разъезжаясь – Лермонтов на Кавказ, а Раевский в Петрозаводск, – не могли надеяться, что увидятся вновь.

– Ты, Мишель, как будто бы возмужал.

– Да, кавказская школа. Ну а ты – словно побывал на курорте, в Баден-Бадене или Пятигорске.

– Что удивляться – замечательная природа, сосны, воздух чистый, каждое утро на завтрак только что выловленная рыба. Ягоды, грибы. Дикий мед. Действительно, словно на курорте.

Раевский рассказал, что скучать ему не пришлось: вместе с местными интеллектуалами организовал новую газету – «Олонецкие губернские ведомости», где активно печатался, даже выпускал специальное «Прибавление» с очерками об истории и культуре края. Собирал фольклор.

– Ну а ты, Мишель, я слышал, делаешь большие успехи в литературе! Жаль, что «Маскерад» не поставлен. Не пытался больше?

– Да какое там! – поморщился поэт. – На поправки, о которых толковала цензура, я пойти не могу. А без них – что соваться сызнова? У меня в голове новые проекты. Я закончил книгу о Печорине. Андрей Александрович прочитал уже три из четырех повестей. И весьма одобрил.

– Хорошо? – повернулся к издателю Раевский.

– «Хорошо» – не то слово, – отозвался владелец

«Отечественных записок». – Превосходно, просто превосходно! На российском небосклоне появилась новая звезда мастера поэзии и прозы.

Лермонтов усмехнулся.

– Перестань, а не то зазнаюсь.

– Не зазнаешься, к сожалению.

– Отчего «к сожалению»? – удивился Раевский.

– Оттого что весьма легкомыслен к собственному дару. Надо беречь себя, обходить опасности стороной, а не лезть на рожон – в драки, дуэли и сомнительные романчики.

Михаил обиделся.

– Что ты называешь «сомнительными романчиками»?

– Сам прекрасно знаешь.

– Я не знаю, – оживился Раевский. – Расскажи, расскажи.

У Краевского саркастически затопорщились усы.

– Что ж рассказывать, коли в свете только и разговоров, что о его страсти к замужней матроне.

– О, мон дье! А супруг?

– А супруг покуда в Москве, ничего не знает. Все предвкушают грандиозный скандал.

Лермонтов, отвалившись на спинку стула, возразил:

– Ты сгущаешь краски. Коль она решит быть со мною, то уйдет от мужа и не станет его обманывать. Ну а не решит – я ее оставлю. Объяснение будет нынче вечером на балу у графини Лаваль. – Он взял новую бутылку шампанского и стал откручивать проволоку на пробке. – Давайте выпьем, друзья. За любовь. За искренность чувств. И за нашу вечную дружбу.

– Гениальный тост!

6

Граф и графиня Лаваль жили на Английской набережной в собственном особняке, собирали живопись и скульптуру и часто устраивали литературный салон, на котором бывали Пушкин, Грибоедов, Вяземский. А по праздникам проводили благотворительные балы, средства от которых направлялись в богоугодные заведения. В это воскресенье отмечали именины дочери – Софьи – и собрали едва ли не весь столичный бомонд. Приглашенных было столько, что в центральной зале Лермонтов сразу затерялся в пестрой сумятице разноцветных фраков и вечерних платьев; все болтали, фланировали, обмахивались веерами, пили шампанское, слушали музыку, танцевали, играли в карты. Михаил попытался отыскать Эмилию Карловну, но не смог. Даже спросил у Додо Ростопчиной:

– Вы Милли не видели?

– Нет, не видела, – покачала та головой. – Но она хотела

приехать, я знаю. – Затем наклонилась и прошептала: – Кстати, вами интересовалась княгиня Щербатова. Говорила, что влюблена.

– А она может? – усмехнулся корнет. – Она влюблена только в себя.

– Вы несправедливы. Мэри – очень славная и не задавака.

– Может быть я не разглядел. Мне не до нее.

Но в отсутствие Мусиной-Пушкиной и от нечего делать он пригласил Щербатову танцевать. Та взволнованно замахала веером.

– Ах, ну где же вы раньше были, Михаил Юрьевич? Я уже обещала прочим кавалерам.

– И никак нельзя между ними втиснуться?

– Что вы, невозможно: и со мной поссорятся, и на вас обидятся, вплоть до поединка.

– Поединков я не боюсь, а вот вашей репутацией рисковать не имею права. Стало быть, до следующего бала, несравненная Мария Алексеевна.

– Буду ждать с нетерпением, Михаил Юрьевич.

Неожиданно гости расступились – в залу вошли сиятельные особы: цесаревич Александр Николаевич и его сестра, великая княжна Мария Николаевна. Дамы почтительно присели, а мужчины склонили головы. Все отметили великолепное платье дочери императора, самого модного покроя, видимо, недавно привезенное из Парижа. Это был один из последних балов Марии Николаевны в девичестве: вскоре должен был приехать ее жених для грядущего бракосочетания.

Словно чертик из табакерки, выскочил Владимир Соллогуб и увлек ее танцевать мазурку. А цесаревич пригласил виновницу торжества – Сонечку Лаваль.

Лермонтов сказал подвернувшемуся Краевскому:

– Мария Николаевна как две капли воды похожа на императора. Только без усов. Впрочем, те, кто ее вблизи видел, говорят, что усы тоже есть. – Он захохотал от своей реплики.

– Тише, тише, мон шер, – забеспокоился издатель. – Разве можно так громко…

– Брось, Андрей Александрович, что ты, право, учишь меня, как мальчика? Я сам знаю, что когда говорить пристало. И в моей шутке нет ничего обидного. Потому что усы у великой княжны едва заметные. Вот, к примеру, у графини Плюсси – усы погуще моих. Может встать в один ряд с гвардейцами и ничем от них не отличаться.

Гости, стоявшие рядом и слышавшие его слова, засмеялись. Поощренный корнет этим только раззадорился.

– Или, скажем, княжна Зарецкая. Говорят, она вообще бреется. И не только ноги и руки, но и щеки с подбородком. Говорят, что в детстве их перепутали с братом и того одевали как девочку, а ее – как мальчика. Так что нынче никто не поймет, кто из них кто, и вполне возможно, что княжна Зарецкая вовсе не княжна, а княжич.

Тут уже откровенно смеялись многие. Краевский безуспешно пытался вытащить друга из образовавшегося кружка.

– Вот, изволите видеть, современная русская цензура в действии, – упирался тот. – Затыкают рот, не дают сказать слова правды. Но ведь правда – она такая, ее не скроешь. Как усы графини Плюсси. Или кое-кого повыше…

В его адрес раздались аплодисменты. Раздраженный хозяин «Отечественных записок» наконец уволок друга из толпы. Зашипел:

– Ты в своем уме? Так себя вести в свете! Будто на офицерской пирушке!

Лермонтов усмехнулся.

– А, пустое. Болтовня и ничего более. У меня такое амплуа: маленький проказник светских салонов. Должен поддерживать свое реноме.

– Ты – великий русский литератор, и должен это помнить.

– Это скучно, приятель. Знать и помнить, что ты велик, что обязан быть образцом культуры и держать себя в рамках. Скучно и тоскливо! Я таков, каков есть. И такой, и сякой, и пятый-десятый немазаный. И любить меня надо именно таким. Или ненавидеть.

– Ненавидеть? – раздался голос за их спинами. – Я не ослышалась?

Друзья обернулись и увидели великую княжну Марию Николаевну. Она стояла вполоборота, – это подчеркивало ее талию, и слегка обмахивалась веером из страусиных перьев.

– Ненавидеть? – повторила она. – Но за что?

– Сударыня, мало ли за что ненавидят, – не смутившись, ответил поэт.

– Например, за реплику о моих усах?

Михаил поперхнулся.

– Вам уже доложили, ваше высочество?

– Мир не без добрых людей, мсье корнет. – Она сделала шаг вперед и наклонила голову, так как собеседник был намного ниже. – Посмотрите внимательно, голубчик: усы видите?

– Никак нет, ваше высочество.

– Оттого что их никогда и не было. Так что прикусите язык, милый литератор.

– Я готов его откусить вовсе, если пожелаете.

– Я не столь кровожадна, как вам представляется. Но прошу больше не прохаживаться без дела по моей внешности. А не то действительно рассержусь.

– Буду нем, как рыба.

– Это тоже лишнее. Ваш талант и ваши сочинения – русское достояние. И молчание было бы ошибкой. Радуйте нас литературой, а не плоскими шутками на балах.

– Слушаюсь и повинуюсь. – Он склонился в немного пафосном реверансе.

– Ну-ну, мсье Лермонтов, такая театральность вам не к лицу. Кстати, вы не пишете драм?

– Написал одну, но ее не пропустила цензура.

– Дайте почитать. Если мне понравится, может быть, придумаем, как с ней поступить.

– Был бы просто счастлив. Куда принести?

– Я пришлю нарочного курьера. Будьте наготове.

– Можете считать, что уже готов.

Оба дружелюбно раскланялись. Стоявший рядом Краевский развел руками.

– Ну, мон шер ами, поздравляю! Ты сегодня одержал, вероятно, главную победу в своей жизни. Получить покровительство великой княжны – дорого стоит!

– Будем надеяться, что так.

– Уж не проворонь, сделай милость.

– Постараюсь не проворонить. – Он потряс головой, словно стряхивая с себя наваждение. – Я даже взволнован. Право, не ожидал, что общение с августейшей девицей так на меня подействует. Надо выпить шампанского.

– Непременно надо.

Не успели они осушить бокалы, как Андрей Александрович толкнул поэта в бок.

– Вон твоя явилась.

– Где?

– Слева, у колонны, разговаривает с мсье Лавалем.

– Вижу, вижу.

На Эмилии Карловне был красивый модный шарф, свернутый на затылке в виде тюрбана, украшенный искусственными цветами, волосы уложены двумя кольцами по окружности ушей. Декольте неглубокое, но широкое, обрамленное кружевами «берте», на лебединой шее ожерелье. Узкую талию перетягивал поясок. Перчатки с кружевами доходили до середины предплечий.

У великой княжны были молодость и богатство. А у Мусиной-

Пушкиной, старше ее на 9 лет, зрелость и изящество.

Лермонтов собрался пригласить ее на танец, но великий князь Александр Николаевич оказался проворнее и увлек графиню в вихрь вальса. Они закружились со счастливыми лицами.

Михаил не хотел видеть их веселость. Он взял очередной бокал, сел на диванчик в углу рядом с Евдокией Ростопчиной. Та удивилась:

– Вы сегодня снискали успех у высокой особы. Почему же невеселы?

Лермонтов слегка поморщился.

– Кое-кто удостоился не меньшего внимания еще более высокой особы.

– Мишель, вы ревнуете? Не смешите меня.

– Он ее теперь соблазнит, и все будет кончено. Я пущу себе пулю в лоб. Или приму яд, как мой дед.

– Господи Иисусе!

– Нет, лучше отправлюсь на Кавказ и умру в схватке с горцами. А если не умру, то женюсь на Майко Орбелиани, что на самом деле равнозначно самоубийству.

Ростопчина прыснула.

– Слава богу, вы шутите, значит, не застрелитесь.

– Я и сам не знаю.

Он страдал и ныл пока длился вальс. Но когда увидел перед собой раскрасневшуюся и веселую Эмилию Карловну, сразу успокоился и вскочил.

– Добрый вечер, сударыня. Наконец-то вы в одиночестве. – Он поцеловал ей руку.

Додо сообщила:

– Он меня измучил своей ревностью, говорил, что с собой покончит, если ты не отойдешь от великого князя.

Мусина-Пушкина рассмеялась.

– Что такое, Мишель? Что за мысли о порядочной женщине?

– Виноват. Сглупил.

– Именно – сглупили. Сядем. У меня голова закружилась от Aufforderung zum Tanze [46] . Вы не угостите меня зельтерской?

– Буду счастлив. А вам, Додо?

– Да, пожалуйста.

Места на диванчике уже не осталось, и корнет принес для себя пуфик. Получилось, что устроился он едва ли не у ног у обеих дам. Но когда Евдокия ушла танцевать кадриль, сел рядом с возлюбленной.

– Боже мой, неужели мы наконец-то вдвоем?

Эмилия, обмахиваясь веером, нервно попросила:

– Говорите скорее, ибо на нас все смотрят.

Он вздохнул.

– Что говорить, коль вы сами знаете, как я вас люблю.

Улыбнувшись, графиня подтвердила:

– Да, я знаю… И, конечно, вы тоже догадались о моих чувствах к вам… Только это ровным счетом не значит ничего. Я верна мужу, и ничто меня не заставит ему изменять. Тем более что через две недели он вернется домой.

– Через две недели! – Лермонтов так сильно побледнел, что она испугалась.

– Вам нехорошо?

– Да, немного. Ничего, такое со мной бывает. Сейчас пройдет. Есть ли тут балкон? Я бы подышал свежим воздухом.

– Да, балкон есть. Я вам покажу.

У балконных дверей находился слуга и на просьбу разрешить выйти, с некоторым сомнением произнес:

– Но снаружи снег идет-с. Открывать не положено-с.

Михаил возмутился.

– Открывай, болван. Или я сам открою.

– Слушаюсь, извольте-с…

Холод и порыв ветра окончательно прояснили голову. Он, опершись о перила балкона, посмотрел вниз.

– Через две недели муж вернется… я пропал… жизни мне не будет…

Внезапно клацнул шпингалет. Обернувшись, Лермонтов увидел, что Эмилия Карловна тоже вышла на балкон.

– Уходите, а то простудитесь! – испугался он.

– Вам уже лучше?

– Да, как будто. – Михаил решительно обнял ее и отчаянно поцеловал в губы.

Милли прошептала, оседая в его руках:

– Я тебя люблю, Миша… так люблю, так люблю…

– Милая, единственная… – Он восторженно вздохнул. – Значит, ты согласна?

– Да.

Лермонтов в сладостном порыве поцеловал ее снова, жарко и неистово. Она покорно приоткрыла губы.

– Выходи первой. Через четверть часа жду тебя у парадного. Ты в коляске?

– Да. А ты?

– Я пешком, я живу неподалеку. Но ко мне нельзя – бабушка узнает.

– А куда поедем?

– Я сейчас придумаю что-нибудь.

Он постоял еще на балконе, собираясь с мыслями и ощущая сладкую дрожь. А когда возвратился в залу, то опять столкнулся с Краевским. Тот набросился на него с выпученными глазами:

– Ты совсем обезумел, братец? Мокрый, весь в снегу…

– Что из того? – легкомысленно спросил поэт, утирая платком лицо.

– То, что ваше уединение на балконе не прошло незамеченным. Володя Соллогуб едко пошутил. Значит, и известной тебе особе будет сообщено.

– Что из того? – повторил он.

– То, что покровительству может настать конец.

Михаил отмахнулся.

– Ну и черт с ним. Думаю, потеря невелика.

– Ой ли? Женщина в гневе непредсказуема. А сиятельная женщина, не имевшая в жизни отказов, хитроумна вдвойне.

– Месть? Не думаю.

– Ты не знаешь великосветских нравов, Мишель.

Но его мысли были о другом. То есть о другой.

Повезти графиню к себе он не мог, а искать пустую комнату у друзей не было времени. Да и риск огласки в этом случае был бы велик. Значит, вариант оставался один: хорошо знакомый всему офицерству Петербурга дом на углу Невского и Лиговки – так называемые «нумера», где за небольшие деньги можно было снять апартаменты на ночь. Не Версаль, конечно, но без клопов. Простыни сухие и чистые.

Торопливо спустившись по лестнице, он взял свою шинель, сам надел, отказавшись от помощи лакея.

Снег на улице еще шел, но уже не так сильно. Мостовые были мокрые и блестящие, отражая свет газовых фонарей. У парадного стояла коляска Мусиной-Пушкиной – Лермонтов узнал кучера по высокой бараньей шапке. Он даже знал, как его зовут, – Харитон.

Время шло, а Эмилии Карловны не было. Становилось зябко, холод проникал через тонкие подошвы хромовых сапог. Михаил притоптывал, переминаясь с ноги на ногу. Неужели передумала? Или отговорили? Когда он уже отчаялся, она выскользнула из парадных дверей – в пелеринке, опушенной мехом горностая, и красивом кружевном капоре. Молча взяв поэта за руку, увлекла в коляску и сказала кучеру с волнением:

– Харитон, поехали. – Затем обернулась к спутнику: – Куда «поехали»?

– Угол Невского и Лиговки, там я покажу.

Она повторила. И, прижавшись к нему, горько прошептала:

– О, Мишель, я сошла с ума. Мы оба сошли с ума. Мы совершаем страшную глупость.

Михаил обнял ее.

– Это не глупость, Милли, а любовь.

– Разве любовь – не глупость?

– Это самая сладкая глупость на свете.

Мелькали фонари, цокали копыта, коляску трясло на неровностях брусчатки. Дом стоял в переулке. Лермонтов вышел из коляски и отправился на разведку. За большой лакированной стойкой восседал распорядитель, так сказать, обер-кельнер, в шелковом жилете и с тщательно прилизанной шевелюрой, – звали его Франц Иванович. Увидав Лермонтова, он приветливо заулыбался и привстал:

– Здравия желаю, Михаил Юрьевич. Что-то мы давно вас не видели.

– Недосуг было, голубчик. А теперь вот пришла нужда. Есть ли свободные покои?

– Для вас – всегда. Осьмнадцатый либо двадцать третий, как вы любите?

– Пожалуй, двадцать третий. Он хоть и дороже, но зато уютнее.

– С превеликим удовольствием. Вот ключи. Оплата, как всегда, после – мы вам доверяем. Насчет шампанского распорядиться? И конфект? Может быть, цветов?

– Да, шампанского, и конфект, и цветов. А с утра – кофе и бисквиты.

– Слушаюсь. Исполним.

Мусина-Пушкина, кутая лицо в воротник, чтобы при свете ее не запомнили, промелькнула мимо привратника. Франц Иванович, глядя вслед, улыбался и подобострастно кивал.

В номере она обреченно села на стул, сгорбилась и заплакала. Михаил упал перед ней на колени и начал целовать ладони в перчатках:

– Полно, дорогая, любимая, несравненная… Умоляю вас, не плачьте. Мы же взрослые люди.

– Ах, оставьте, Мишель, не успокаивайте меня, – простонала она. – Я веду себя, как последняя уличная девка. Я, графиня, мать троих детей, еду с офицером в меблированные комнаты… ночью… пользуясь отсутствием мужа… Это грязно, гнусно!

– Вы неправы, Милли, совершенно неправы, – уговаривал он. – С мужем вы давно охладели друг к другу, несмотря на общих детей. У него своя жизнь в игорных домах и мужских клубах, а у вас своя. Одинокая, невеселая жизнь. И ваше чувство ко мне вовсе не преступно, а, напротив, живительно. Я люблю, и вы любите. Отчего же нам не быть вместе?

– Я не знаю, Миша, но мне страшно.

Их горячий, нежный поцелуй прервался стуком в дверь и голосом коридорного: – Сударь, ваше шампанское, соблаговолите открыть.

Эмилия отвернулась к окну, пряча лицо от слуги. Тот занес ведерко со льдом и бутылкой игристого, сладости и фрукты, празднично завязанный букет алых роз. Обернув полотенцем, ловко, с небольшим хлопком вытащил пробку. Получил на чай и с поклоном вышел.

Мусина-Пушкина вздохнула.

– Ну и пусть. Может, вы и правы. Он себе позволяет, и я позволю. Станем с вами безумствовать. – Она сняла капор. – Наливайте, сударь!

Лермонтов рассмеялся.

– Слава богу! Разрешите вашу накидку.

Белая пена вздыбилась над бокалами, потекла по хрустальным стенкам. Эмилия сказала:

– Для начала – на брудершафт.

– Хорошо, но вообще-то мы уже переходили на «ты».

– Разве?

– Нынче на балконе.

– Совершенно не помню. Я была словно в каком-то угаре.

– Итак, на брудершафт.

Их руки переплелись. А потом соединились уста.

Ставя бокал, Милли промахнулась мимо столика, он упал на пол, на ковер, но не разбился, а откатился к стене. Рядом с ним вскоре оказались шелковые чулки. Горящие в канделябрах свечи трепетно дрожали желтыми язычками, наблюдая за происходящим…

Лермонтов откинулся на подушку и, все еще тяжело дыша, сладостно прикрыл глаза. Эмилия, лежа у него на плече, шептала:

– Я люблю тебя, люблю…

Она подняла голову и обрушила на него водопад из белых кудрей. Свечи отразились в ее зрачках.

– Миша, ты знаешь, я теперь ни о чем не жалею.

– Правда?

– Правда. Я счастливее всех на свете.

– Это я счастливее всех на свете.

– Это мы счастливее всех на свете. – Она поцеловала его в плечо. – Я благодарна тебе за все. Ты избавил меня от одиночества.

– Это ты избавила меня от одиночества.

– Это мы избавили друг друга от одиночества!

Они засмеялись.

– Ты не боишься возвращения мужа?

– Мне теперь ничего не страшно. У меня есть ты – это главное.

Внезапно Эмилия забеспокоилась и стала одеваться.

– Разве ты не останешься на ночь? – удивился он.

– Нет, какое там! Харитон мерзнет на углу – я его не отпускала.

– Так я пошлю коридорного, чтобы отпустил.

– А дети? Что они подумают, если мама, как обычно, не придет их поцеловать после пробуждения?

– Поедешь в шесть утра и вполне успеешь. Я на утро заказал кофе и пирожные.

Но Эмилия была непреклонна.

– Нет, надо сейчас.

Она наклонилась и поцеловала его в висок.

– Не тревожься, милый, мы еще увидимся, обещаю. Впереди у нас целых две недели.

– А потом? Ты останешься с мужем?

Мусина-Пушкина прикрыла указательным пальчиком в шелковой перчатке его губы, словно накладывая печать молчания.

Затем вновь поцеловала, отперла двери и, махнув рукой на прощание, выскользнула из комнаты.

Полуголый, он сидел на кровати и не мог понять – что это было? И насколько все это для нее серьезно?

Ничего так и не решив, Михаил тяжело вздохнул, вылил остатки шампанского в свой бокал, жадно выпил. Зажевал конфетой. Подошел к стене, поднял второй фужер и поставил на место. Огорченно задул свечи, и лег под одеяло. – Ладно, хоть посплю – нумер все равно снят на целую ночь, – думал он, ворочаясь и вспоминая подробности их недавней близости.

7

Две недели прошли в безумстве. Накануне приезда Владимира Алексеевича Лермонтов хотел окончательно объясниться, но Эмилия рассердилась, стала вдруг кричать, что она и так на пределе физических и душевных сил и Михаил не вправе требовать от нее каких-то решений.

– Как не вправе? – разозлился он. – После всего, что произошло, не вправе? Или я для тебя лишь минутное развлечение, вроде жиголо, которого нанимают только для танцев?

Мусина-Пушкина подошла и дала ему пощечину. В ярости сказала:

– Как ты смеешь так говорить со мной, щенок?

– Ах, «щенок»?

– Да, я старше тебя на четыре года, знаю жизнь и имею право. По сравнению со мной – ты еще мальчишка. Со своими романтическими идеями – «мон амур», «о-ля-ля» и прочее. Но пора посмотреть правде в глаза. Да, любовь, да, прекрасные чувства и прекрасные встречи. Ни о чем не жалею. Тем не менее жизнь остается жизнью. У меня имеется положение в обществе. Титул. Статус. Дети, в конце концов. Разрушать не хочу. И должна соблюдать приличия. – Она помолчала, окончательно успокоившись. – Ты сам подумай: что скажут в свете? «Графиня Мусина-Пушкина бросила мужа и сбежала к любовнику». Это же позор! Для меня, супруга, детей… Он тогда отнимет детей! Запретит с ними встречаться. Разве я смогу жить без них? Не целовать моих ненаглядных крошек? Никогда и ни за что! – Она снова помолчала. – А на что ты намерен жить? Содержать семью? На подачки бабушки? Это несерьезно. Мы начнем постоянно ссориться. Ты возненавидишь меня – вот чем все закончится. Возникает вопрос: стоит ли игра свеч?

Он сидел подавленный, уничтоженный и униженный как мужчина. Да, по сути она, конечно, права. Возразить нечего. Михаил действительно плохо представлял, что будет, если вдруг Эмилия согласится к нему переехать. И сейчас понял: дело плохо, у них как у супругов будущего нет. Но сердце ныло, а сознание отказывалось верить. Как расстаться с этим чудом в кружевах, перьях и веселых завитушках волос, с этим смехом, с этим взглядом лукавых глаз? Не ждать встреч? Не надеяться на свидания? Не мчаться в Петербург из Царского Села на крыльях любви? Пустота! Тоска!

Лермонтов уныло глядел – как она, согнувшись и поставив ногу на табуретку, ловко набрасывает петельки на пуговки туфель. Тихо пробормотал:

– Да неужто конец нашим отношениям?

Выпрямившись, Эмилия пригладила волосы и взяла шляпку. Затем спокойно посмотрела на него.

– Отчего же конец? Коли будут у нас желание и возможности, еще встретимся.

– Ты меня удивляешь своей рассудительностью.

Мусина-Пушкина улыбнулась.

– У меня же шведская кровь, не забывай. – Она подошла и с любовью его поцеловала. – Глупенький ты мальчишка. Принял все всерьез. Смешные вы, поэты. Живете воображением и не понимаете реальных вещей. Песни поете в честь возлюбленных. А возлюбленные часто не такие богини, какими видят их поэты: не Дульсинеи Тобосские, а простые Альдонсы [47] .

Он грустно ответил:

– Ты же не Альдонса.

– Но, боюсь, и не Дульсинея, – рассмеялась графиня, поцеловала его на прощанье и мгновенно скрылась.

Михаил устало подошел к двери, запер ее на ключ, чтобы ненароком не зашел коридорный, и потом только медленно сполз на колени и, закрыв руками лицо, рухнул на ковер. Плакал так отчаянно, как не плакал с детства. Колотя кулаками по полу. Открывая широко рот. Но не кричал, просто повторял: – Господи, за что, за что?!

Наконец затих. Приподнялся, сел. Вытащил платок, вытер глаза. Громко высморкался.

Сказал сам себе:

– Все правильно. Это даже к лучшему.

Он встал, прошелся по номеру, посмотрел в окно. Голубело предрассветное небо. В доме напротив, в комнате за легкими, прозрачными занавесками все еще горела свеча – кто-то всю ночь работал. Лермонтов подумал, что ему пора вернуться к нормальной жизни и начать писать; из-за этого романа он давно забросил перо.

Но изливать душевную горечь на бумагу не хотелось. Боль была еще слишком остра. Вначале надо ее пережить. И тогда начать писать.

Он взял бокал и увидел, что бутылка вина пуста. Отпер дверь и крикнул:

– Человек! Коридорный! Где ты там? Принеси водки. И чего-нибудь закусить. – И невесело вздохнул. – Любовь надо помянуть.

8

У Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина в это утро было превосходное настроение: имение удалось не продать, а заложить. Накануне отъезда он выиграл в карты 10 тысяч рублей и неплохо провел время со своей московской любовницей – молодой актрисой Малого театра. Поэтому он задержался в Первопрестольной на несколько лишних дней.

Харитон с коляской ждал на почтовой станции возле Знаменской площади. Поклонился в пояс, поприветствовал барина. Тот спросил:

– Ну, какие новости? Все у нас в порядке?

Кучер перекрестился.

– Слава богу, никто не помер.

– Тьфу на тебя, разве ж я об этом?

– А об чем, ваше сиятельство? – не понял слуга.

– Были ли важные гости? Часто ли графиня ездила на балы?

– Из гостей помню токмо Нарышкиных да Ильинских. А на балы да еще куда ездили, понятно. Знамо дело.

– А куда – «еще куда»?

Слуга пожал плечами.

– Мало ли куда – и к портному, и к шляпнику. Деток возили в Летний сад. В гости к Валуевым и Ростопчиным.

– Больше никуда?

– Больше не припомню.

– Ты гляди, братец, коли что таишь, а я узнаю – так шкуру спущу.

Кучер развел руками.

– Чего ж таить, коли мне ничегошеньки неведомо?

– Ну, я предупредил.

Граф доверял Эмилии Карловне, но не забывал эпизода, происшедшего три года назад, – увлечение супруги дальним родственником Мусина-Пушкина, тоже Мусиным-Пушкиным – Михаилом Николаевичем, приезжавшим к ним из Казани. Если бы не решительные действия мужа, вовремя отправившего легкомысленную жену в деревню, неизвестно, чем бы дело кончилось. Теперь он отсутствовал дома полтора месяца, за которые мало ли что могло произойти…

Главным осведомителем в доме графа был его старый дядька (естественно, не родственник, а наставник, пестун из крепостных) Дормидонт Иванович, бывший крепостной, отпущенный Владимиром Алексеевичем на волю и оставшийся жить при своем выросшем барчуке. Дядька служил истопником, и по праву истопника мог свободно заходить во все комнаты, где были печи. А потом сообщал хозяину, где что происходит без его ведома. И хозяин платил слуге за осведомительство отдельно.

По возвращении из Москвы, после возгласов, поцелуев и объятий, после лопотанья детей (старший, Алексей, восьми лет, обучавшийся на дому с учителями: «Мы сегодня с мадам Бертье изучали французские глаголы»; средний, Вольдемар, семи лет: «Я вчера упал и разбил коленку, но нисколько не плакал»; младший, Саша, пяти лет: «У меня горлышко болело, а теперь уж нимало, только кашляю еще»), после обеда и подробного рассказа Эмилии Карловны обо всех светских новостях, граф уединился у себя в кабинете с чашечкой кофе и рюмкой коньяка. Сидя в кресле, он курил сигару и от удовольствия прикрывал сонные глаза. В Москве хорошо, но дома лучше. Безмятежность, покой, блаженство… В это время в двери заглянул Дормидонт и спросил извиняющимся голосом:

– Вызывали, батюшка Владимир Алексеевич? Не нарушил я ваших отдохновений?

– Заходи, голубчик, садись. Почто похудел?

Бывший крепостной заморгал грустно:

– Похудаешь тут. Уж каку́ю неделю животом маюсь. К дохтору ходил, Конраду Петровичу, три рубля отдал, а все без толку. Никакие порошки не помогают.

– Твой Конрад Петрович – осел, знай рецепты пишет по книжкам, а реальной жизни не знает. Надо лечиться проверенными русскими средствами – травами да медом. У меня в Финляндии тоже было долгое несварение. И такие боли, что на стенку лез. Так одна тамошняя бабка вылечила меня травяными отварами и горячим питьем из меда. До сих пор держусь.

– Где ж такую бабку в Петербурге сыщешь? – сокрушенно спросил Дормидонт Иванович.

– Есть одна знахарка и ведунья – Александра Филипповна Кирхгоф. Хоть и немка, но давно уже в России живет, почитай что наша. Лечит и предсказывает судьбу. Я договорюсь, и она тебя примет.

– Так ведь дорого, поди? Я не отработаю.

– О деньгах не беспокойся – заплачу за тебя, сколько ни попросит.

Дормидонт упал перед барином на колени и, схватив его руку, поцеловал. Мусин-Пушкин с сочувствием посмотрел на его смешную плешь.

– Оставь, братец, обслюнявил меня всего. – Он вытер кисть платком. – Сядь, не причитай. Лучше отвечай на мои вопросы.

– Слушаю, ваша светлость, что знаю – расскажу.

– Ну, так говори тогда: отлучалась ли без меня барыня из дому?

Дядька засмущался, потупился, пожевал губами. Но благодарность барину за заботу о его здоровье пересилила прежнее желание сохранить в тайне похождения госпожи. И, вздохнув, кивнул.

– Было дело, отлучалась. Говорила, что в гости или на бал. Но какие же балы на углу Невского и Лиговки, где известные нумера? Харитон, бывалочи, ожидал ее тама допоздна.

У Владимира Алексеевича засосало под ложечкой. Коньяк и кофе сразу сделались не в радость. Нумера… Это более чем серьезно.

– Харитон не врет?

– А зачем ему врать, ваша светлость, Владимир Алексеевич? Мне и то рассказывал по секрету. Токмо потому, что сильно озяб, задубел, сидючи на козлах, и сердился больно на барыню за это. Я его чаем отпаивал.

– Харитон-то снова выпивает?

– Нет, спаси господь, – истопник осенил себя крестным знамением. – Как вы отругали его в прошлом разе, так с тех пор

держится. Даже на Масленую разговлялся без вина, я видел. Нет, не думайте, Харитон не по пьяни говорит, зря болтать не станет.

– Сколько же раз она посещала эти самые, – граф скривился, – «нумера»?

– Точно не скажу, не считал. Да я и узнал обо всем после третьей иль четвертой отлучки. Стало быть, не меньше пяти. Да, не меньше пяти, за сие ручаюся.

– Ну а в гости к ней никто не ходил? Я имею в виду не Ростопчиных и Нарышкиных, а отдельных гостей мужеского полу?

Дормидонт сосредоточенно поморгал.

– Нет. Не могу припомнить. Никого не видел – ни днем, ни ночью. Токмо вот сами уезжали.

– Ясно, ясно… Что ж, ступай, голубчик, и спасибо тебе за службу. Я насчет Александры Филипповны поспособствую.

Слуга отвесил барину поясной поклон и вышел, бормоча благодарности.

После его ухода Мусин-Пушкин допил коньяк и кофе, нервно раскурил остаток сигары. Погрузившись в облако дыма, глубоко задумался. Затевать ли дело? Вызывать ли супругу и устраивать ей разбор? Разумеется, выйдет ссора, новая размолвка. Милли начнет изворачиваться, плакать и кричать. Может быть, сознается. А станет ли ему от этого легче? То, что он рогат, – это свершившийся факт. Так не все ли равно, кто соперник?

Вызвать его на дуэль? Вот еще не хватало! Он теперь законы не нарушает. Хватит с него неприятностей из-за тех событий в декабре 1825 года. Вместе с дуэлью припомнят старые дела. Да и вдруг погибнет он сам? Глупо и нелепо, как Пушкин? А если убьет противника? Это еще хуже – каземат, судебное разбирательство, приговор, а потом тюрьма или ссылка… Нет, дуэль категорически отпадает.

И вообще, стоит ли беспокоиться? Ну рогат. Но и он изменял жене, находясь в Москве. Значит, квиты. Небольшой адюльтер только укрепляет семейные узы. Именно – небольшой, если обе стороны сохраняют брак. Если же Эмилия Карловна вдруг захочет уйти к любовнику и затеет развод… вот тогда… Нет, не захочет и не затеет. Он ее знает. Ей удобно сохранять статус-кво. Потому что она шведка до мозга костей. Развлечься – да. Но богатство, дом и приличное положение в обществе для нее превыше всего.

Значит, надо закрыть глаза? Сделать вид, словно ничего не было? Удалить из Петербурга – подальше от соблазна? Да, пожалуй. Просто удалить. От себя и от любовника. Мягко и тактично. Без скандалов и взаимных упреков…

Он поднялся к жене в спальню. Та читала, лежа на кровати в прозрачной кружевной ночной рубашке и таком же чепце. При его

появлении улыбнулась, отложила книгу.

– Ты ко мне? Как мило. Я уж и забыла нашу последнюю ночь в одной спальне.

Граф поморщился.

– Извини, дорогая, только не сейчас. Я устал с дороги и хочу как следует отдохнуть. Просто заглянул, чтобы пожелать тебе спокойной ночи. И спросить, когда ты намерена переехать в Царское Село? Теплая пора наступает, жаль терять весенние деньки – детям нужны воздух, солнце, природа. Саша поправляется после ангины.

Эмилия Карловна приняла его решение спокойно. Помолчав, мягко ответила:

– В первых числах мая поедем. Ты не против?

– Я только «за». Пошлю человека, чтобы разузнал о нынешних ценах. Ты хотела бы снова остановиться в Китае, в доме у Наседкиных?

– Почему бы нет? Там вполне комфортно. Рядом лес и речка. И от станции далеко, нет ни дыма, ни противных паровозных свистков.

– Значит, договорились. – Он поцеловал жену в переносицу (в губы не хотел, помня о любовнике), кивнул и вышел.

Спускаясь, думал: Хорошо все устроилось.

А Эмилия Карловна после ухода мужа скорчила язвительную гримаску и прошептала:

– Думаешь, обвел меня вокруг пальца, удалив из города? Остолоп. В Царском Селе мне как раз никто не будет мешать ездить на свидания.

# Глава третья

1

От великой княжны Марии Николаевны никто так и не явился за рукописью пьесы «Маскарад». Может, прав был Краевский, что великосветская дама рассердилась на Лермонтова, видя его увлечение Мусиной-Пушкиной? Но с какой стати? Ревность? Вряд ли. Основание для ревности – это любовь, влюбленность по крайней мере. Но предположить, что дочь императора влюблена в незнатного и странноватого поэта, было трудно. А тогда в чем причина? Михаил терялся в догадках.

Он даже обратился за помощью к родственнику – А. Г. Столыпину, ставшему адъютантом принца Лейхтенбергского, молодого мужа Марии Николаевны (бракосочетание состоялось 2 июля в часовне Зимнего дворца), – мол, напомни при случае ее высочеству. Тот вскоре сообщил:

– Ну, и удружил ты мне, Миша, право слово! Знал бы – не совался.

– Господи, что такое? – изумился поэт.

– Мария Николаевна как услышала твое имя, так прямо изменилась в лице, посуровела и губки поджала. Говорит: «Лермонтов ваш – беспутник и шалопай, я о ним лучшего была мнения, а теперь слушать не желаю». Мне бы промолчать и принять как должное, а меня понесло тебя защищать. Говорю: «Да помилуйте, ваше высочество, чем же он таким провинился?» А она: «Все знают о его поведении в свете. Ни стыда, ни совести. Ибо сказано: «Не желай жены ближнего твоего». Или заповеди для него не указ?» Я опять: «Это все наветы и слухи, верить им нельзя». А она: «Нет, не слухи. Я сама на трех балах видела, как он увивался за этой греховодницей. И других доказательств мне не надо». А потом добавила: «Да и папенька, кстати, очень не расположен ни к нему, ни к его сочинительству. Стало быть, и мне не к лицу ему покровительствовать». Вот и весь сказ, Мишель.

Лермонтов вначале расстроился, а потом сердито пробурчал:

– Ну и пропади она пропадом. Курица безмозглая.

– Те-те-те, будь поосторожнее на язык, мон ами.

– Что теперь осторожничать? Коли все равно я в опале?

– Ну, в опале – не на Кавказе.

– А если на Кавказе, то что с того? Мы там уже бывали, нас Кавказом не напугаешь.

– Не хочешь думать о себе, так подумай о бабушке.

– Разве что о бабушке…

Август принес еще одно нерадостное событие: умер Александр Иванович Одоевский. Находясь в действующей армии, очищавшей Черноморское побережье Кавказа от мятежников, он заразился малярией; медики стали давать хинин, но лекарство произвело обратное действие – начались покраснение кожи, головокружение, рвота, лихорадка. Бывшего декабриста перевели в лазарет в форте Лазаревский, близ Сочи, где он и скончался в ночь с 15 на 16 августа 1839 года. Там же и был упокоен.

Узнав об этом Лермонтов почувствовал такую острую боль в сердце, что едва не лишился чувств. Мир показался пустыней. Если Россия не ценит своих лучших сынов, то какое будущее ей уготовано? Одоевский мог бы принести столько пользы Отечеству – например, стать министром народного просвещения, или возглавить Академию наук, или войти в комиссию по реформам государственных учреждений. А вместо этого он был сослан в Сибирь, потом на Кавказ, рядовым, бесправным, был оскорблен и раздавлен, низведен до положения риз и фактически уничтожен. Злобным человеком на троне. Возомнившим себя помазанником Божьим. Но Христос учил с сочувствием относиться к своим врагам, ибо они тоже люди. И уметь прощать. Как же можно называть себя христианином, ходить в храм, держать свечку пред ликом Спасителя, если ты не можешь проявить милосердия и доброты к своим подданным, пятерых казнил, сотни сгноил в сибирских рудниках, остальных превратил в бессловесных муравьев, растереть которых не составляет труда? И за что России выпала такая мука?

Бедный Александр Иванович! Впрочем, если исходить из его собственных воззрений, он теперь счастлив на небесах. Так что, бедные мы все, продолжая оставаться на земле.

В результате Михаил выстрадал такие стихи:

*Я знал его: мы странствовали с ним*
*В горах Востока, и тоску изгнанья*
*Делили дружно; но к полям родным*
*Вернулся я, и время испытанья*
*Промчалося законной чередой;*
*А он не дождался минуты сладкой:*
*Под бедною походною палаткой*
*Болезнь его сразила, и с собой*
*В могилу он унес летучий рой*

*Еще незрелых, темных вдохновений,*
*Обманутых надежд и горьких сожалений!*

И еще пять строф душевной боли о погибшем товарище…

Даже появление в «Отечественных записках» повести «Фаталист» из рассказов о Печорине ненадолго порадовало. Лермонтов словно предчувствовал, что Одоевский зовет его к себе. Скоро они соединятся. В тридцать три – через семь с половиной лет. А может быть, и раньше?

Лето в Царском Селе пролетело быстро – в воинских упражнениях, стрельбах, выездке, джигитовке, смотрах и парадах. Лермонтов заслужил похвалу великого князя Михаила Павловича. Но остался к этому почти равнодушен.

В Петербург он ездил редко – свет переместился на дачи, в деревеньки, в свои поместья, отдыхал на природе. Михаил только навещал бабушку. Самочувствие ее было не ахти: суставы ныли, да и сердце пошаливало, перед глазами часто возникали черные мушки. Она умоляла внука отложить отставку, дослужиться хотя бы до майора; если б не крамольные сочинения, он был бы уже поручиком, как и большинство его однокашников по гвардейской школе, – например, Николай Мартынов. – Тьфу, Мартышка! – раздраженно кривился Михаил. – Он приятный малый, но болван! Именно таким и дают звания.

Отношения с Мусиной-Пушкиной пережили за это лето несколько этапов.

Первый – продолжение романтических встреч. Лермонтов смирился, что она не покинет мужа при любых обстоятельствах, и решил не загадывать вперед, наслаждаясь сегодняшним днем. Встречи происходили у него на квартире при отсутствии Столыпина-Монго (тот часто ездил в Петербург к своей возлюбленной – графине А. К. Воронцовой-Дашковой), были бурные, страстные, головокружительные. Длились май, июнь и июль.

На втором этапе любовники, неожиданно поссорившись, перестали видеться. Причиной сделались слухи, что у Лермонтова якобы роман с княгиней Щербатовой. Он ей действительно симпатизировал, написал несколько стихотворений в альбом, даже в шутку говорил, что готов жениться, но за рамки платонических чувств их отношения никогда не выходили. А Мусина-Пушкина сплетням поверила и однажды спросила напрямик:

– Ты действительно хочешь жениться на княгине Мэри

Щербатовой?

Михаил расхохотался.

– Я не исключаю. Дама очаровательная, молодая вдовушка, умная, с состоянием и в меня влюблена, как кошка.

– Не шути, пожалуйста. Я хочу знать правду.

Но поэт не изменил игривого тона.

– Да какие шутки в самом деле? Мне пора устраивать свою жизнь. Выйти в отставку, уехать в Тарханы, заниматься литературой. Вить семейное гнездышко. Я бы с удовольствием сделал это с тобой, но ведь ты не хочешь уходить от супруга. Что же прикажешь мне тогда? Оставаться в девках? Нет, решительно я хочу жениться. И княгиня Мэри – самая подходящая для сего партия.

Мусина-Пушкина приняла эти веселые рассуждения за чистую монету, побледнела и произнесла с дрожью в голосе:

– Значит, ты готов со мною расстаться?

– Ты же не хочешь со мною соединиться!

– Я дарила тебе любовь, нарушая супружескую верность. Этого, по-твоему, мало?

– Нет, конечно, немало, – согласился он. – И тебя мне понять легко. Но пойми и ты меня: я хочу стабильности и семейного счастья. Ты, со мной наигравшись, возвращаешься в свою семью – и ничто в твоей жизни не меняется. А меня бросаешь одного? Разве это честно?

У графини хлынули слезы.

– Ты меня не любишь, – всхлипывала она. – Ты готов променять меня на какую-то светскую пустышку.

– Нет, Щербатова не пустышка, – продолжил игру Лермонтов, хотя и понимал, что они зашли слишком далеко и сейчас поссорятся. – И вообще, какое право ты имеешь ее судить? Я же не говорю ничего дурного о твоем муже, хотя и мог бы. Он далеко не ангел. Говорят, у него в Москве любовница – актриска Малого театра.

– Знаю, доброхоты донесли. Мне все равно. Он отец моих детей. Он меня содержит. Я должна принимать его любым, ибо так предписано.

– Ах, предписано? – Михаил и сам начал заводиться. – Отчего же тогда ты ему не предана, а сделала рогатым, бегая на встречи с молодым офицериком?

Мусина-Пушкина вздохнула.

– Я увлеклась и потеряла голову.

– А теперь жалеешь?

– Очень жалею.

– Так за чем дело стало? Возвращайся к своему

ненаглядному, моту и распутнику, но законному мужу. Я женюсь на Щербатовой. И мы навсегда расстанемся.

– Ты, конечно, только этого и желаешь. – Она вытерла слезы и начала обмахиваться платочком.

– Я желаю? Это ты только что сказала, что очень жалеешь о нашей связи.

– Ты меня вынудил так сказать. А на самом деле все наоборот.

– Наоборот это как?

– Ты соблазнил меня, обесчестил, а теперь стремишься под венец с другой.

Лермонтов просто затрясся от бешенства.

– Что за чушь? Ты в своем уме? Я ей предлагаю уйти ко мне – она не хочет. Я ей предлагаю остаться с мужем – она рыдает. Связи со мной стыдится, но ревнует к Щербатовой. Это какое-то сумасшествие.

Однако графиня все истолковала по-своему.

– А-а, так ты считаешь меня сумасшедшей? Спасибо тебе большое за откровение. Наконец-то мне стало понятно твое истинное отношение.

– Прекрати цепляться к моим словам.

– Как же мне не цепляться? Я же сумасшедшая.

– Ты не сумасшедшая. Ты хуже.

– Хуже? Это как?

Михаил отмахнулся.

– Да не все ль равно!

– Нет, закончи, коль начал. Хуже сумасшедшей – это как?

– Отстань, пожалуйста. Не желаю продолжать сей глупейший спор.

– Нет, изволь ответить.

– Милли, перестань.

– Мне очень интересно: разве может быть что-то хуже сумасшедшей?

– Может.

– Вот и скажи.

– Хуже сумасшедшей – ты.

– Чем же?

– Сумасшедшая значит «сошедшая с ума». А тебе сходить не с чего. В голове пусто. – И он демонстративно постучал себя кулаком по лбу.

– Ого, вот это новость.

– Кушай на здоровье.

– Объяснился как следует.

– Лучше поздно, чем никогда.

Они, надувшись, продолжали сидеть по разным углам. Наконец, Мусина-Пушкина встала, покопавшись в ридикюле, вытащила пудреницу, перед зеркалом привела в порядок щеки, носик, лоб. Лермонтов спросил:

– Ты уходишь?

Она молчала.

– Ты не можешь уйти, не помирившись.

Графиня словно не слышала.

Он поднялся.

– Ну, прости меня, коли я сказал что-то лишнее. Ты меня завела, я не смог сдержаться.

Эмилия Карловна, глядя в сторону, стала вывязывать бантик из тесемок шляпки.

Михаил подошел, взял ее за плечи.

– Я клянусь, у меня к Щербатовой нет никаких чувств. И я не собираюсь на ней жениться. Я люблю тебя.

Сбросив его ладони, она холодно ответила:

– Чепуха. Прощай. – И открыла дверь.

Он схватил ее за руку.

– Подожди. Посмотри мне в глаза.

– Пусти, мне больно.

Лермонтов разжал пальцы.

– Если ты уйдешь, не простив меня, между нами будет все кончено.

– Значит, кончено. – И она ушла, хлопнув дверью у него перед носом.

Он не стал плакать, как тогда в апреле, а только походил взад-вперед по комнате. Затем подошел к зеркалу, причесал волосы и бачки, высунул язык, показал его то ли самому себе, то ли ей, воображаемой. Проговорил философски:

– Баба с возу – кобыле легче. – Немного подумал. – Я по крайней мере вел себя с ней честно, предложив уйти от супруга и соединиться. Но она решила по-своему. Значит, поделом. – Грустно улыбнулся. – Может быть, действительно поухаживать за Щербатовой? Клин клином. Лучшее средство от любви – новая любовь. Или пуля в лоб.

Его размышления прервались появлением Столыпина-Монго. Он ввалился пьяный и расхристанный. Рокотал, прижимая к груди бутылку:

– Мне конец, Маешка. Понимаешь, конец! Я отставлен, изгнан, вышвырнут на улицу пинком под зад. Стыд и позор, страшное унижение!

– Боже мой, о чем ты? Дашкова тебя прогнала?

– Нет, другое. Я имел разговор с ее мужем.

– Неужели?

– Да, представь себе. Он внезапно приехал из деревни и застал нас в столовой, пьющими утренний кофе. Оба, разумеется, неглиже. Что тут говорить? Он все понял. Но и глазом не моргнул. Просто сказал мне: – Не могли бы вы, сударь, переговорить со мной в моем кабинете? Жду вас через десять минут, чтобы вы успели одеться. – Каково?

– Граф – прелестный старикан. В чувстве юмора ему не откажешь.

– Погоди, слушай дальше, то ли еще будет. Я оделся и, готовый провалиться сквозь землю, поднялся к нему. Он сидит на диване, предлагает мне сесть рядом и протягивает сигары. Мы сидим и курим как ни в чем не бывало, словно он не муж, а я не любовник его жены. Потом говорит: – Я не против вашей связи с Шурочкой, ибо понимаю, что она молода, а я стар и уже не в силах сделать ее счастливой как женщину. Просьба одна: чтобы графиня не тяжелела от вас. Воспитывать ваших детей я не намерен. Шура подарила мне мальчика и девочку, этого достаточно.

Лермонтов ударил себя по ляжкам и захохотал.

– Вот молодец! Я зауважал его еще больше.

Монго налил в стакан из бутылки, молча выпил и громко крякнул. Затем продолжил:

– Но ведь это конец, Маешка. Понимаешь, конец всему!

– Отчего? Муж дает тебе карт-бланш и благословляет, при условии, что она не станет беременеть. Разве это плохо?

– Ты не понимаешь, – огорченно вздохнул Столыпин. – Я так не могу. Мне теперь совестно. Потому что он проявляет благородство, а я у него, выходит, краду. Вроде он мне разрешил воровать, только не по-крупному. Это гнусно!

– Уж больно ты совестлив.

– Да вот совестлив, представь. Я аристократ. И имею понятие о чести. Наставлять рога мужу тайно я могу – таковы правила игры, почему бы нет? Но спать с его женой при его согласии и одобрении – совершенно иное дело. Вроде бы меня нанимают для утех ее сиятельства. Не за деньги, а всего лишь по взаимному сговору, но тем не менее. Значит, кончен бал, погасли свечи.

Лермонтов хлопнул его по плечу.

– Будет тебе, погоди, остынь. Утро вечера мудренее. Завтра встанешь и посмотришь на сей конфуз другими глазами. И вернешься в объятия Александры Кирилловны. Вот моя история – совершенно иного свойства. – И он поведал родичу о разрыве с Мусиной-Пушкиной.

Тот разлил остатки вина по стаканам.

– Не грусти, Маешка, вы еще помиритесь.

– Сомневаюсь, Монго.

– Лучше выпьем и зальем наше горе этим вином. И пошлем за новой бутылкой. Погудим вволю и отправимся к Дашеньке.

– Ты неисправимый блядун.

– От такого же блядуна слышу…

Третий этап отношений Лермонтова и Мусиной-Пушкиной продолжился с августа по конец сентября. Формально их помирили Карамзины, но вовлечь в постановку нового спектакля не смогли. Оба сдержанно улыбались друг другу, иногда у Карамзиных играли в лото, сидя не рядом, иногда участвовали в застольях, но других отношений не поддерживали. Михаил успокоился и воспринимал Милли без особой внутренней зажатости, правда, всегда следил – рядом с кем она сидит, разговаривает и с каким выражением лица. А потом вдруг Эмилия Карловна пропала, перестала посещать карамзинские посиделки. Однажды поэт не выдержал и как бы между прочим обратился к Софье Николаевне:

– Что-то Мусиной-Пушкиной давно не видно. Уж не заболела ли?

Та взглянула удивленно.

– Разве вы не знаете? Милли уехала назад, в Петербург.

– Что-нибудь случилось? – подавляя тревогу в голосе, спросил он.

Карамзина отвела глаза.

– Это не моя тайна, и поэтому я не имею права…

– Что-нибудь с ее мужем? – перебил Лермонтов.

– О, избави бог! У Владимира Алексеевича все в порядке, даже, говорят, он сможет выкупить заложенное имение.

– Что тогда? С детьми неприятности?

– Нет, они здоровы.

– Значит, с ней самой?

– Ах, не принуждайте меня, Мишель. – Она ласково взяла его под руку. – Я могу сообщить только одно: эту осень и зиму Милли проведет с сестрой в Веймаре.

– За границей?!

– Ну, поскольку Веймара в России нет, то разумеется…

– Отчего вдруг?

– Обстоятельства принуждают. В Веймаре Аврора Демидова на девятом месяце, вот-вот родит и хочет присутствия кого-то из близких. Павел Николаевич продолжает хворать – кроме денег, помощи от него не дождешься. Словом, Милли отправится к ней. Там же будет вскоре и их младшая сестренка, вышедшая замуж за своего испанца. Словом, все как-нибудь уладится.

– Что уладится? – продолжал выпытывать Михаил.

– Ах, какой вы настырный. Сказала: не раскрою тайны.

– Ну, хоть намекните.

– Даже не просите.

– Ну, хотя бы жестом.

Карамзина, взглянув на него иронически, согнула и расставила ноги, потом описала полукруг перед животом и покачала на руках воображаемого ребенка.

Поэт опешил.

– Вы хотите сказать?..

Софья Николаевна качнула головой.

– Ничего я не хочу сказать. И закончим на этом. – Она повернулась и поспешно ушла.

Лермонтов стоял, словно молнией пораженный. Мусина-Пушкина беременна? Неужели от него?

От растерянности он не знал, плакать или смеяться.

2

Украинка Мария Алексеевна Штерич в 17 лет вышла замуж за князя Щербатова – он был старше ее и намного богаче. Родила сына и готова была терпеть вздорный и неуравновешенный характер супруга, если бы не его скоропостижная смерть. Брак продлился не более года. Таким образом 18-летняя дама превратилась в молодую вдову. Она стала выходить в свет, привлекая внимание окружавших мужчин. В том числе и Лермонтова.

Он писал ей стихи в альбом. Например, такие:

*На светские цепи,*
*На блеск утомительный бала*
*Цветущие степи*
*Украйны она променяла,*
*Но юга родного*
*На ней сохранилась примета*
*Среди ледяного,*
*Среди беспощадного света.*
*Как ночи Украйны,*
*В мерцании звезд незакатных,*
*Исполнены тайны*
*Слова ее уст ароматных,*
*Прозрачны и сини,*
*Как небо тех стран, ее глазки,*
*Как ветер пустыни,*
*И нежат, и жгут ее ласки.*
*И зреющей сливы*

*Румянец на щечках пушистых,*
*И солнца оливы*
*Играют в кудрях золотистых.*
*От дерзкого взора*
*В ней страсти не вспыхнут пожаром,*
*Полюбит не скоро,*
*Зато не разлюбит уж даром.*

Они поначалу виделись изредка у Карамзиных. Однажды, после чтения Лермонтовым новой редакции «Демона», Мария простодушно призналась: «Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полетать за облака». Это было равнозначно признанию в любви. Михаил сделал вид, будто не понял. Но для себя решил: если что, сделает предложение и женится на ней. А пока поддерживал теплые дружеские отношения. И уже летом 1839 года, после разрыва с Мусиной-Пушкиной, стал ездить к Марии на дачу в Павловск.

От Царского Села до Павловска – пять минут на поезде или четверть часа верхом. Михаил предпочел поехать верхом, с удовольствием вдыхая запахи скошенной травы и яблок в многочисленных фруктовых садах, вдоль которых пролегал путь. По берегу реки Славянки, рядом с резиденцией великого князя Михаила Павловича, растянулись дачные домики. Павловск считался более модной дачной местностью, чем Царское Село, цены здесь были выше.

Мария отдыхала за городом с бабушкой и сыном. Сын капризничал и часто плакал. Бабушка (мать отца), Серафима Ивановна Штерич, управляла хозяйством и командовала внучкой; и хотя внешне представляла собой полную противоположность бабушки Лермонтова – небольшого роста, милая, женственная – в суровости нрава ей нисколько не уступала. Мария ее боялась.

Павловск выглядел веселее Царского Села – на вокзале играл оркестр, по реке дачники катались на лодках. Домик Штеричей-Щербатовых выходил окнами на Славянку, и по деревянным ступенькам можно было спуститься к воде. Лермонтов увидел Марию с удочкой – она стояла на мостках в белой широкополой шляпе, кремовом платье и кожаных калошах, чтобы не промочить ноги. Михаил спешился, привязал к заборчику лошадь (это был уже другой жеребец, купленный им у Хомутова, звавшийся Парадер) и подошел к молодой вдовушке. Произнес игриво:

– Ну и что, клюет?

Она вздрогнула и растерянно обернулась.

– Боже мой, Михаил Юрьевич, как вы меня напугали.

Он поцеловал ее руку, пахнущую рыбой.

– Миль пардон, это вышло случайно. Я просто не ожидал, что княгини любят ловить рыбу.

Мария покраснела.

– Да, вот представьте, обожаю. С детства. – Она показала ведерко. – Смотрите: три карасика, окунек и ершик. Неплохая выйдет ушица.

– Сами варите?

– Нет, что вы, помилуйте. Отдаю кухарке. Впрочем, при желании и сама могу.

– Можно посидеть рядом с вами?

– Конечно, только я уже ухожу: полдень близко, а какая ловля после полудня. Милости прошу в дом.

– Ничего, что не известил о своем приезде? Бабушка не станет ругаться?

– Пустяки, я же приглашала вас давеча у Карамзиных.

– Но она как будто от меня не в восторге?

– Серафима Ивановна – человек настроения. Если встала с головной болью – все не так, и все глупые. А когда пребывает в веселости – рада каждому гостю.

– Что же нынче – головная боль или веселость?

– Я пока не знаю – вышла из дому затемно.

Они поднялись по ступенькам, Михаил нес ведерко и удочку. В палисаднике на него набросилась собачонка, но Мария прогнала ее, разговаривая, словно с кошкой:

– Брысь отсюда, Пенка, а не то у меня получишь.

– Отчего Пенка? – удивился Лермонтов.

– Оттого что противная, как пенки на молоке. – Мария рассмеялась. – Это не наш песик, а хозяйский.

На веранде увидели Серафиму Ивановну: с девушкой-служанкой она разбирала принесенные из леса грибы. Бабушка не выразила ни особых восторгов, ни особой печали от визита поэта. Сдержанно кивнула.

– Проходите, располагайтесь, мы обедаем в два часа. Дотерпите?

– Я вовсе не голоден.

– Может быть, наливочки? Я сама готовила.

– Разве что рюмочку.

– Больше и не дам.

Девушка принесла на серебряном подносике три рюмки – Марии, бабушке и гостю. Чокнулись и выпили со словами: «Будем здоровы!» Наливка из клюквы оказалась ароматной и сладкой, больше похожей на ликер.

Серафима Ивановна вместе со служанкой удалилась на

кухню, а Мария села в легкое плетеное кресло и, немного помявшись, произнесла:

– Я должна вас предупредить… чтоб не вышло никакого конфуза… к двум часам ожидаем еще гостей.

– Вот как? И кого же, если не секрет?

– Несколько молодых французов из посольства.

Лермонтов поморщился.

– Опять этот Барант!

Он имел в виду Эрнеста де Баранта – сына французского посланника в России. Тот на всех балах недвусмысленно ухаживал за княгиней Щербатовой и, по слухам, собирался сделать ей предложение.

– Вы ревнуете, Михаил Юрьевич?

Поэт пожал плечами.

– Нет, пожалуй. Оттого что не вижу в нем соперника.

– В самом деле?

– Вам не может нравиться этот хлыщ. Он фат и позер. Насколько его папаша, господин посланник, образован, умен и приятен в общении, что невольно удивляешься, как это он воспитал такого болвана.

Мария возразила:

– Вы несправедливы к Эрнесту. Просто он еще петушок – кукарекает, хорохорится. Повзрослеет и поумнеет.

– Ну, надейтесь, надейтесь. – Михаил задумался. – Тогда, может, я некстати? Может, мне уехать?

– Глупости какие! Я, наоборот, очень рада вашему визиту, не так скучно будет с этими господами.

– А зачем тогда их позвали?

– Они сами напросились. Отказать было неловко.

– Отказать неловко, а терпеть их присутствие ловко. Впрочем, это не мое дело. Вам виднее.

– Ну, не дуйтесь, Михаил Юрьевич. Вы же знаете, как хорошо я к вам отношусь. Пусть Эрнест завидует. – Она посмотрела на него с некоторым вызовом.

Лермонтов воспрянул духом.

– Хорошо! – Он наклонился и поцеловал ей руку. – Вы меня утешили.

Де Барант появился вместе с приятелями ближе к обеду. Первого друга звали Жюльен – с волосами до плеч и повадками гомосексуалиста, а второго – Марк, его отличала преувеличенная веселость, говорливость, шумливость – было впечатление, что он нанюхался какого-то наркотического вещества. Все трое раскланялись с Лермонтовым. Эрнест сказал по-французски:

– Поэт нас опередил.

Михаил усмехнулся.

– В нашей стране зевать не рекомендуется: только зазевался – или обобрали, или зарезали.

Марк захохотал и захлопал в ладоши от восторга.

– Как точно подмечено! Надо записать.

Де Барант хмыкнул.

– Вы не любите свою родину?

– Отчего же, люблю.

– И при этом отзываетесь о ней так нелестно?

– Просто я знаю все ее пороки. А любовь к родине заключается вовсе не в том, чтобы делать вид, что пороков нет, а наоборот, чтобы прямо говорить о них и стараться преодолевать.

Сдвинув брови, Жюльен обратился к Марку:

– Как-то мудрено. Ты в этой тираде что-нибудь понял?

– Ах, любовь моя, не старайся вникать в философские рассуждения. Ты для них не создан, – Марк погладил друга по ухоженной руке.

– Давайте лучше выпьем? – предложил Лермонтов. – Потому что иначе мы так и будем бессмысленно пикироваться. Есть ли, Мария Алексеевна, в вашем доме водка?

Княгиня кивнула.

– Как не быть? Держим для гостей-мужчин. Я сейчас распоряжусь. – Она вышла.

Глядя вслед вдове, сын французского посланника поцокал языком.

– Прелесть, прелесть. Настоящая русская красавица.

– А по мне, так француженки лучше, – возразил Марк.

– Ты бы вообще молчал со своими вкусами, – бросил Эрнест.

– Ты на что намекаешь?

– Да на то, что все и так знают. А насчет француженок я могу сказать: нет у них русской душевности и открытости, только деньги на уме. Если бы не отец, я сделал бы Мари предложение.

Лермонтов не понял.

– Господин посланник будет возражать?

– Он большой патриот. И считает, что в чужих странах можно крутить романы, но не жениться.

– Значит, вы со Щербатовой крутите роман?

– Так же, как и вы, мсье поэт.

– У меня на нее серьезные виды. И никто мне не запретит на ней жениться.

Де Барант покраснел:

– Я прошу вас не шутить на мой счет…

– И не думал вовсе, – округлил глаза Михаил.

– …и не задевать мою честь. Я сумею за нее постоять.

– Ах, Эрнесто, славный мой, перестань сердиться, – попросил друга Марк. – Злость тебе не идет. Правда, Жюль?

– Не идет, – согласился тот и совсем по-женски поправил волосы. – Потому как от злости разливается желчь. Бывший мой дружок Пьер Фондю – помнишь его, Марк? – умер от разрыва желчного пузыря. Это было ужасно! Я так плакал!

– Кретины, – выругался Эрнест.

В этот момент появилась княгиня в сопровождении девушки, которая несла поднос, где стояли хрустальный графинчик, четыре рюмки и чашка с малосольными корнишонами.

– Поставь, Липочка, и можешь идти.

Как гостеприимная хозяйка Мария разлила сама. Марк спросил по-французски:

– Мадам не составит нам компанию?

Она, улыбнувшись, покачала отрицательно головой.

– Нет, мсье, я не пью водки. За обедом только наливочку как аперитив.

– Что ж, тогда мы выпьем за ваше здоровье. Жюль, ты закусывай, мой хороший. А не то тебя опять развезет, как в прошлый раз.

– Знаю, знаю, не маленький.

Выпив водки, Лермонтов не угомонился, а наоборот, стал цеплять де Баранта и его дружков еще больше. За обедом ехидно сказал:

– Господам из Франции, видимо, наша еда не по нутру. Им, поди, устриц подавай и жаркое из лягушачьих лапок? А от щей и каш с черным хлебом может прошибить несварение, говоря по-русски, понос?

– Как не стыдно, Михаил Юрьевич! – упрекнула Мария.

– Qu'est-ce que c'est «le ponos»? [48] – спросил Жюльен.

Михаил невозмутимо ответил по-русски:

– Это то, что у тебя в голове, дурень, но в России может хлестать с обратной стороны.

Серафима Ивановна, хохоча, умоляла корнета прекратить неприличные шутки. У Эрнеста вытянулось лицо.

– Мсье поэт пользуется тем, что наши познания в русском языке недостаточно глубоки, и, по-видимому, смеется над нами? Это не слишком порядочно с его стороны.

– Что вы, что вы, – нарочито оправдывался Лермонтов по-французски, – я и не думал затрагивать вашу честь. – Затем переходил на русский: – Невозможно затронуть то, чего нет. – И опять по-французски: – Ваши подозрения ни на чем не основаны.

Де Барант не поверил.

– Я подозреваю, что насмешка все же прозвучала. И жалею,

что в России запрещены дуэли.

Лермонтов взглянул на него с презрением.

– Неужели мсье меня бы вызвал?

– Несомненно.

– Так попробуйте. Нет в России такого закона, который нельзя было бы нарушить.

– Ах, оставьте эти глупые ссоры, господа, – самым решительным образом заявила Серафима Ивановна. – А тем более у меня в доме. Михаил Юрьевич, очень вас прошу соблюдать приличия.

Молодой человек хмыкнул.

– Я, по-вашему, недостойно себя веду?

– Вы пьяны и поэтому говорите вздор.

– Я, по-вашему, пьян?

– Да, пьяны.

– Это вы, Серафима Ивановна, говорите вздор.

Старушка возмутилась.

– Сударь, вы мой гость и имейте такт не грубить хозяйке.

– Я, по-вашему, не имею такта?

– Ни в малейшей степени.

– По какому праву вы меня оскорбляете, сударыня?

– По такому. Вас вообще сюда никто не звал.

Вытащив салфетку у себя из-за ворота, Лермонтов с досадой швырнул ее на стол.

– Меня приглашала госпожа княгиня. Это к слову. Но гневить вас более не намерен. И поэтому покидаю ваш не слишком гостеприимный дом. Наслаждайтесь обществом галльских педерастов.

– Михаил Юрьевич! – вырвалось у Марии. – Как вам не совестно?

– Совестно? Мне? – усмехнулся он. – Им не совестно, а мне совестно? Значит, у нас разные понятия о совести, уважаемая Мария Алексеевна. – Коротко кивнув, Лермонтов покинул веранду и пошел по ступенькам вниз к своей лошади.

– Подождите! – послышалось у него за спиной. – Да остановитесь же, наконец! Пожалуйста!

Мария догнала его и взяла за руку. Он угрюмо взглянул на нее.

– Некрасиво бросать гостей, мадам. А тем более таких именитых.

Но, увидев слезы у нее на глазах, осекся.

– Прекратите же свои зубоскальства, – с болью прошептала княгиня. – Я хочу сказать… я хочу сказать, что ценю вас намного больше этих французов… Не сердитесь на меня и на бабушку.

Умоляю, не обижайтесь.

Михаил смягчился.

– Хорошо, не стану. Все забыто.

– Может быть, вернетесь?

– Нет, и не просите. А то действительно все кончится дуэлью. Лучше мы увидимся с вами у Карамзиных.

– Я собиралась к ним послезавтра к вечеру.

– Постараюсь не опоздать.

Он склонился и поцеловал ей руку. А она провела ладонью по его волосам и тихо проговорила:

– Берегите себя, пожалуйста. Вы мне очень, очень дороги.

На лице у поэта расцвела улыбка.

– Вы мне тоже очень, очень.

Он вскочил в седло и, махнув рукой, ускакал.

3

В октябре у великого князя Михаила Павловича поднялась температура, он постоянно чихал и кашлял. Его супруга – великая княгиня Елена Павловна (до замужества принцесса Вюртенбергская Фредерика Шарлотта Мария) – по совету лейб-медика его величества заставляла мужа пить горячий чай с лимоном и медом и дышать над кастрюлей свежесваренного картофеля. Михаил Павлович спорил, говорил, что все это ерунда, надо выпить водки с хреном и солью, курить табак покрепче, и хворобу как рукой снимет, но скрепя сердце выполнял предписания доктора. Впрочем, соблюдать постельный режим он наотрез отказался и ходил по Михайловскому дворцу в ночном колпаке и ночной рубашке, на которую была надета дубленая меховая безрукавка. В этом виде и застал его старший брат – император Николай Павлович, приехавший проведать захворавшего Мишу. Тот сконфузился, велел принести ему мундир с сапогами, но брат только посмеялся.

– Полно, дорогой, что ты смущаешься, будто я не родич тебе. Сядем, поболтаем по-дружески.

– Весьма рад и польщен… Может, чаю? Или чего покрепче?

– Не хочу, не беспокойся.

Разница у братьев была всего лишь в два года. Прежний монарх, Александр I, годился им в отцы, старше на целых двадцать лет. Тем не менее Николай казался намного взрослее Михаила, на висках пробивалась седина, под глазами собирались мешки. У младшего же на лице – ни морщинки, словно ему не исполнилось сорок.

– Напугал меня лейб-медик – мол, великий князь очень плох. Я приехал, а гляжу – ничего серьезного. Просто просквозило, с кем не бывает по осени.

– Все врачи – шарлатаны, – отозвался младший брат. – Я, когда лечился в позапрошлом году в Карлсбаде, кроме вод никаких лекарств и не принимал. Надо лечиться лишь природными средствами, здоровее будешь.

Николай Павлович согласился.

– Да, врачи нужны только женщинам. Вечно у них то мигрень, то стреляет где-нибудь, то нервы. Да еще и роды. А мужчина, тем более военный, должен не болеть и не думать о болячках. Чуть задумался – сразу хоть святых выноси.

– Сущая правда, Николя.

– К именинам должен поправиться.

– К именинам непременно поправлюсь.

– Получил я твои бумаги о награждении офицеров и повышении в званиях. Нескольких вычеркнул.

Михаил Павлович удивился.

– Отчего так? Я не представлял недостойных.

– Да? А Трубецкой? Шалопай, повеса. Место его на Кавказе, а не в наградных.

– Ну, допустим. А еще?

– Лермонтов. Ты забыл историю с детской саблей?

– Не забыл, конечно, но с тех пор он служит исправно и о нем я слышал только хвалебные отзывы.

– Говорят, обрюхатил Мусину-Пушкину.

– Кто говорит?

– Александр Христофорович. Сведения его точные. Муж отправил неверную жену за границу – там ее сестра, Аврора Демидова, родила мальчика. И Эмилия тоже рожать будет вдалеке от светских сплетен Петербурга.

– Да откуда же Александр Христофорович знает, что ребенок от Лермонтова? Нешто свечку при сем держал? – усмехнулся великий князь.

Николай Павлович хохотнул.

– Может, и держал – у него работа такая, наблюдать за всеми.

Младший брат продолжил:

– Даже если и от Лермонтова – что сие меняет? Он гусар, мужчина холостой. Мы с тобой женатые, а и то бывает…

Император насупился.

– Те-те-те, братец, говори, да не заговаривайся.

– Миль пардон, ваше императорское величество. Только я считаю, что Лермонтов достоин звания поручика.

Старший брат отступил.

– Хорошо, я еще подумаю.

Перешли на другие темы. Разговор продолжался часа полтора. Собираясь уезжать, император еще раз пожелал брату

скорейшего выздоровления, а тот напомнил:

– Я прошу не вычеркивать Лермонтова из списков.

Николай Павлович огрызнулся незлобно:

– Дался тебе этот щелкопер! Если бы писал что хорошее, а то ведь так – подражания лорду Байрону, не более.

– Нет, его прозаические вещи очень недурны.

– А по-моему, чрезвычайно дурны – не по стилю, а по сути. Философия глупая, и герои скверные.

– Просто ты не хочешь простить ему те стишки по поводу смерти Пушкина.

Но монарх только отмахнулся.

– Вот еще, придумал! Стану я помнить о всяких мелких пакостях.

Но в конце концов он не пошел на обострение отношений с братом и своим высочайшим указом присвоил Лермонтову следующее звание.

4

Осень в Веймаре была тихая, безмятежная, теплая. Неширокая речка Ильм огибала городской парк, по преданию, спланированный самим Гете. В Веймаре он жил и работал, здесь и умер. Под ногами Мусиной-Пушкиной шуршали желтые листья. Так же, как она, тут гуляли Гете и Шиллер. Гете заведовал местным театром, Шиллер писал для него пьесы. В замке Бельведер и особняке фон Штейна жила великая княжна Мария Павловна – старшая сестра императора Николая I, вышедшая замуж за местного герцога. Иногда она гуляла с внуками в парке и однажды подошла к Эмилии Карловне: та сидела на лавочке и читала книгу. Обратилась по-русски:

– Добрый день. Вы сестра Авроры Демидовой?

Мусина-Пушкина поклонилась.

– Совершенно верно, ваше высочество.

– Я узнала вас – мы когда-то виделись в Баден-Бадене. Как себя чувствует Аврора Карловна?

– Хорошо, спасибо. Новорожденный слабенький, но врачи говорят, что опасности для жизни нет.

– А здоровье Павла Николаевича не лучше?

– К сожалению, похвастаться нечем. Вероятно, зиму проведем в Майнце – доктора советуют ему продолжать лечение в Висбадене.

– Понимаю. Но пока вы не уехали – приходите в нашу домовую церковь Марии Магдалины. Протоиерей Никита Ясновский очень проникновенно читает проповеди. Он у меня и библиотекарь. Захотите что-нибудь почитать – милости прошу.

– С превеликим удовольствием.

– Не стесняйтесь, я всегда рада соотечественникам. Чтобы окончательно не онемечиться. И хочу, чтобы внуки понимали по-русски. – Она посмотрела изучающе. – Вы ведь тоже ждете ребенка?

– Да, я на пятом месяце, – покраснела Эмилия Карловна.

– Значит, роды в марте?

– Нет, предположительно в начале апреля.

– Это все равно. Если возвратитесь из Майнца в Веймар, я вам посоветую хорошего акушера. Он хотя и старик, ему около семидесяти лет, принимал еще моих дочерей и сына, но успешно практикует до сих пор. Прославился тем, что у него ни одна из рожениц не умерла.

– Ваша доброта безгранична.

– Я люблю Аврору и Павла Николаевича и готова оказать знаки внимания также вам. Заходите по-свойски.

– Обязательно зайду.

К сожалению, дружба продлилась недолго – в первых числах декабря семейство Демидовых переехало в Майнц. Вот что писала Эмилия Карловна своей младшей сестре Алине в Стокгольм, где та жила с мужем – послом Испании в Швеции:

...

*«Милая сестренка!*

*Я надеюсь, ты и твой супруг пребываете в здравии. Жаль, что не смогли навестить нас в Веймаре – славном городке, приютившем наше семейство с чудной теплотой. Вспоминаю о нем с неизбывной нежностью.*

*Майнц мне нравится много меньше. Он какой-то средневеково-скучный, хмурый, весь в себе. А Висбаден – наоборот, чересчур разгульный, шумный, от него болит голова. Впрочем, это субъективное ощущение.*

*Мне теперь все немило. Эту беременность я переношу крайне тяжело. Чувствую себя скверно и впадаю в крайности – то все время хочется пить и есть, то наоборот –*

*аппетита нет, от всего мутит. Выхожу из дома нечасто – неприлично большой живот, я боялась даже, уж не двойня ли, но меня слушал местный доктор и сказал: бьется только одно сердечко.*

*Павлу Николаевичу не становится лучше, страшная одышка, еле ходит сам и, пройдя несколько шагов, весь в испарине. Мы с Аврорушкой готовимся к худшему. А зато Паша-маленький подокреп и поздоровел, улыбается и агукает весело. Мы ему не нарадуемся, дай Бог ему здоровья!*

*Все, заканчиваю писать – так устала, что перо валится из рук. Отвечай мне скорее, мне так одиноко бывает, и Владимир Алексеевич пишет из России чрезвычайно редко, только сообщая о здоровье детей. И других вестей не имею из Петербурга. А Карамзина и Додо куда-то пропали, им не до меня, видимо. Так хочу домой – просто выть готова!*

*Обнимаю, целую, твоя Милли».*

5

Новый, 1840 год, Лермонтов вначале встретил у Карамзиных, где хотел увидеться со Щербатовой, но она не приехала. Затем вместе с Вяземским перебрался к Одоевским (Федор Сергеевич приходился двоюродным братом Александру Ивановичу, декабристу, умершему на Кавказе), у них традиционно собиралась пишущая братия – журналисты и писатели: пили пунш и перемывали косточки светским львам и львицам. Федор Сергеевич сообщил Михаилу, что сегодня вечером он собирается на прием во французское посольство и уж там-то Щербатова будет наверняка.

– Да, но ведь я к французам не приглашен, – отозвался новоиспеченный поручик.

– Это дело решаемое, – уверенно ответил Вяземский. – Я сейчас напишу барону де Баранту, и тебя пригласят.

– Сомневаюсь. Он наверняка знает о моих скверных

отношениях с его сыном Эрнестом.

– Ничего. Своего сына барон считает пустым мальчишкой и вертопрахом и не станет прислушиваться к его мнению. А тебя знает и не раз выражал восхищение твоей поэзией.

– Хорошо, попытаться можно.

И действительно: не успел поэт заявиться под утро к себе домой, как Андрей Иванович подал ему конверт с напечатанным на нем гербом Франции. Господин посол имел честь пригласить поручика Лермонтова на торжественный прием по случаю наступления Нового года. Михаил вздохнул.

– Эх, не избежать мне стычки с этим фалалеем. Впрочем, может быть, под боком у папочки он будет вести себя поскромнее.

У поэта слипались глаза, и, велев слуге разбудить его после полудня, а за это время привести в порядок парадный мундир, завалился спать.

Добираться до здания, где располагалось французское посольство (Миллионная улица, 25), было недалеко – по Большой Морской в сторону Марсова поля. У парадного подъезда сменяли друг друга позолоченные сани: высшая знать удостаивала вниманием представителей великой державы; многие покупали виллы в Ницце и Каннах. Не имея богатых саней для выезда, Лермонтов приехал на скромных со своим кучером, но оставил их раньше на квартал, чтобы не позориться, и пошел пешком. Предъявил приглашение, и его впустили. Скинул шинель и фуражку, постоял, пока лакей веничком сметал снег с сапог, дал ему на чай. По широкой лестнице, устланной ковром, не спеша поднялся в зеркальную залу. Народу было видимо-невидимо. Музыканты играли, сидя на балкончике, но никто не танцевал – это был прием, а не бал. Подавали шампанское, канапе на шпажках, фрукты и мороженое. Михаил прошелся по зале взад-вперед, затем по кругу, но Щербатовой не увидел. Он направился в диванную, где курили мужчины. Сразу столкнулся с Эрнестом де Барантом. Француз очень удивился.

– Как, вы тоже здесь?

– Коли вы верите своим глазам, сударь.

– Понимаю: отец восхищается вашей поэзией. Я не столь силен в русском языке и оценить ее по достоинству не могу. Но скажите, правда ли, что в стихотворении на смерть Пушкина вы уничижительно отзываетесь о французской нации?

– Ничего подобного. С чего вы взяли?

– Мне перевели. Вроде бы французы, по-вашему, совершенно не понимают русской культуры и убили русского гения.

– Вам перевели извращенно. Эти слова у меня относятся только к одному человеку – Дантесу. Именно он не знал, на что

руку поднимал.

– Если так, то другое дело. Впрочем, согласитесь, Дантеса тоже можно понять. Предположим, вы живете в Париже, служите в русской миссии. И влюбляетесь в жену какого-нибудь француза. Он вас вызывает стреляться. Вы его убиваете. А потом выясняется, что убитый – гений Франции. Но для вас он просто соперник в жизни и на дуэли. Или я не прав?

Михаил усмехнулся.

– Просто вы рассуждаете как француз, а я как русский.

Эрнест продолжил:

– Или, скажем, мадам Щербатова. И вы, и я в нее влюблены. Чтобы разрешить этот спор, мы стреляемся. Я вас убиваю. Должен ли я думать, что вы тоже русский гений и поэтому вне законов чести?

Лермонтов перестал улыбаться и ответил хмуро:

– Я не гений и не выше законов чести. Так что если между нами случится ссора, а потом дуэль, можете стрелять не задумываясь. Как и я в вас. А уж там посмотрим, кто кого убьет.

Не покурив, Михаил коротко кивнул и покинул диванную комнату.

Без Щербатовой ему было скучно. Даже встреча с Вяземским не развеселила. Петр Андреевич, сидя в кресле, чистил серебряным ножичком яблоко. С некоторым самодовольством произнес:

– Ну, вот видите, шер ами, вас пригласили по моей просьбе, как я и обещал.

– К сожалению, Марии Алексеевны здесь нет.

– А, сие уж не в моей власти, голубчик. Да и на что сдалась вам эта хохлушка? Красива, не спорю, образованна и умна – несомненно, но уж очень молода и потому легкомысленна. Этим напоминает Наталью Николаевну Гончарову в юности. Получала удовольствие от любезностей светских хлыщей, плохо понимая, чем опасен свет. Это же клоака! Вот и получилось то, что получилось, обвинили бедняжку в супружеской неверности, высмеяли Пушкина. Гений защищался, как простой смертный. И погиб во цвете лет. Вы повторяете эти глупости. Слава богу, что Щербатова – не ваша жена. А не то назрела бы новая дуэль – ваша и Эрнеста.

– Может, и назреет еще, – зло бросил Лермонтов.

Вяземский едва не выронил яблоко.

– Вы с ума сошли! Не шутите так. Второй подобной смерти мы не переживем.

Михаил взял бокал шампанского, пригубил и задумчиво сказал:

– Переживете. Только бабушку жалко.

Петр Андреевич уставился на него сквозь очки.

– И не думайте даже. Заклинаю вас. Обещайте мне: никаких дуэлей.

Бывший корнет улыбнулся.

– Обещаю, что сегодня дуэли не будет. Все же Новый год и какие-то надежды на будущее. Но на большее время не могу зарекаться.

Вяземский с горечью покачал головой.

– Вы мальчишка! Как не совестно так себя вести при большом таланте? И трагический пример Пушкина ничему вас не учит.

– А кого вообще учат чужие примеры? Каждому нравится набивать шишки самому.

Лермонтов покинул Вяземского и почти сразу наткнулся на Ростопчину. Чокнулись бокалами, поздравили друг друга с наступившим Новым годом. Поэтесса затараторила: она собрала все свои лучшие стихи и на днях отнесет цензору на предмет издания книжки. А когда будет книжка у Лермонтова?

Он сказал рассеянно:

– Обещают в новом году… Вы не знаете, отчего не приехала Мэри?

От такой перемены темы у Додо появилось на лице недоумение.

– Я не знаю. У нее хворал Миша – может быть, поэтому? Неужели вы влюбились в Щербатову? Не успела Милли уехать…

Поэт насупился.

– Не упоминайте. Слишком тяжело. Я стараюсь клин выбить клином.

Ростопчина вздохнула.

– Ах, вы несчастный! И когда вы только угомонитесь?

– При жизни никогда. – Он комически сморщил нос. – А до смерти совсем немного осталось. Думаю, лет семь, не больше.

– Отчего вы так решили?

– У меня свои счеты.

– Вы несносный меланхолик!

Прогулявшись по зале и уже решив уезжать, Лермонтов неожиданно столкнулся с Валуевым – тот стоял около жены, кушавшей мороженое.

– О, Мишель! Как я рад встретиться с тобой. Хоть одно умное лицо среди этой серой массы.

– Ты мне льстишь: у меня сегодня лицо тоже не подарок.

– Неприятности?

– Мелкие. Это неважно. Как твои дела?

– Слава богу, неплохо. Жду очередной поездки с поручениями

в Европу.

– Собираешься ехать с Машей?

– Разумеется. Как я без нее?

Поэт поцеловал руку дочери Вяземского. Она сказала:

– Приходите к нам завтра. Многих гостей не ожидаем, будут только свои. – И помолчав, добавила: – Щербатова тоже обещала.

У него вспыхнул огонек в глазах.

– Неужели?

– Да, она кстати спрашивала про вас. Я ответила, что пошлю вам записку, но теперь приглашаю лично.

– Буду обязательно.

Михаил повеселел и решил на радостях выкурить трубку. Сел в диванной комнате, запалил табак и погрузился в клубы ароматного дыма. Как все хорошо обернулось: у Валуевых не будет этого француза, и никто не сможет помешать его общению с молодой княгиней. И неплохо бы прямо там объясниться в любви. А почему бы и нет? Если объявить их женихом и невестой, де Барант отступится несолоно хлебавши. Конечно, главное препятствие будет в бабушках – и ее, и его. К сожалению, он пока без бабушки, по сути, беден. А откуда же получить средства и на свадьбу, и на квартиру, и вообще на семейную жизнь? Нет, увы, видно свадьбе не бывать. Придется ограничиться исключительно флиртом, в лучшем случае – нумерами на углу Невского и Лиговки, у любезного Франца Ивановича. Но поедет ли туда Мэри? Ведь она не Милли, совершенно иной склад характера…

Его размышления прервал Краевский, заглянувший в курительную комнату.

– Ну, конечно, где еще можно найти гения российской словесности, как не тут, в байроновском одиночестве? У меня для тебя хорошая новость: перед самым Рождеством цензор пропустил твою «Тамань». Поздравляю! Будет во второй книжке «Отечественных записок».

Лермонтов просиял.

– Слава богу! Это превосходно. А «Казачья колыбельная»?

– Тоже. И подпишем обе вещицы твоей фамилией, а не псевдонимами или инициалами.

– Делай, как хочешь.

– За такой успех надо выпить. И вообще за все твои успехи в новом году.

– За мои и твои успехи. Я пишу, ты меня печатаешь, мы работаем вместе.

– Значит, за наши с тобой общие успехи…

Кучер был отпущен сразу по приезде и не ждал барина, поэтому Михаил, выйдя из посольства, пошел пешком. И не

пожалел: ночь стояла тихая, ясная, морозная, снег поскрипывал, фонари горели, а холодный воздух прочищал легкие и голову. За Невой, на Васильевском, запускали новогодние петарды, и они освещали небо серебристыми искрами.

– Завтра я ее увижу, – с удовольствием думал поэт. – Завтра все решится. Милли пожалеет о нашем разрыве. Я пошлю ей книжку моих стихов с ернической надписью. Или нет, не пошлю. Пусть сама купит, а потом разрыдается. Ждет ли она ребенка? Если да, то от кого? От меня? Вряд ли. Если жить с мужем и с любовником одновременно, можно ли сказать с точностью, от кого ребенок? Она сама сделала свой выбор. Как там в «Горе от ума» сказано: *«А вы! о Боже мой! кого себе избрали? Когда подумаю, кого вы предпочли! Зачем меня надеждой завлекали? Зачем мне прямо не сказали, что все прошедшее вы обратили в смех?!»* Ничего, ничего: хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я еще посмеюсь над тобой, Милли!

Подойдя к парадному, Михаил увидел свет в окнах своей квартиры. Бабушка не спала. Бросив шинель и фуражку на руки Андрею Ивановичу, он вошел в гостиную. Елизавета Алексеевна в кружевном чепце и очках сидела за столом и гадала на картах. Она подняла на внука встревоженные глаза.

– Карты говорят о скором расставании. Выпадут тебе и казенный дом, и дальняя дорога.

Лермонтов весело спросил:

– А марьяжный интерес?

Старушка не почувствовала иронии и ответила серьезно:

– Интереса не вижу. Хлопоты есть пустые. А внизу – одна чернота, посредине туз пик. Это очень скверно.

Он махнул рукой.

– Ах, оставьте, бабушка, ваши глупости. Вы ведь не гадалка, а карты врут.

– Нет, не говори, – она смешала расклад. – Год-то начался високосный. Да еще и в среду. А среда – день гаданий и вещих снов. Что-то сердце у меня заболело.

– Я накапаю вам ландышевых капель.

– Возьми в левой створке буфета. Ох, как тяжело! Я предчувствую что-то нехорошее.

– Что может быть нехорошего? – Он принялся считать капли: – Раз, два, три, четыре, пять…

– Или провинишься по службе, или женишься.

– …семь, восемь… вот последнее – не исключено… девять, десять.

– Так я и знала! Неужели Щербатова?

Протянув ей рюмку с лекарством, он повторил:

– Не исключено.

– Миша, умоляю тебя: только не Щербатова! Ты с ней намучаешься, она тебя до могилы доведет!

– Пейте и успокойтесь. Объяснений не было. Может, завтра, у Валуевых… Там посмотрим.

Выпив капли, Елизавета Алексеевна с горечью заключила:

– Эх! Не зря сердце ноет – високосный год!..

6

У Валуевых не только праздновали встречу Нового года, но и провожали Сержа Трубецкого на Кавказ. Он не унывал, хорохорился, говорил, что коль скоро не убьют, то вернется в чине майора и тогда уж уйдет в отставку. За него пили многие из «кружка шестнадцати» – Лермонтов, Монго, братья Шуваловы, князь Васильчиков… О последнем надо сказать особо: тайный осведомитель Бенкендорфа, доводился он сыном председателю Государственного совета и тем самым стоял выше остальных членов «кружка», но не задавался и не строил из себя человека особой касты. В 1839 году, завершив учебу в университете, сделался кандидатом права; именитый отец присмотрел для него неплохую должность в Министерстве юстиции, но наследника эта скучная работа в Петербурге не особенно вдохновляла – 22-летний, пылкий, он хотел реальных дел.

– Скоро встретимся, – говорил Васильчиков, чокаясь с Трубецким. – Еду на Кавказ вместе с бароном Ганом – будем создавать весь административный аппарат на очищенных территориях. Поднимать край до уровня остальной Российской империи. Приучать дикарей к цивилизации.

– Дай-то Бог, конечно, – ответил Валуев, – только вряд ли у вас получится. Русских на Кавказе не любят и считают врагами. Не одно поколение сменится, прежде чем кавказцы примут наши порядки. Если вообще примут.

– На Кавказе опасно, – поежилась Ростопчина. – Саша и Серж, вы только не лезьте под пули нарочно.

– Да какие пули! – усмехнулся Васильчиков. – Я сидеть буду в Ставрополе, вдалеке от военных действий. А в другие городки выезжать под солидным конвоем.

Лермонтов вздохнул.

– Я отчасти вам завидую, потому что Кавказ – моя слабость. Если бы не война, был бы лучший край на свете. Горы, воздух, реки, виноград… В идеале – жениться на горянке и прожить весь остаток жизни в этом раю земном.

– На горянке – понимаю, – согласился Монго. – На такой, как Бэла из твоей повести.

– Бэла, да…

– А сознайтесь, Мишель: ваша Бэла была навеяна личным опытом? – поинтересовалась Валуева.

Тот, помедлив, кивнул.

– Да, отчасти.

Его тут же забросали вопросами: кто она в реальности, как все происходило на самом деле? Поэт отнекивался, утверждал, что как таковой Бэлы не было, это собирательный образ.

– Говорят, что она напоминает Катю Нечволодову, ныне Федотову, – заявил Монго. – Мне рассказывали общие знакомые. Да, Маешка?

У Михаила на лице не дрогнул ни один мускул.

– В том числе и Катю… Господа, бросьте на меня наседать, все равно не скажу вам полной правды. Лучше объясните, отчего нет княгини Щербатовой?

– Написала, что нездорова, – отозвался Валуев. – Но, по-моему, просто опасается новых встреч с тобою.

– Да неужто? Я такой ужасный?

– Ей сказали, что ты имеешь намерение просить у нее руки. А она пока не желает выходить замуж за кого бы то ни было.

Лермонтов с досадой проговорил:

– Ерунда. Ничего такого у меня и в мыслях не было. Вы знаете, кого я люблю.

Общество многозначительно замолчало. Тишину прервала Додо:

– Кстати, я недавно получила письмо из Германии.

– Интересно! – воскликнула Маша Валуева. – От Милли?

– От нее. Живет в Майнце с сестрой и зятем. Лечатся водами Висбадена. Процедуры очень помогают. Павел Демидов начал самостоятельно ходить, а Эмилия избавилась от головокружений и дурноты, свойственной беременным.

– Значит, она действительно в положении? – задал вопрос один из Шуваловых.

– В том-то и интрига, – улыбнулся Васильчиков. – Оттого что беременна не от мужа.

– Ты-то почем знаешь? – исподлобья глянул на него Лермонтов.

– Слухами земля полнится. Муж узнал и вначале хотел отослать ее в деревню, в Ярославскую губернию, но она упросила его разрешить ей уехать к сестре в Германию. Возвратится ли – бог весть.

– Отчего же не возвратится?

– Если возвратится с ребенком на руках, то Владимир Алексеевич будет вынужден признать его своим, чтоб не делать скандала. А ему, согласитесь, совершать сие не слишком приятно.

– Нет, она возвратится, но без ребенка, – сообщила Ростопчина. – Мы с ней говорили накануне ее отъезда.

– Как так? – удивилась Маша.

– Либо оставит старшей сестре Авроре, либо младшей Алине – та живет в Стокгольме и пока своих детей не имеет.

– А кто на самом деле отец ребенка? – снова спросил Шувалов.

Все посмотрели на Михаила, но вслух никто ничего не произнес.

– Ты, Шувалов, слишком любопытен, – заметил Монго. – А ведь любопытной Варваре, между прочим, нос оторвали.

– Уж не ты ли был любовником Мусиной-Пушкиной? – продолжал упорствовать Шувалов.

– Может быть, может быть. Видишь, я нахожусь в меланхолии? Так что перестань действовать мне на нервы. Лучше выпьем за здоровье Эмилии Карловны с пожеланием благополучно разрешиться от бремени.

– Выпьем, выпьем!

Все сдвинули бокалы и рюмки, затем начали просить Лермонтова почитать новые стихи. Он поднялся, немного постоял, вроде размышляя о чем-то, но потом сел и сказал:

– Нет, простите, господа, чувствую я себя скверно. В голове полный ералаш. Не могу сосредоточиться. И вообще, пожалуй, я поеду. Надобно прилечь.

Общество набросилось на него, стало тормошить, уговаривать остаться, мол, гусары не должны подвергаться унынию и апатии. Но тот не уступал, согласился только выпить со всеми «на посошок» и удалился.

– Как это понять? – с недоумением спросил Шувалов. – Что с ним сделалось?

Васильчиков только покачал головой.

– Разве ты не знаешь, что Мишель без ума от Мусиной-Пушкиной?

– Боже мой, когда это было!

– Да не так давно, коль Эмилия еще на сносях.

– Ты хочешь сказать…

Их разговор прервала Мария Валуева:

– Господа, перестаньте сплетничать. Мы подробностей все равно никогда не узнаем. Разве что Додо разболтает. Но она, надеюсь, сохранит тайну своей подруги?

– Тайна – она и есть тайна, – подтвердила Ростопчина. – Если бы и знала, не сказала бы. Но на самом деле она даже мне не открыла, кто отец ребенка.

– Будто бы? – съехидничал Монго.

Поэтесса перекрестилась.
– Клянусь Матерью Небесной.
– Ну если Матерью, то конечно…
7

…

*«Милостивая государыня Мария Алексеевна.*

*До меня дошли слухи, будто Вы нарочно манкируете вечерами, где я должен присутствовать, ибо меня чураетесь. Так ли это? Если так, то позвольте диву даться: чем я заслужил сии немилости? Не обидел ли? Если нет, обещайте мне, что увидимся на одном из ближайших балов. Ваш надежный друг и поклонник Лермонтов».*

* * *

…

*«Досточтимый Михаил Юрьевич.*

*Как могли Вы поверить сплетням, будто я избегаю Вас? Каждое общение с Вами для меня бесценно. Дорожу Вашими стихами в моем альбоме и храню журналы с Вашими опусами. Много лет пройдет, мы умрем, и потомки вспомнят о нас только потому, что звезда российской словесности Лермонтов благосклонно дарил нам свою дружбу. Так и будет, поверьте. А балы часто пропускаю только потому, что на них чрезвычайно скучно; глупые поклонники раздражают меня, умных же раз-два*

*и обчелся. А еще Мишенька хворает – как его продуло с прошлой осени, так простуды преследуют одна за другой. С непременным жаром, красным горлышком, а затем и кашлем. Доктора рекомендуют смену климата, увезти из Петербурга в теплые края, например в Малороссию. Видимо, весной так и сделаем – а теперь, по морозам, в путешествие пускаться еще опаснее.*

*На обед к себе Вас не приглашаю: бабушка не любит Ваши посещения, и к тому же остается опасность вновь столкнуться с де Барантом – он захаживает нередко, набиваясь сам, а решиться отказать ему не хватает смелости. Чаще всего я бываю в доме у Лавалей. Там, конечно, общество тоже разношерстное, тот же де Барант и его скверные дружки, но увидеться можно, поболтать мило. Приходите, коли выкроите несколько часов.*

*Искренне почитающая Вас (и от слова «почести», и от слова «читать») М.Щ.».*

8

Весь конец января и почти половину февраля Лермонтов безвылазно находился в Царском Селе. Только пару раз навещал бабушку и срывался к Краевскому на полдня по вопросам новых публикаций, в том числе о выходе отдельной книжкой «Героя нашего времени», неизменно вечером возвращаясь в полк. Ни к Карамзиным, ни к Валуевым не заглядывал. Только в пятницу, 16 февраля, получил разрешение отсутствовать трое суток кряду.

Утренним поездом он прикатил в Петербург. На дворе была оттепель – около нуля, падал мокрый снег, по обочинам тротуаров кисли сугробы. Промочил ногу – видно, сапог где-то прохудился. Забежал к Елизавете Алексеевне, поцеловал в одутловатую дряблую щеку. Выслушал очередную порцию постоянных упреков – в легкомыслии и нежелании стать серьезным человеком, жалобы на здоровье и на скудные поступления из имений.

– Ты надолго в город?

– На три дня, бабулечка.

– Я надеюсь, этот вечер проведем вместе?

– Не сегодня. Завтра – обещаю. А сегодня я приглашен к Лавалям на бал.

– Ну, конечно: надеешься увидеться со Щербатовой.

– Как вы догадались?

– Я давно не видела тебя таким возбужденным.

– Просто я отвык от столичной жизни. Царское Село – все-таки провинция. Жизнь размеренная и неспешная. Один день похож на другой. В Петербурге же все иначе. Жизнь бурлит и все время преподносит сюрпризы.

– Ох, боюсь я твоих сюрпризов, Мишенька.

– Обещаю вести себя чинно-благородно. И высоконравственно.

– Вот болтун. Ну, ступай, балаболка. – Елизавета Алексеевна проводила внука грустным взглядом старого и больного человека.

Днем Михаил заехал к Краевскому, получил второй том «Отечественных записок», вышедший накануне, и просмотрел корректуру «Героя нашего времени». По дороге домой заглянул к Браницкому-Корчаку, тоже поручику лейб-гвардии Гусарского полка и участнику «кружка шестнадцати», попросил одолжить сто рублей до начала марта – времени, когда пришлют деньги из Тархан. Тот ответил, что сам находится в затруднении, но пятьдесят ссудил.

Вечером он отправился на бал к Лавалям. И, едва войдя, сразу увидел Марию Щербатову – на диване, стоявшем между двух вытянутых кверху окон. На княгине был изящный шелковый кринолин, узкий в талии и пышный возле щиколоток, рукава с буфами и открытые плечи, на запястьях – золотые браслеты, на шее – тонкое золотое ожерелье; волосы зачесаны гладко, сзади образуют толстые букли, сверху пришпилены три искусственные розы. Портили ее лишь румяна – немного перестаралась.

Лермонтов приблизился, шаркнул ножкой, поцеловал даме ручку. Мария благосклонно улыбнулась:

– Наконец-то мы встретились. Я уж не чаяла.

– Отчего же?

– Я посещала балы, а вас нет и нет.

– Пропадал на службе. Сегодня вырвался ненароком.

– Слава богу. Ваше присутствие, может быть, избавит меня от де Баранта.

– Надоел?

– О, не то слово. Ходит по пятам – и канючит о милости. Прямо хоть в Москву уезжай.

– Не тревожьтесь, я его осажу.

– Только, пожалуйста, никаких дуэлей.

– Нет охоты мараться.

Вместе прошли в буфетную, попросили принести чаю и бисквитов. Пили и смеялись от удовольствия.

– Я так рад с вами поболтать, Мэри. Вы единственный человек, кто удерживает меня в Петербурге, – так и подмывает написать прошение, чтобы перейти служить на Кавказ.

– Этого еще не хватало! Добровольная ссылка?

– Или избавление от многих проблем. Там мои друзья – Трубецкой, Раевский, Васильчиков и Мартынов; собираются ехать Серж Долгорукий, Фредерикс, Жерве. Даже Монго. Мне ли быть в стороне?

– Вы и так в стороне – ни один из них не имеет таких талантов, как ваши. Божий дар надо сохранять.

Он сказал нарочито небрежно:

– Для чего, коли я не могу жениться на той, кого люблю?

Мария опустила глаза.

– Кто же сия счастливица?

– Вы хотите сказать несчастная?

– Та, которую выбрал Лермонтов, самая счастливая.

– Та, которую выбрал Лермонтов, самая несчастная.

– Отчего?

– Оттого, что несу на плечах проклятие моих предков. Я, как Демон, не могу найти покоя – никогда, ни в чем и ни в ком. Приношу несчастья.

– Потому что не знаете радостей простой и мирной жизни в семье.

– Рад бы в рай, да грехи не пускают.

– Вы рискните.

– Как?

– Предложите своей избраннице руку и сердце – и посмотри́те, что будет.

– Вы так считаете?

– Я уверена.

Михаил задумчиво помешал ложечкой в чашке. Затем проговорил:

– Что ж, извольте. Драгоценная Мария Алексеевна, выходите за меня, коли пожелаете. – И взглянул на нее в упор.

Княгиня залилась краской, но просияла. Розовые губки сложились сердечком. Еле слышно ответила:

– Я согласна, Михаил Юрьевич.

Он оцепенел.

– Извините, не понял?

Она повторила громче:

– Я согласна выйти за вас и стать законной супругой.

– Вы не шутите? – произнес поручик испуганно.

– Нет, нисколько. А вы?

– Я, признаться, сказал это, чтобы испытать вас.

– Испытали. И что же?

– Вас не смущает отношение ко мне вашей бабушки?

– Нет, нимало. Я – вдова, независима, сама решаю свою судьбу.

– А где же мы будем жить?

– Где хотите. Можно снять квартиру, чтобы не зависеть от родичей. Можно уехать ко мне в Малороссию, если вы выйдете в отставку. Там и Мише-маленькому будет лучше.

Лермонтов какое-то время молчал, не зная, что сказать. Затем горестно спросил:

– Значит, вы согласны разделять все мои напасти? Мой несносный характер, вздорный нрав, муки творчества?

Щербатова ответила твердо:

– Да.

И посмотрела на него с умилением.

– Я тебя люблю, Миша.

Он схватил ее за руку.

– Я тебя обожаю, Мэри!

Михаил хотел поцеловать ее, но в этот момент рядом прозвучал голос:

– Что вы позволяете себе, сударь?

Это было сказано по-французски.

Оба вздрогнули и оглянулись: рядом с их столом стоял де Барант. Сын французского посланника продолжил:

– Уберите руки от мадам.

Михаил, продолжая сжимать ладонь Щербатовой, медленно поднялся.

– Кто вы такой, сударь, чтобы мне указывать?

– Я – ваш счастливый соперник.

– Мой счастливый соперник? – поэт рассмеялся. – Перед вашим приходом мы с княгиней объяснились и решили сочетаться узами законного брака.

– Вот как? – усмехнулся француз. – Но вчера Мария обещала выйти за меня.

Лермонтов взглянул на Щербатову. Та пролепетала:

– Это ложь. Ничего подобного не было и в помине.

Отпустив ее руку, он проговорил:

– Сударь, вы лжец и негодяй.

Де Барант насмешливо ответил:

– Если вы не трус и рискнете нарушить запрет царя на дуэли, можете принять мой вызов.

– Я его принимаю.

– В таком случае ждите моего секунданта.

– А вы – моего.

Они коротко раскланялись, и Эрнест удалился. Поэт с пылающими щеками медленно опустился на стул.

Мария прошептала:

– Боже, что вы наделали?

Глядя мимо нее, он отрезал:

– Ничего. Просто защитил вашу честь.

– Честь моя не запятнана, и ее защищать не надо. Поединок не должен состояться.

– Нет, теперь непременно состоится. Я не упущу случая, чтобы продырявить этого мерзавца.

– Я вам не позволю.

– Как сие возможно?

– Заявлю властям, и вас обоих арестуют.

– Донесете?

– Да.

– В результате его вышлют из России, а меня сошлют на Кавказ. Вы хотите этого?

– Нет, конечно.

– Тогда вы обязаны хранить молчание.

– Господи, да как же? – Она заломила руки. – Знать, что вы стреляетесь и, возможно, в итоге кто-то будет убит? Да еще из-за меня?!

Михаил криво улыбнулся.

– Вы за кого тревожитесь больше – за него, за меня или за себя?

– За всех.

– Хорошо, я обещаю, что буду стрелять в воздух. Если вы убедите в том же де Баранта, то никто не умрет.

– Клянусь.

– Что ж, договорились.

Он поднялся – совершенно спокойный и благодушный, словно сложившаяся ситуация ему нравилась. Вежливо кивнул, щелкнув каблуками, и спросил беззаботно:

– Я надеюсь, вы подарите мне тур вальса?

– Вальса? – она тоже поднялась и смотрела на него изумленно. – Вы способны танцевать после происшедшего?

– А что такое случилось? Мэри, бросьте переживать: мне еще отмерено, думаю, лет шесть. Так что все в порядке. Будем сегодня веселиться.

Щербатова прижала пальцы к вискам, словно пытаясь справиться с головной болью.

– Нет, не могу. У меня сердце не на месте.

– Ничего не будет, поверьте. Пойдемте, музыка играет.

– Нет, нет, Михаил Юрьевич. Я поеду домой.

– Вы меня бросаете?

– Я вас не бросаю, но и быть здесь сегодня более не могу.

– А еще говорили, что любите меня.

– Да, люблю, люблю, к сожалению.

– Отчего же «к сожалению»?

– Оттого, что это невыносимо! – И провожаемая любопытными взглядами, она вышла из буфетной.

Лермонтов постоял, покачался с каблука на носок и обратно, крякнул, подошел к стойке и спросил у буфетчика:

– А что, любезный, водка у тебя есть?

– Никак нет, ваше высокородие, крепче лафита ничего не велено подавать.

– Ну, налей лафиту, черт с тобой.

Он выпил рюмку, отщипнул виноградинку и пошел пригласить кого-нибудь на танец. Никакого волнения не испытывал. Ощущал себя человеком, после долгих размышлений и сомнений принявшим, наконец, единственно правильное решение.

9

Своим секундантом Лермонтов, разумеется, выбрал Монго. А кого же еще? Родственник, самый близкий друг. На него можно положиться и в бою, и в делах амурных. Тот, узнав причину дуэли, поддержал поэта по всем пунктам: а) Щербатова – хорошая партия, станет верной женой и отличной матерью будущим детишкам; б) де Барант – подлец, и его надо если не убить, то примерно постращать, пусть обделается во время дуэли.

Встретились с секундантом Эрнеста – им оказался виконт д'Англес: испанец, но французский подданный, он приехал в Россию с биологической экспедицией (изучение редких растений и насекомых). Виконт заявил, что поскольку его подопечный – обиженная сторона, то ему и следует выбирать оружие; таковым должны быть шпаги. Монго вступил в пререкания, но поручик осадил друга – шпаги так шпаги, это все равно, впрочем, пистолеты тоже надо взять.

– Назначайте время и место, – предложил д'Англес.

– Завтра в полдень, на Парголовской дороге за Черной речкой, – сказал Лермонтов.

У Столыпина вытянулось лицо.

– Ты сошел с ума?

– Что тебя смущает?

– Черная речка – там убили Пушкина.

– Именно поэтому. Отомщу французам.

Но приятель не согласился.

– Роковое место. Я бы не стал рисковать.

– Ерунда, оставим мистику. – Он кивнул виконту. – Вы не против, Рауль?

Тот пожал плечами.

– Мне, признаться, все равно. Я вообще не люблю дуэлей. Но коль скоро сын моего старинного друга де Баранта попросил меня об этой услуге, я не мог ему отказать. Будем ждать вас завтра там, где вы сказали.

– Мы не опоздаем.

Когда испано-француз удалился, друзья заказали шампанского и поехали к девочкам…

Утром следующего дня Михаил растолкал приятеля со словами:

– Поднимайся, давай, нам уже пора.

– Что, куда? – разлепил глаза еще не совсем протрезвевший Монго.

– Как – «куда»? На Черную речку.

– Для чего?

– У меня дуэль нынче.

Выругавшись по матушке, друг вскочил и начал торопливо одеваться. Посмотрел встревоженными глазами.

– Может, не поедем, Маешка? Черт с ним, с Барантом. Тоже мне, велика́ птица – честь ему оказывать!

– Едем, едем. Я давно решил.

– Так перерешай.

– Не подумаю.

Утро выдалось сырое, хмурое, под ногами чавкал раскисающий снег. На Столыпина было жалко смотреть – толком не проснувшийся, плохо выбритый, он нес в одной руке шпаги в ножнах, а в другой – коробку с дуэльными пистолетами-кухенрейтерами. Кучер запряг жеребца, и друзья в коляске покатили на Парголовскую дорогу. Лермонтов был спокоен, только непривычно серьезен, погружен в свои мысли. Монго снова начал:

– Передумай, прошу тебя. Время есть. Повернем оглобли – и поедем выпьем. У меня во рту и в желудке ужас что, самому противно. Ну, зачем жизнь свою ломать из-за этой французской сволочи? Право слово!

Поэт не отвечал.

– Ты слышишь меня, Маешка?

– Слышу, слышу.

– Ну, так повернем?

– Отстань. Я же говорю: ничего плохого не будет. По моим расчетам, мне на небеса еще рано.

Друг не унимался, продолжал ворчать:

– Может быть, тебе еще рано, а ему? Вдруг ты его убьешь? Ведь что получится – русский офицер заколол сына французского посланника! Мы с тобой в Сибири сгнием.

– Успокойся ты. Я Щербатовой обещал, что стрелять стану в воздух. А на шпагах – царапну не сильно. И она обещала, что уговорит де Баранта действовать так же.

– Ну, не знаю, не знаю, Миша, – мрачно бубнил Столыпин. – Все это ни к чему, и гораздо лучше возвратиться теперь домой.

Наконец приехали. Де Барант и д'Англес уже ждали. Сухо поздоровались, осмотрели оружие. Выбрали площадку – более-менее ровную, но покрытую серым снегом. Лермонтов почувствовал, что в сапог проникает талая вода и нога становится мокрой.

Верхнюю одежду скинули, чтобы она не мешала движениям. Секунданты поставили дуэлянтов друг против друга и скомандовали сходиться. Поначалу схватка не удавалась: де Барант осторожничал, нападал без рвения, Лермонтов отбивал удары и не наступал. После нескольких минут этой канители у Столыпина лопнуло терпение. Громко выругавшись, он проговорил:

– Господа, вы деретесь или нет? Я совсем озяб. Не хотите ли помириться?

Неожиданно француз сделал выпад, Михаил не отбил, и клинок оцарапал ему руку чуть ниже локтя. Разозлившись, поэт перешел в атаку, но его шпага попала в рукоятку шпаги де Баранта и переломилась. Секунданты сделали отмашку.

– Может, хватит? – по-французски спросил Монго.

– Я не против, – согласился д'Англес.

– Нет, продолжим, – возразил де Барант.

– Продолжаем, – зло поддержал Лермонтов.

Вынули дуэльные пистолеты. Секунданты осмотрели их и зарядили. Отсчитали положенные шаги и опять поставили соперников друг против друга. Правая нога Лермонтова стала совсем мокрой. Он повернулся боком и слегка прикрылся рукой, чтобы пуля противника не попала в сердце.

– Сходитесь!

Мокрый снег хлюпал под подошвами сапог.

Первым выстрелил де Барант и промахнулся.

Лермонтов криво улыбнулся и выпалил в воздух.

Монго прямо-таки подпрыгнул от удовольствия:

– Все, все, поединок закончен! Не угодно ли господам обменяться рукопожатием?

На лице француза не было ни радости, ни печали, лишь тонкие усики чуть подрагивали от нервного тика. Михаил же не скрывал веселости: схватка состоялась, правила соблюдены, и никто не умер. После сдержанных реверансов обе стороны разъехались.

По дороге домой Столыпин вел себя как ребенок: хохотал, крестился и толкал друга в бок.

– Надо это дело отметить. Ох, сейчас я налакаюсь! Просто до поросячьего визга. Пошалим, Маешка?

– Пошалим, пошалим, но позже. Вначале переоденемся, а то я весь мокрый. А затем мне надобно заехать к Краевскому и узнать насчет книжки. Он вчера отдавал в цензуру, и сегодня, несмотря на воскресный день, обещали уже вернуть.

Монго посмотрел на племянника с нескрываемым изумлением.

– Ну и выдержка у тебя, Мишель! Пережить такой страх Господен, совладать со своими нервами и думать о житейских делах! Восхищаюсь.

– Да какая там выдержка? Перестань, пожалуйста. Просто книжка для меня намного важнее этой идиотской дуэли.

– Ясно, что важнее. Но, с другой стороны, тебя на дуэли могли убить. Тоже мне – «неважно»!

– Да, могли, но ведь не убили. Я заранее знал, что не убьют, говорил тебе сразу. Разве это дуэль? Чепуха на постном масле.

– Пушкин тоже, наверное, так считал, а его убили.

– Нет, у Пушкина все было намного серьезнее.

Дядька Андрей Иванович, увидав молодого барина грязного и в мокрых сапогах, только ахнул.

– Да откуда ж вы такие, Михаил Юрьевич, Алексей Аркадьевич, заявилися? Места нету на вас сухого.

Лермонтов отмахнулся.

– А, стрелялись за городом.

– Господи Иисусе, как – стрелялися?

– Как стреляются? Пиф-паф. Только не сболтни бабушке. И вообще молчи, а то вдруг дойдет до начальства.

– Господи Иисусе, не дай Бог! – продолжал причитать слуга. – Буду нем, как рыба, вы не сумлевайтеся.

Но у Краевского Михаил не выдержал и сам поведал приятелю о дуэли. Тот ужаснулся.

– Что ты делаешь с собой, Миша? Для чего тебе эти приключения? Станешь ли ты когда-нибудь хоть немного

благоразумнее?

– Может быть, и стану, – улыбнулся поэт. – Ежели успею.

Цензор книжку вернул с разрешением печатать. Михаил на радостях выпил с друзьями шампанского. А потом со Столыпиным в кабаке добавил, но немного: вечером предстояло возвращаться в Царское Село.

Конец февраля и начало марта прошли спокойно. Обе стороны хранили молчание, и дуэль оставалась в тайне. Но, в конце концов, кто-то, видимо, проболтался. Потому что утром 11 марта в квартиру Лермонтова в Царском Селе заявились двое офицеров во главе с новым командиром полка – генерал-майором Плаутиным [49] . Он весь кипел от негодования, еле сдерживая себя.

– Господин поручик, вы арестованы.

Вытянувшись по струнке, тот спросил:

– Разрешите полюбопытствовать – за что?

– Ах, «за что»? – закричал Плаутин: – Он еще спрашивает, «за что»! Мальчишка! Пострелять охота? Так ужо на Кавказе постреляешь! – вздохнул и добавил тихо: – Миша, Миша, что же ты наделал, сынок?..

# Часть третья «Значит, будем стреляться!»

# Глава первая

1

Император любил брата Мишу и всегда снисходительно относился к его слабостям – нежеланию жениться до 27 лет, а затем к пренебрежению супружескими обязанностями (правда, несмотря на пренебрежение, у великого князя Михаила Павловича было пятеро законных дочерей и одна «на стороне»). Николаю нравились его рвение по службе, личная преданность и умение остроумно пошутить. Но на этот раз (беседа происходила 13 апреля 1840 года) посчитал решение Михаила о судьбе Лермонтова чересчур либеральным. Дело в том, что после следствия и суда было велено арестованного поэта держать три месяца в крепости, а затем перевести в дальний полк. Прочитав эту резолюцию, самодержец удивился:

– За дуэль всего три месяца крепости? Не пойдет ему впрок.

– Он уже раскаялся, уверяю тебя. Осознал ошибку.

– Осознал? – повернулся к брату монарх, и его глаза сделались колючими. – Так хорошо осознал, что едва не вызвал де Баранта повторно?

Михаил Павлович ответил миролюбиво:

– Несерьезно, Ники. Да, они встречались – де Барант навестил его в заключении – и опять поссорились. Но друзьям удалось усмирить обоих и услать француза из Петербурга на родину. А княгиня Щербатова, которая, собственно, и была предметом их распри, тоже укатила, к занедужившему родителю в Москву.

Император некоторое время думал, слегка пощипывая пальцами подбородок. Наконец сказал:

– Никаких трех месяцев в крепости не нужно. Сразу переведем на Кавказ в мушкетерскую роту Тенгинского полка.

У великого князя даже рот приоткрылся от удивления.

– Но ведь эта мушкетерская рота… в самой гуще боевых действий! Обновляем ее состав каждые два месяца, ибо горцы убивают наших людей десятками.

Николай Павлович хладнокровно кивнул.

– Знаю. Что с того?

– Но для Лермонтова это верная гибель.

– Не преувеличивай. Пусть покажет себя настоящим воином и поуворачивается от пуль и сабель. И тогда, может быть, заслужит мое прощение.

Михаил Павлович продолжал упорствовать.

– Но пойми, Ники, он не просто воин и не просто рядовой

дворянин. Он – талант, звезда, о которой говорит вся Россия. Да, характер – дрянь, на язык несдержан, потому как молод и бесшабашен: двадцать пять лет всего. Повзрослеет и образумится. Мы не можем его терять, направляя в пекло схваток.

Николай, глядя в сторону, не без раздражения проворчал:

– Это все эмоции, дорогой. Я читал и стихи его, и прозу. Неприятно, а порой даже мерзко. Мертвечиной веет. Нам нужны другие таланты – бодрые, жизнеутверждающие. Вот как Пушкин в лучших своих творениях. – Он встал, давая понять, что аудиенция окончена, и добавил мягче: – Не сердись и не жалей о пропащих душах. Подданных у нас сотня миллионов. Бабы еще нарожают – и Лермонтовых, и Пушкиных. А крамолу надо вырывать с корнем.

Поклонившись, великий князь произнес:

– Подчиняюсь воле вашего величества. Хоть и до конца не согласен с ней.

– Ну, не огорчай меня, братец. Мы с тобой должны быть едины в мыслях и поступках.

– Я стараюсь.

Но Михаил Павлович, конечно же, не смирился. И немедленно поделился своей заботой с цесаревичем Александром, наследником русского престола. Будущий монарх озабоченно выслушал любимого дядю и сказал с тревогой:

– Полностью разделяю твои мысли, но не знаю, право, как еще воздействовать на папа́. Он такой нетерпимый сделался в последнее время. Чуть не по его – сразу в крик.

– Знаю, знаю. А не поможет ли нам Мари?

– Нет, к сестре обращаться бесполезно. У нее, во-первых, все мысли о маленьком Саше – он родился слабенький, и врачи тревожатся за его жизнь. Во-вторых, она с Лермонтовым повздорила и теперь раздражается, как слышит его имя.

– Жаль, конечно. А твоя мама́? Ведь она в восторге от его стихов, это всем известно.

– Ох, боюсь, мама́ тоже нам не помощница. К сожалению, родители отдалились друг от друга и встречаются лишь за завтраком или за обедом. Он – в делах, а она – в театрах и на балах.

– Что же делать, мой дорогой?

– Посоветуйся с Бенкендорфом. Александр Христофорович обладает способностью убеждать папа́.

– Только не в нашем случае. Он с самого начала принял сторону де Баранта и хотел раздуть историю со второй, чудом не случившейся дуэлью. Еле удержали.

– Тогда, может, Нессельроде? Он же дипломат и умеет любое дело повернуть в свою пользу.

– Но весьма негативно относится к либеральным идеям и их носителям. Грибоедова погубил ничтоже сумняшеся. Нет, я не стал бы обращаться к Карлу Васильевичу.

– Получается, больше не к кому. Не к Нелидовой же. То есть, вероятно, папа́ и прислушался бы к мнению своей фаворитки, но просить Варвару о милости я не желаю. Да и ты, я думаю, тоже?

– Да, согласен, – завздыхал великий князь. – Все-таки попробуй сам как-нибудь при случае. На прогулке, в приватном разговоре. Может, государь подобреет и изменит свое решение.

– Попробую, дядя.

Они по-родственному обнялись.

– Ни черта не попробует, – зло думал Михаил Павлович. – Побоится навлекать на себя гнев отца.

– Вряд ли стоит даже пытаться, – в свою очередь размышлял Александр. – Если отказал даже брату, своему любимчику, то меня только отругает.

Тем дело и кончилось.

2

С предписанием немедленно выехать к месту назначения Лермонтов 20 апреля вышел из заключения. Сел в коляску, поданную Андреем Ивановичем, и сказал с улыбкой:

– Ну, готовься, дядька, к дальней дороге.

– Это, стал-быть, куда же, Михаил Юрьевич?

– Снова на Кавказ.

У слуги даже щеки ввалились.

– Как, опять? – Он перекрестился. – Да за что ж такая немилость, Господи?

– За дуэль, вестимо. Очень государь-император был рассержен. Ножками топал, ручками хлопал: «А сослать, – говорит, – поручика Лермонтова к такой-то матери!» Вот и закатали.

– Свят, свят, свят! Как же бабушка без вас будут?

Михаил развел руками.

– Да уж как-нибудь. Буду приезжать в отпуск. Коли не убьют. – И велел кучеру: – Трогай, голубчик: надобно к Краевскому. А потом домой.

У Андрея Александровича он получил экземпляры только что полученной из типографии книжки «Героя нашего времени». С умилением смотрел на обложку, перелистывал страницы и никак не мог оторваться – так отец любуется своим новорожденным первенцем. И вполуха слушал издателя: тот говорил, что расходится книжка превосходно, в первые три дня продали полторы тысячи, и пришлось допечатывать; в светских салонах только и разговоров, что о новинке; все на стороне Лермонтова –

против де Баранта – и переживают из-за назначения его на Кавказ.

– Да ты слушаешь ли меня, Мишель?

Поэт поднял на друга рассеянные глаза.

– Что? Прости, я отвлекся. Да, Кавказ… Ничего, как-нибудь переживем. Я предполагаю задержаться на этом свете еще, как минимум, лет на шесть.

– Не шути такими вещами, пожалуйста.

– Я и не шучу.

– Уж не Александра ли Филипповна Кирхгоф тебе нагадала?

– Нет, конечно. Я и не бывал у нее ни разу. Все ее гадания – это вздор. Сам все знаю про свою судьбу.

– Что же ты знаешь?

– А об этом – молчок.

Михаил взял с собой три пачки книг, перевязанные бечевкой. Объяснил: для подарков любимым людям. Краевский при этом пожевал губами, вроде размышляя, сообщать или нет, но все-таки сказал:

– Знаешь ли, княгиня Щербатова в Петербурге.

Лермонтов взглянул с интересом.

– Вот как? Она вернулась?

– К сожалению, да…

– Отчего «к сожалению»? Де Барант уехал, и столкнуться с ним у нее в доме мне не посчастливится.

– Оттого что возвратилась по печальному поводу.

– Бабушка?

– Нет, сын.

Охнув, поэт даже опустился на стул.

– Миша-маленький умер?

– Да, увы. Она оставляла ребенка на Серафиму Ивановну и нянек, а те чего-то недоглядели – пневмония, плеврит – и малыш скоропостижно скончался.

– Ах, бедняжка Мэри!

– Говорят, она все время плачет.

– Надо бы к ней заехать.

– Надо ли?

– Я сегодня вечером собираюсь к Карамзиным и спрошу у Софьи Николаевны. – Он снова встал, чтобы уйти, но замешкался уже у дверей. – А не знаешь ли ты что-нибудь об Эмилии?

Краевский сразу не понял.

– Ты о Мусиной-Пушкиной?

– Разумеется.

– Нет, не знаю. Видел самого́ в Благородном собрании – он как всегда, был благожелателен и учтив, никаких тревог на

физиономии.

– Что ему тревожиться! Не ему же рожать!

Михаил отправился домой. Бабушка встретила его на пороге гостиной – увидав, воскликнула:

– Похудел-то как! Смотреть не на что. Кожа да кости. – Обняла и всплакнула. – Я как чувствовала, Мишутка. И гадания были нехорошие.

– Не переживайте, ма гран-маман [50] , это все пустое. Лучше поглядите на книжку. Правда, хороша?

Но Елизавете Алексеевне было не до книг.

– Да, красивая, но она не заменит мне тебя.

– Отчего не заменит? Здесь моя душа и мысли. Тело бренно, а страницы, строчки, буквы сохранят мою душу навсегда.

– Одно сознание того, что опять ты будешь где-то далеко и в опасности, меня убивает.

– Так похлопочите – через Дубельта, через Жуковского – может, выйдет мне послабление?

– Ну, конечно: бабушка – похлопочи, а самому подумать, чтобы не ходить на дуэль, было недосуг?

– Я сражался за честь прекрасной дамы.

– Так ли она прекрасна, коли убежала, и не поддержала тебя, и не защитила в суде? Вот Бог и покарал ее смертью сына.

Лермонтов нахмурился.

– Вы несправедливы.

– Очень даже справедлива: так ей, паршивке, и надобно.

Вечером поехал к Карамзиным. Гости салона встретили его как героя, всячески поносили де Баранта, сожалели о решении императора, восхищались книжкой, новыми стихами в «Отечественных записках», желали скорейшего возвращения с Кавказа целым и невредимыми. Вяземский спросил:

– А Столыпину вашему присудили что-нибудь?

– Монго? Ничего серьезного. Государь-император только высказал, что тому негоже прохлаждаться в отставке и пора снова пойти послужить. Алексей в раздумье. Надевать мундир он не рвется, но ослушаться тоже не решается. Может быть, и встретимся на Кавказе.

Софья Николаевна отвела Михаила в сторону.

– Я хотела сказать об одной известной вам особе.

– Об особе М.-П.?

– Тсс, никаких имен и инициалов.

Он кивнул, опустив глаза.

– Родила благополучно. Девочка. Окрестила, как вы и желали, Марией.

– Господи! – Михаил отвернулся и прижал к глазам пальцы,

словно вдавливая назад слезы. – Дочка… дочка…

Карамзина снисходительно помолчала. Потом с улыбкой спросила:

– Счастливы?

Лермонтов глубоко дышал, сдерживая волнение. Наконец с трудом произнес:

– Счастлив и несчастлив одновременно… Счастлив, что это произошло и что она и дитя здоровы. Но плачу, что мы не можем быть вместе, что воспитываться ребенок будет не мной.

Она сочувственно потрепала его по руке.

– Ничего, ничего, голубчик. Мы предполагаем, а Бог располагает. Как-нибудь, вероятно устроится.

Окончательно успокоившись, Михаил повеселел.

– А не выпить ли нам шампанского?

– Я сейчас распоряжусь. Только не называйте истинного повода.

– Нет, конечно. Повод – мое освобождение из-под стражи.

Спустя какое-то время он присоединился к Евдокии Ростопчиной, разбиравшей новые сборники нот, принесенные ей из книжной лавки.

– Есть что-нибудь занятное?

– Да, прелестные вальсы композитора Штрауса. А вот этот – «Висячие мосты» – пользуется успехом по всей Европе. Даже королева Виктория ему рукоплескала.

– Хорошо. А расскажите, как там княгиня Щербатова. Можно ли ее навестить?

Покачав буклями, поэтесса ответила:

– Думаю, что нет: никого принимать она не хочет. И общается лишь со мною.

– Ну а вы спросите. Я, конечно, сам могу написать, но при вашем посредничестве выйдет тактичнее.

– Завтра же спрошу.

Дома он ворочался в постели чуть ли не до рассвета. Милли родила. Он отец? Или не отец? Может быть, ребенок от ее мужа? Но тогда она не стала бы называть малышку Марией, как хотел Лермонтов. Нет, скорее всего, от него. Вот бы посмотреть на младенца, хоть одним глазком, – и почувствовать волнение. Или не почувствовать. На кого девочка похожа? Есть ли сходство с ним хоть в чем-нибудь? Надо написать Милли. Анонимно – она поймет – и попросить Софью Карамзину, чтобы вложила в свое письмо.

Михаил выскользнул из-под одеяла и, набросив шлафрок на плечи, запалил свечу. Стал набрасывать черновик:

«Я узнал взволновавшую меня весть. Не могу поверить своему

счастью. Мне теперь ничего не страшно, и я поеду служить Отечеству без душевного трепета. Я не зря жил на свете. И не зря мучился. Как писал Пушкин: *«Нет, весь я не умру – душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит».* Кое-что оставил на земле. И кое-кого. Если Бог смилостивится, то еще увидимся».

Он отложил перо и задумался. Ну а как быть с княгиней Щербатовой? Продолжая отношения с ней, он будет изменять тем самым Мусиной-Пушкиной, предавать ее. Но Милли – чужая жена и определенно сказала, что не хочет ничего менять в своей жизни. Значит, и он вправе строить семейный союз с другой женщиной. Впрочем, какой союз, если в конце апреля, в крайнем случае в начале мая, он должен уехать из Петербурга? И вообще может не вернуться. Отчего же не получить последнее удовольствие?

Лермонтов задул свечу и лег под одеяло.

Спросил себя: кто ему ближе по-настоящему – Милли или Мэри? Безусловно, Милли. Он ее любит. И она мать его ребенка. То есть скорее всего его. Но Мэри любит его, и она ему нравится, он не прочь обвенчаться с ней в будущем. Не всегда мы женимся на тех, кого любим больше.

Или совсем не жениться?

А поездка на Кавказ – это избавление от решения сложных проблем?

Скоро станет ясно…

Он уснул, когда уже розовело небо.

Наутро, после завтрака с бабушкой, получил письмо от Ростопчиной: Мэри ждет их вдвоем к двум часам пополудни. Ее бабушка собирается в гости к сестре и не помешает.

Михаил вздохнул: жаль, что вместе с Додо. Но уж лучше так, чем никак.

Поскучав за письменным столом, он не выдавил из себя ни строчки. Слишком много событий сразу навалилось: суд, Кавказ, Милли, Мэри. Мысли так и скачут. А «служенье муз не терпит суеты»…

Еле дождавшись половины второго, он помчался к дому Ростопчиной. У парадного уже стояла ее коляска, и вскоре появилась графиня, закутанная в шаль. Пригласила к себе в экипаж. И сразу предупредила:

– Мы минут на десять, не больше. Мэри очень плоха и просила ее не утомлять. Я и так еле уломала.

– Десять так десять.

Ехали серьезные.

Хмурый лакей отворил двери с явным неодобрением: понимал, что гости прибыли нарочно в отсутствие пожилой

хозяйки. Но не проронил ни слова, молча принял верхнюю одежду.

Они поднялись по лестнице. Навстречу медленно вышла княгиня – бледная, осунувшаяся, с красными глазами и сухими губами. Прошептала слова приветствия, пригласила в гостиную. Все сели.

– Извините, чаю не предлагаю… я не расположена нынче…

Поэтесса поддержала ее:

– Не оправдывайся, пожалуйста. Мы приехали вовсе не на чай. Михаил Юрьевич не в претензии.

Лермонтов сказал:

– Да, совсем не на чай. Я хотел бы выразить свое соболезнование…

Щербатова перебила:

– Это я хотела бы попросить прощения. – Глаза ее заблестели от слез.

– Господи, за что?

– Что из-за меня вы стрелялись. Что из-за меня вас могли убить. Солнце русской поэзии убить. Я бы наложила на себя руки. – Слезы потекли уже по щекам. – А теперь, опять же из-за меня, вы вынуждены отбыть на Кавказ. И подвергаться опасности… – Из ее груди вырвался стон. – Я, я во всем виновата! И кончина Мишеньки – на моей совести!.. – Мария уронила голову на скрещенные руки, лежащие на столе. Плечи ее сотрясались от рыданий.

Ростопчина бросилась утешать подругу. Когда та с усилием подняла мокрое лицо, то увидела Лермонтова перед ней на коленях.

– Мария Алексеевна, дорогая, не казните себя, пожалуйста, ибо нет на вас вины совершенно. – Он взял ее за руки. – Де Барант – подлец, и не я, так другой с ним бы обязательно посчитался. Он виновен хотя бы в том, что тогда, на балу у Лавалей, не позволил нам объясниться до конца.

– Нет, нет, молчите, – всхлипнула вдова.

– Не сбивайте меня с мысли. Именно теперь, при свидетеле, при нашей бесценной Додо, я хотел бы вновь спросить: вы меня любите по-прежнему? И согласны по-прежнему стать моей женой?

У княгини задрожали губы.

– Значит, вы за все простили меня?

– Прощать было вовсе не за что, вы ни в чем не виноваты.

– Значит, вы по-прежнему делаете мне предложение?

– Да, не сомневайтесь в искренности моих чувств.

Мария опустилась на колени.

– Михаил Юрьевич… Миша, дорогой… – Она порывисто

прильнула к нему. – Разумеется, я согласна. Люблю вас безоглядно. И буду ждать с войны.

– Тем более что вы теперь в трауре.

– Да, тем более что я в трауре. Потеряв Мишу-маленького, обретаю Мишу-большого. – И она впервые за все время робко улыбнулась.

Он склонился и поцеловал ее в щеку.

А она склонилась и поцеловала его руку.

– Мэри, Мэри, что вы?

– Вы мой Бог… вы мое солнце… я ваша навек…

Ростопчина, стоя рядом с ними, тоже заплакала, утирая слезы кружевным платком. Наконец, взяв за руки, подняла обоих.

– Ну, вставайте, вставайте, господа, – вы меня растрогали, как в хорошей пиесе. – Усадив влюбленных, она обратилась к хозяйке: – Я, пожалуй, поеду. Вы тут без меня разберетесь…

– Нет, теперь не время, Додо. Да и бабушка может возвратиться неожиданно. Лучше поезжайте вдвоем. Встретимся позже.

– Но когда же, Мэри? И где?

– Вы когда отбываете на Кавказ?

– В первых числах мая.

– Стало быть, в Москве, по вашем приезде.

– Вы в Москве тоже будете?

– Да, поеду на будущей неделе. Мачеха вчера написала, что отцу стало хуже. Я обязана находиться при нем.

– Первым делом в Москве я вас разыщу.

– Буду ждать и надеяться.

Они начали прощаться. Мария повеселела, на щеках у нее появился румянец. Попросила тихо, глядя в глаза:

– Обещайте мне больше не скандалить ни с кем. И не лезть под пули.

– Обещаю.

И они крепко обнялись.

Выйдя от Щербатовой, Лермонтов и Ростопчина сели коляску.

Он сказал:

– Странно: с головы до ног одни неприятности, а я счастлив.

Усмехнувшись, она ответила:

– Жизнь полна парадоксов. А у гения их вдвое больше. Как сказал Пушкин.

– Я отнюдь не гений, Додо.

– Судя по количеству парадоксов в вашей жизни – гений.

3

Бабушка Елизавета Алексеевна съездила к Жуковскому [51] и попросила его заступиться за внука. Поэт сидел печальный,

погруженный в себя. Тусклыми глазами смотрел на старушку.

– Я уже говорил с наследником. Он настроен крайне пессимистично. Недовольство его величества очень велико, и великий князь опасается тревожить отца. Вся надежда на грядущее тезоименитство Александра Николаевича: в следующем году его высочеству будет двадцать три, запланированы грандиозные торжества и раздача наград, чинов, милостей. Неплохой повод обратиться с пересмотром дела Михаила.

– Только в следующем году? – совершенно поникла бабушка.

– Да, боюсь, что год ему придется отслужить на Кавказе.

– А ее величество Александра Федоровна? Помогите устроить нашу встречу. Я упала бы к ногам матушки-царицы, умолила бы замолвить за Мишу словечко.

– Я и с ней говорил. Обещала ходатайствовать, но надежды мало. Если что, сразу вас поставлю в известность.

– Помогите, батюшка Василий Андреевич, вы – единственный наш заступник. Был еще Сперанский да умер о прошлом годе, как на грех.

– Да, Сперанский умер, – подтвердил Жуковский невесело, – все мы смертны, к сожалению. Мне вот пятьдесят восемь, а я еще не сделал главного в своей жизни: все никак не закончу перевод «Одиссеи» Гомера на русский.

– Ох, какие ваши годы! Для мужчины самый расцвет. Я вот слышала, будто вы собираетесь под венец.

Он слегка улыбнулся.

– Да, теоретически собираюсь. Но практически вряд ли выйдет: больно уж невеста юна.

– Сколько же ей, коли не секрет?

– Только девятнадцать. Разница у нас тридцать восемь лет.

– Да, немало. Но бывает и больше. Так что не беда, вы еще детишек своих понянчите. У солидных отцов и у юных матерей получаются умнейшие детки.

– Вашими бы устами, Елизавета Алексеевна, да мед пить.

Жуковский слово свое сдержал и при помощи цесаревича оказался на чае у императрицы. Та вначале расспрашивала о своем наследнике, об его успехах в учебе, о грядущих планах самого наставника (собирался после 23-летия Александра выйти в отставку и уехать на лечение за границу), о новостях в литературных кругах. К слову возник вопрос о Лермонтове. Александра Федоровна сказала (разговор происходил на французском – самодержица, прусская принцесса, дочка короля Фридриха III, говорила по-русски не очень твердо):

– О, мон шер ами, я сама в отчаянии. Николя относится очень негативно к нашему проказнику. Прочитал «Героя нашего

времени» и в негодовании бросил книжку в камин. Пушкина он тоже поругивал, но совсем не так.

– Получается, ничего сделать невозможно?

– Да, увы, мы пока бессильны. Пусть теперь послужит, а поближе к тезоименитству постараемся смягчить сердце его величества.

– Если не убьют на Кавказе…

Императрица перекрестилась.

– Господи, помилуй! На все воля Божья.

4

Сборы заняли несколько дней, отъезд был назначен на пятницу, 3 мая. Бабушка от отчаяния не смогла встать с постели, и прощание состоялось у нее в спальне. Михаил хорохорился, утешал, как мог, обещал регулярно писать. Повторял бесконечно: «Ничего, ничего, я еще вернусь. Вот увидите, что вернусь и подам в отставку. Перееду в Тарханы и всецело займусь сочинительством». – «Я тоже поеду в Тарханы». – «Ну, конечно, поедем вместе. Надоели эти столицы, хочется деревенской неспешности».

По дороге он заехал к Карамзиным. Тоже обещал часто писать. Успокаивал себя тем, что теперь на Кавказе многие друзья, а в ближайшее время станет еще больше: собираются Митя Фредерикс, Саша Долгорукий, Коля Жерве, не исключено, что и Монго. Чуть ли не весь «кружок шестнадцати». Видимо, нарочно власти отсылают неблагонадежную молодежь. Чтобы вновь не вышли на Сенатскую площадь.

В Первопрестольной Лермонтов оказался на третьи сутки, в понедельник. В городе было солнечно и тепло, колокольный звон на разные лады («сорок сороков»), запах плюшек и керосинных лавок, пьяные извозчики, стаи собак. Никакой светскости холодного Петербурга. Монастырские стены вперемежку с барскими особняками, грязь на мостовых, истошные крики зазывал.

Михаил поселился в домике бабушки на Молчановке, где когда-то жил в годы учебы в пансионе и университете. Здание было одноэтажное, скромное: несколько комнат, мезонин, людская. Дядька Андрей Иванович тут же по-деловому стал налаживать быт и хозяйство, пусть всего на неделю-другую, но тем не менее основательно. Поэт сам не знал, сколько пробудет в Москве. Ехать никуда дальше не хотелось. Для чего спешить, если никто не гонит палкой, можно посибаритствовать вволю?

Он думал, что как следует отоспится, но светало рано, и уже в шесть утра почувствовал себя бодро. Кофе пить в одиночестве было скучно – усадил рядом Андрея Ивановича, задирал по-

доброму, спрашивал, а не стоит ли заехать в Тарханы, чтоб проведать его жену? Но слуга понимал, что хозяин шутить изволят, никуда на самом деле не поедут, и иллюзий не питал. Говорил:

– Да к чему ж теперя, Михаил Юрьевич? Столько лет уж не видилися. И еще не увидимся бог знает сколько. Постарели оба. Друг от дружки отвыкли. Токмо зря душу бередить – ей и мне.

– Но ведь плохо тебе без бабы?

– Я ужо привык.

– Как же ты обходишься? И к срамным девкам никогда не захаживаешь.

Слуга опускал глаза и бурчал:

– Что ж захаживать, коль они срамные? Это грех, не для христьяни́на.

– Ну, тогда присмотрел бы девушку себе непорочную какую из служанок, из горничных и встречался бы с ней.

– Для чего жизнь-то ей поганить? Я женатый, замуж вдругорядь не возьму. А случится ребеночек? Не дай боже!

Михаил смеялся:

– Ты какой-то чересчур правильный. Можешь подаваться в святые угодники.

– Вольную дадите – может, в монастырь и подамся.

– Ишь, чего захотел. Вольную ему. Я ведь без тебя пропаду совсем. Скоро не пущу, не надейся. Может быть, потом, как уйду в отставку.

– Я и не прошусь, барин…

Целый день он ездил по родным и знакомым, навестил Алексея Лопухина, Шан-Гиреев, Мартыновых. С Николаем Мартыновым давно дружил – вместе учились в Школе юнкеров и гвардейских прапорщиков, называли друг друга Маешка и Мартышка. Николай служил теперь на Кавказе, тоже находился под следствием – промотал казенные деньги, и родные собирали по крохам, чтобы возместить ущерб и спасти от позора и дальнейших суровых кар. Лермонтов заметил, как выросли и похорошели сестры Николая – Юлия и Наталья, – за ними можно было уже ухаживать. Правда, вначале следовало окончательно выяснить отношения с Мэри. А Мартыновы – «запасной вариант»: если разладится со Щербатовой, то вполне подойдут они. Подумал даже: может не ехать на Кавказ вовсе? Столько он возможностей тут упустит, если вдруг уедет! Но не ехать было никак нельзя – обвинят в дезертирстве и упекут в Сибирь, чего доброго.

Щербатовой Михаил написал записку и отправил к ней домой на Остоженку с кучером. Тот вернулся, привезя ответ: «Моему

отцу крайне худо. У себя принять Вас никак нельзя. Может быть, у графини К*** – завтра поутру извещу».

Что ж, по крайней мере не отказ. Это окрыляло.

Вечером он отправился в гости к публицисту Самарину [52] , у которого познакомился с Хомяковым [53] и Дмитриевым [54] . Говорили о литературных тенденциях, москвичи в один голос восхищались «Героем нашего времени». Лермонтов от удовольствия краснел.

Утром принесли записку от Мэри: «Жду Вас в час пополудни в доме К*** на Большой Дмитровке». Михаил несказанно обрадовался, завтракал с большим аппетитом, а потом шутя сочинил стихотворение, навеянное строчками из Гете («Über allen Gipfeln…»):

*Горные вершины*
*Спят во тьме ночной;*
*Тихие долины*
*Полны свежей мглой;*
*Не пылит дорога,*
*Не дрожат листы…*
*Подожди немного,*
*Отдохнешь и ты.*

Походил по комнате, стал набрасывать план будущего романа, но потом бросил, лег на оттоманку и задремал. Пробудился уже в двенадцать, начал торопливо одеваться для встречи, то и дело покрикивая на Андрея Ивановича, медлившего подавать сапоги и галстук. Выбежал из дома без пятнадцати час и запрыгнул в коляску: «Трогай, трогай, мы опаздываем». Но приехали тютелька в тютельку.

Дверь открыла аккуратная горничная в переднике и сказала почему-то по-немецки:

– Seien Sie willkommen! (Добро пожаловать!)

Он ответил растерянно:

– Vielen Dank. (Большое спасибо.)

Лермонтов думал, что встреча у них полутайная (это придавало ей романтизма), а оказывается, даже слуги знают о его визите. Ох, теперь пойдет молва по Москве, а затем и дальше. Вдруг узнает Милли? Впрочем, так ли это важно?

По ковровой дорожке он двинулся в гостиную, никого по пути не встретив. Подошел к пейзажу, висевшему на стене, рассмотрел внимательно, профессионально, как художник: все было исполнено грамотно, аккуратно, школа неплохая, но не хватало страсти и темперамента, а от этого – живости: la nature morte [55] .

Сзади скрипнула половица. Обернувшись, Лермонтов увидел Щербатову в темном закрытом платье, бледную, но уже не такую убитую горем, как две недели назад в Петербурге. Подошел, склонился, поцеловал руку. Заглянул в глаза – ясные, печальные.

– А хозяйки не будет?

– Нет, она в отъезде, – несколько туманно сказала княгиня. – В доме мы одни, кроме горничной. Но она вряд ли помешает. Разве что попросим у нее кофе?

– Как вы пожелаете.

– Может быть, вина?

– Я бы не отказался.

Они выпили, по-прежнему все еще смущаясь. Шаг навстречу сделала Мария:

– Миша, ты когда уезжаешь?

Сердце екнуло от такой теплоты и домашности.

– Право, я пока не решил. От тебя зависит.

Женщина вздохнула.

– Я, увы, сама себе не хозяйка. Буду при родителе, сколько потребуется. Если Бог призовет его к себе, – тут она перекрестилась, – я в Москве не останусь. С мачехой у меня отношения скверные. Ехать в Петербург тоже нет охоты: в бабушкином доме все напоминает о Мише-маленьком. Так что в этом случае я, скорее всего, уеду за границу. Может быть, в Италию…

– Жаль, что без меня.

– Ужасно жаль. Но пока ты служишь на Кавказе, я развеюсь за рубежом. И тогда мы встретимся.

– Это будет не скоро.

– Что поделаешь? Так сложилась жизнь.

Он схватил ее за руку.

– Нет, еще не сложилась. Мы сейчас вместе и одни в этом доме. Кроме горничной. Но она нам не помешает…

Мария взглянула на него испытующе.

– Ты уверен, Миша?

– Я уверен в том, что люблю тебя. И что ты меня тоже любишь. Ты сама говорила, помнишь?

– Разумеется, помню. И не отрицаю. Я люблю тебя больше жизни. И всегда мечтала о союзе с тобою.

– Если б не де Барант.

У Щербатовой на лице появилась брезгливая усмешка.

– Ах, не говори мне о нем. Он разрушил наше с тобой счастье.

– Мы должны наверстать, Машенька.

– Как ты это ласково произнес: «Машенька». Так меня называла мама…

А потом была спальня, развороченная постель, съехавшая набок подушка и упавшее на пол одеяло, и ее большая грудь у него перед глазами – раза в три больше, чем у Милли – вздрагивающая и колышущаяся при каждом толчке, запрокинутое лицо, сведенные в спазме губы и хриплый стон: «Миша… Мишенька… я люблю тебя…» Он в конце впал в какой-то бешеный экстаз и невольно даже сам застонал сквозь зубы от нахлынувшего блаженства. Затем они тихо целовались, приходя в себя, и благодарили друг друга за счастье.

– Как же хорошо, Миша.

– Рад, что тебе понравилось, Маша.

– Нет, не просто понравилось – я в восторге. У меня ничего подобного раньше не было.

– У меня тоже.

Она заулыбалась с хитринкой.

– Да? А с Мусиной-Пушкиной?

– Ты откуда знаешь?

– Принесла на хвосте сорока.

– С Милли было все по-другому.

– Как же, интересно?

– Мэри, перестань. Не желаю обсуждать с тобой других женщин.

– Говорят, она родила от тебя ребенка.

– Чушь собачья. Меньше слушай светские сплетни.

– Ты, наверное, ей тоже говорил, что любишь?

Приподнявшись на локте, Лермонтов взглянул на Щербатову с возмущением.

– Нашла время ревновать! Вновь прошу тебя: перестань, пожалуйста. Нет никакой Мусиной-Пушкиной. Это миф. Я и ты – вот реальность. Наша близость и наши чувства. Остальное выкинь из головы.

Она обвила его шею белыми мягкими руками, притянула к себе и с нежностью поцеловала.

– Все, уже выкинула. Все, как пожелаешь, любименький. Мой забавный Мишельчик.

– Что же во мне забавного?

– Ты не такой, как прочие. Гений русской словесности. В сочинительстве гениален, в остальном забавен.

– Я твоя забава?

– Как и я твоя.

– Я к тебе отношусь серьезно.

– Как и я к тебе.

– Ты дождешься меня с Кавказа?

– Непременно дождусь, я клянусь. И если ты не передумаешь,

буду ждать нашего венчания.

– Я не передумаю.

– Я надеюсь.

Михаил вернулся домой под утро – взбудораженный, изнуренный, счастливый.

5

Днем 9 мая Лермонтов отправился в гости к Погодину [56] : у того в доме пребывал Гоголь и справлял свои именины. Все последние годы Николай Васильевич жил в Италии, работая над первым томом «Мертвых душ». А теперь заехал в Россию по делам своих младших сестер и опять вскоре собирался обратно в Рим.

Михаил восхищался его украинскими повестями и смотрел в театре «Ревизора». Он чуть завидовал необыкновенной легкости гоголевского слога и непринужденности шуток, возникавших на ровном месте. Жаждал пообщаться.

Гоголь был чуть повыше Лермонтова, круглолицый, розовощекий, с усиками и бородкой а-ля Бальзак и комически длинным носом, при беседе он слегка заикался и, пытаясь выговорить шипящие, прикрывал левый глаз и плевал в собеседника брызгами слюны. Но улыбка была очень хороша – белозубая и по-детски открытая. И смеялся очень заразительно, во весь голос.

В разговоре Гоголь сказал:

– Вы чудесный поэт и чудесный прозаик. И на мой вкус, даже больше прозаик, чем поэт. Ваш «Герой» просто бесподобен.

– У меня и пиеска есть, – неожиданно для себя похвастался Лермонтов, – правда, запрещенная к постановке.

– Ничего, – посочувствовал Николай Васильевич, – все еще у вас впереди. Вам ведь сколько лет?

– Двадцать пять.

– О, вот видите, а мне уже тридцать один.

На обеде из известных литераторов, кроме Погодина, были Вяземский, Загоскин [57] , Хомяков, Аксаков [58] , Чаадаев [59] и актер Щепкин [60] , грандиозно игравший Городничего в Малом театре. После нескольких перемен блюд вышли в сад и разбились на группки. Попросили Лермонтова почитать наизусть и услышали отрывок из «Мцыри» – бой с барсом. Хлопали от души.

Гоголь в беседке собственноручно приготовил жженку: в специальную чашу из металла Фраже [61] влил две бутылки шампанского и бутылку рома, а затем бутылку французского белого десертного вина сотерн [62] ; бросил фунт сахара и нарезанный кусочками ананас. Все это вскипятил на горелке; далее вылил в большую фарфоровую чашу, на которую положил крестообразно две серебряные вилки, а на них – сахарную голову,

сбрызнул ромом и поджег; поливал ромом из суповой ложки, чтобы огонь не затухал. Наконец, когда сахарная голова вся растаяла, той же ложкой разлил варево гостям по стаканам.

Пили за его здоровье, за успешное окончание «Мертвых душ», за процветание Родины. Хомяков сказал:

– Предлагаю выпить за здоровье господина Лерма́нтова. Чтобы он к нам вернулся с Кавказа без единой царапины.

Все охотно поддержали эту здравицу и пошли чокаться с Михаилом. Он благодарил.

Голова кружилась от выпитого вина и всеобщего признания. Он – писатель! И друзья Пушкина стали его друзьями. Он вошел в число избранных, отмеченных Богом. Даже того, что сделано, за глаза хватит, чтобы войти в историю русской литературы. А за шесть следующих лет он напишет не меньше. Если не убьют. Неужели убьют? Нет, по его расчетам не должны.

Расходились около девяти вечера. Гоголь и Погодин приглашали его вновь зайти до отъезда. Лермонтов обещал.

Этот чертов отъезд!

Как же хорошо в Москве! Здесь друзья и любимая женщина. Для чего уезжать? Для чего подчиняться воле бессердечного человека на троне? Как бы задержаться?

Вернувшись домой, он застал у себя в прихожей под вешалкой чей-то саквояж и забрызганные дорожной грязью сапоги. На вопрос Михаила дядька Андрей Иванович разъяснил:

– Алексей Аркадьевич изволили прибыть из Петербурга.

– Монго?

– Они самые. Не застав вас, выпили одни полуштоф водки и теперя почивают в гостиной.

– Слышу, слышу храп богатырский.

Монго продрал глаза и полез пьяно целоваться. Оказалось, по совету его величества он снова поступил на военную службу и был назначен в тот Нижегородский драгунский полк, где служил Лермонтов. Предлагал ехать на Кавказ вместе.

– Можно вместе, если не завтра.

– Отчего ж не завтра? – удивился родственник. – По таким-то погодам ехать в удовольствие.

– Нет, пока еще не готов. У меня дела.

– Да какие дела, коль тебе приказано ехать в полк?

– Мало ли чего. Обойдутся. Порцию свинца я всегда получить успею.

– Отдадут под суд.

– Я возьму бумагу у доктора: просквозило дорогой, заболел, две недели в горячке бился.

– Может, ты совсем ехать не намерен?

– Нет, намерен, конечно. Но не завтра.

Монго догадался.

– Так тебя Щербатова держит?

Михаил улыбнулся.

– Как еще держит! Прямо железной хваткой.

– Может быть, и женишься?

– Может, и женюсь. Только не теперь. Послужить на Кавказе все-таки придется. А потом, Бог даст…

Столыпин покачал головой в раздумье.

– Плохо представляю тебя под венцом.

– Я и сам себя плохо представляю. Но мечтать-то никому не заказано. Коли не убьют, попрошусь в отставку и увезу молодую жену в Тарханы. Стану жить, поживать, сочиняя повести и поэмки…

– …и делая детишек.

Лермонтов рассмеялся.

– Почему бы и нет? Чем я хуже других, право слово? Лет пять семейного счастья я бы выдержал.

– А потом?

– А потом – не знаю. Эй, Андрей Иваныч, принеси-ка нам водки!

Подошедший слуга сонно доложил:

– Водки больше нету: Алексей Аркадьевич всю бутылку выкушали-с.

– А вина?

– Полбутылки хересу.

– Так тащи его!

Родственник предложил:

– А не поехать ли нам к местным чаровницам?

Но Михаил с неудовольствием отмахнулся:

– Извини, не поеду. Мне вполне достаточно Мэри.

– Ух, да ты и впрямь влюбился, как я погляжу. Раньше одно другому тебе не мешало.

– Был моложе и глупее.

– Жаль, что не хочешь составить мне компанию.

– Я бы с удовольствием, но потом будет совестно ей в глаза смотреть. Нет, уволь, Монго.

– Эх, Маешка, Маешка – видно, потеряли мы тебя как истинного гусара.

6

Столыпин уехал 19 мая. Десять дней прошли в светских развлечениях: гости, театры, выезды за город к знакомым, в их поместья. Много раз посещали Мартыновых. Лермонтов явно нравился Натали, а Столыпин – Юлии. Но развития отношений не

было – все ограничивалось невинными забавами: чтением стихов, музицированием, прогулками. К тому же мадам Мартынова была начеку: с этими военными ухо надо держать востро, а тем более через сына до нее доходили слухи о разгульном нраве и того, и другого. Как-то раз нашла среди писем Николая список непристойной поэмки, от которой у нее потемнело в глазах. Николай отпирался, но в конце концов подтвердил, что сие сочинил не он, а Лермонтов. Несколько лет последнему было отказано от дома, лишь теперь, после всероссийской славы, его согласились принять.

Михаил писал Марии, но она отвечала: не могу отлучиться от больного отца, счет уже идет на часы. И когда полупьяного Столыпина погрузили в возок и отправили дальше на Кавказ, от Щербатовой принесли известие, что ее родитель скончался. Тут уж не до свиданий – похороны, поминки – грешно было даже заикаться.

Неожиданно из Петербурга к Михаилу заехал его бывший сослуживец, следовавший на Дон под начало их прежнего командира – Михаила Григорьевича Хомутова, год назад назначенного казачьим атаманом в Новочеркасск. Он предложил дальше двигаться вместе, побывать в гостях у генерал-майора. Лермонтов, поразмыслив, согласился.

25 мая отправил Марии записку: «Дорогая, завтра я покину Москву. Очень бы хотел попрощаться. Просто попрощаться, и ничего более. Удели мне несколько мгновений, если сможешь».

Она ответила: «Мы по-прежнему никого не принимаем, а тем более бабушка приехала из Петербурга, и к себе позвать не могу. Постараюсь вырваться завтра поутру и подъехать к твоему дому, чтобы проводить. Жди меня до половины девятого. Коль не появлюсь – значит, не смогла. Не взыщи. Твоя М.».

Михаил сидел печальный. Стало быть, не сможет. Он уже знал, как никто другой, все эти словесные штучки. Если прямо сказать боятся, прибегают к подобным ухищрениям. Чтобы, как говорится, подсластить пилюлю.

Все одно к одному.

Предначертанный ход событий изменить невозможно.

Мы – игрушки в руках судьбы.

На роду написано умереть холостым – холостым и умрешь. Никакие уловки не спасут. Никакие выверты.

Надо ехать на Кавказ. Во второй раз.

Если не считать посещений в детстве с бабушкой курортов.

Как военный – во второй. Значит, будет еще и третий – Бог троицу любит.

Значит, он еще увидит Москву и Петербург. Непременно

увидит.

Накануне отъезда надрались вместе с сослуживцем. Андрей Иванович еле их добудился. Пили крепкий кофе, приходя в себя. Хмуро брились.

Около восьми кучер стал седлать.

Вышли на Молчановку в половине девятого.

Было по-летнему тепло, птички чирикали на ветках. Прихожане шли из церкви на Арбате. У ворот лежала здоровенная псина, греясь на солнце; голова на лапах, лишь коричневым глазом – в сторону людей и коней; иногда задумчиво чавкала, поднимая морду: «Мням!»

– Ну-с, поедем? – произнес сослуживец.

– Да, поедем, – согласился Лермонтов. – Пора, пора ехать, – но не трогался с места.

Наконец, стрелки на часах показали без десяти девять, дольше ждать было неприлично. Оба вскочили в седла, кучер – на козлах, Андрей Иванович – в повозке; точно так же, в повозке, кучер и слуга сослуживца.

– С Богом, в путь-дорогу!

Неожиданно из-за поворота Ржевского переулка показалась знакомая коляска. Михаил, вздрогнув, натянул поводья.

– Стойте, стойте!

Все увидели княгиню Щербатову в темном платье и с прикрытым вуалью лицом.

– Михаил Юрьевич, извините за опоздание. Еле вырвалась.

Он сошел с коня и, приблизившись, приложился к ее руке в шелковой перчатке. Мария прошептала:

– Миша, дорогой, единственный… Помни обо мне… Помни: жизнь моя от твоей зависит… Не рискуй напрасно…

– Обещаю, Мэри, – прошептал он в ответ.

В губы, в щеку поцеловать не решился – все на них смотрели. Лишь опять склонился к руке.

– До свиданья, Машенька.

– До свиданья, любименький.

Он отступил, кивнул, вновь вскочил в седло, обернулся, прощально махнул рукой.

Маша помахала напутственно.

Медленно разъехались.

Сердца у обоих стенали: свидятся ли еще?

7

…

*«Дорогая Мэри.*

*Планы мои по дороге переменились. Должен был ехать в мой Тенгинский полк, штаб которого расположен в Тифлисе и куда был назначен я командиром взвода 12-й мушкетерской роты. Но остановился на три дня в Новочеркасске – навестил своего прежнего командира лейб-гвардии Гусарского полка, ныне – атамана Войска Донского генерал-майора Хомутова. Он-то мне и дал рекомендательное письмо к генерал-адъютанту Граббе [63] , что теперь командует всей Кавказской линией и Черноморской областью. Впереди поход против Шамиля. Коли отличусь в нем, может выйти мне всемилостивейшее прощение.*

*Прибыл в Ставрополь поутру 10 июня. Страшная жара! Камни плавятся, а уж люди – подавно. Граббе принял меня как отец родной, согласился с доводами Хомутова и зачислил в штабные адъютанты, чтобы взять с собою на марш. Я едва не прыгал от радости.*

*В Ставрополе нашел многих моих товарищей – Глебова [64] , Жерве, Фредерикса, Сашу Долгорукого, Сержа Трубецкого и, конечно, Монго. Здесь же служит при губернаторе близкий друг мой и родич Раевский. Словом, не скучаю. Подготовка к выступленью идет полным ходом. Отдыхаем мало, а уж про литературные дела мне пришлось забыть вовсе. Ничего, Бог даст, позже наверстаю.*

*Дорогая Мэри, обожаемая Мэри, напиши скорее о московском житье-бытье и своих намерениях на ближайшее время. Жду твоего письма с нетерпением. Твой М. Л.».*

* * *

…

*«Мишенька, любимый.*

*Очень за тебя беспокоюсь. Как тебе не стыдно: обещал мне не подвергать себя опасности, а теперь нарочно напросился в поход против этого ужасного Шамиля. Говорят, у него огромные силы, занял чуть ли не половину Кавказа и склоняет на свою сторону даже мирных горцев. Я от этих рассказов цепенею, как представлю тебя в горниле страшной войны. Для чего было не поехать в мирный Тифлис? Миша, Миша, ты совсем не думаешь о себе и о нашем будущем.*

*Я останусь в Москве до сорокового дня, дабы помянуть батюшку, а затем поеду с бабушкой в Петербург, чтобы выправить паспорт для выезда за границу. И – прощай, Россия! Надо отдохнуть, подлечить нервы и прийти в себя после потрясений нынешнего года. Стану тогда писать Ростопчиной, а она мои письма переправит тебе. И наоборот: ты пиши ей тоже, а она мне перешлет. Без нее можем потеряться.*

*Миша, золотой мой, бриллиантовый, я молюсь о твоем здоровье. Помолись и ты за меня.*

*Коли Богу будет угодно, мы еще увидимся и тогда решим, как нам жить дальше. Обещаю за это время не смотреть на посторонних мужчин. И, конечно, надеюсь на*

*такое же поведение с твоей стороны в отношении посторонних женщин. Впрочем, ведь поэты такие ветреники! Верность – не ваш конек.*

*Я покорно приму любое известие от тебя. Лишь бы ты был счастлив. А со мною или без меня – дело уже другое.*

*Остаюсь верной тебе до гроба – твоя Мэри».*

* * *

…

*«Дорогая Мэри.*

*Завтра выступаем, и писать совсем некогда, только несколько слов, а Андрей Иванович отнесет на почту.*

*Ты меня неверно поняла. В мушкетерской роте я бы подвергался намного большей опасности, нежели сейчас. Это штаб Тенгинского полка в Тифлисе, а меня бы надолго у себя там не задержали и послали бы в самое пекло. И совсем другое дело – штабной адъютант у Граббе. Минимум опасности, максимум возможности заслужить прощение. Так что не суди меня строго. Бог даст, еще увидимся. Твой М. Л.».*

* * *

Лермонтов, конечно, лукавил: боевые действия есть боевые действия, и опасность у всех была большая – что у мушкетеров, что у адъютантов, призванных обеспечить связь начальства, штаба, командира с боевыми частями на передовой. Просто хотел

успокоить Мэри. Все еще надеясь на совместное счастье.

# Глава вторая

1

Император Николай I сидел за столом у себя в кабинете и сегодня выглядел несколько веселее обычного. Хотя осеннее наступление на Кавказе в целом принесло мало результатов и противники, потрепав друг друга, отступили на прежние позиции, горцы недосчитались нескольких тысяч. Правда, в эти тысячи следовало зачислить, кроме воинов под знаменем Шамиля, и сотни мирных жителей. Граббе и особенно генерал-лейтенант Галафеев [65] применяли тактику выжженной земли: заподозрив какой-нибудь аул в нелояльности, окружали его и уничтожали всех до единого – стариков, женщин, детей, сакли разрушали, посевы сжигали. Так в свое время действовал Ермолов, утверждая, что «эти дикари» понимают лишь язык силы. Стоило ли удивляться, что приток свежих сил к Шамилю не иссякал?

Николай Павлович посмотрел на вошедшего к нему Михаила Павловича, вполне благосклонно принял его доклад об отходе русских войск на зимние квартиры. Сообщил:

– Мы внимательно рассмотрели представления генерала Граббе о наградах. Все вполне разумно и за малым исключением они нами поддержаны.

Поклонившись, великий князь взял бумаги, быстро пролистал, обращая внимание лишь на вычеркнутые фамилии. Вдруг споткнулся.

– Ваше величество не согласны с награждением Лермонтова?

Самодержец взглянул на брата с неудовольствием.

– Ты же знаешь, как я отношусь к этому бузотеру.

– Но поручик не только и не столько бузотер: генерал Галафеев говорил о его личном мужестве во время сражений, особенно у речки Валерик. – Он перешел на доверительный тон. – И потом, если бы Граббе просил о медали или ордене, я, возможно, усомнился бы тоже. Но ведь речь идет о его переводе в гвардию тем же чином с отданием старшинства и об именной сабле с надписью «За храбрость».

– Золотой сабле, – уточнил монарх.

– Золотой, конечно. Так за храбрость не жалко.

Император молчал, снова превратившись в каменного идола. Это было дурным знаком. Повторил:

– Ты же знаешь мое к нему отношение. Для чего каждый раз обострять? Для чего портить настроение?

– Да помилуй, дорогой! У меня и в мыслях не было…

– И императрица туда же: «снизойди», «прояви

великосердие», «бабушка за него просила»… А зачем бабушка воспитала внука так дурно?

– Николя, помилуй: он храбрый воин.

– Храбрый воин, – раздраженно передразнил российский правитель. – Знаем мы этих храбрецов. Вместо Тенгинского полка оказался вдруг в штабе у Граббе. Отчего?

– Не могу знать, – огорченно ответил Михаил Павлович.

– То-то и оно. – Помолчав, император закончил: – Пусть еще послужит как следует на Кавказе. Впрочем, поощрить можно – заодно уважить императрицу и бабушку: дать ему отпуск на два зимних месяца.

– Это справедливо!

– Только передать… неофициально… чтоб не появлялся в свете в Петербурге. Пусть сидит при болезной бабушке где-нибудь в Москве. Или здесь, только у себя на квартире.

– Будет сказано.

– Я и так слишком милосерден к этому щелкоперу и ему подобным.

– Ваше милосердие не знает границ.

Николай Павлович насторожился.

– Не шути такими вещами, Миша.

– Упаси бог! Я предельно искренне.

– Знаю я твою искренность – палец в рот не клади, весь в покойную бабушку – Екатерину Великую.

Улыбаясь, великий князь отступил к дверям.

– Счастлив, что частица великой крови у меня в жилах.

– Все, иди, иди, после договорим.

Выйдя от императора, Михаил Павлович вытащил платок и утер им взмокший лоб и шею. Старший брат с каждым днем становится все нетерпимее и нервознее. Начинания его неизменно вязнут в российской действительности, как в болоте. Армия хоть и велика, но неповоротлива и уныла, боевого задора нет, как во времена Суворова и Кутузова. Но какой задор, если рекруты служат по 25 лет? Хуже каторги за убийство. А ведь армия – главное детище Николая. В остальных сферах процветают казенщина и официоз, за малейшее вольнодумство – кара. Общество замерло в развитии. Молодежь не знает, чем себя занять, – так и возникают печорины, как у Лермонтова… Михаил Павлович вздохнул. Подобные мысли ведь не только у него, но и у Александра, наследника; много раз говорил с племянником с глазу на глаз, но сказать брату и отцу не решались – не поймет, прогонит да еще и накажет. Приходилось проявлять полную лояльность. Скорого воцарения Саши ждать нельзя, да и грешно желать смерти собственному брату для освобождения трона.

Будет, как с их отцом, Павлом Петровичем: воцарения ждал от Екатерины II больше четверти века, а когда власть свалилась в его руки, не сумел распорядиться ею на благо Родины…

Надо обрадовать императрицу: многие ее протеже получили награды и поощрения, в том числе и Лермонтов. И сказать Жуковскому – это он хлопотал за опального поэта. Пусть доложит бабушке о воле монарха – отпуск провести в Белокаменной и сюда носа не казать или в Петербурге, но сидеть, как мышке в норке.

Тяжкая у него доля – родственник самодержца.

А доля того во сто крат тяжелее.

Старший брат – Александр I – много раз собирался отречься. Тень невинно убиенного Павла его постоянно пугала.

Тяжкая доля правителей России.

Брать на себя ответственность за такую страну, за такой народ – это надо обладать мужеством, граничащим с сумасшествием.

Всюду лихоимство и ложь.

Кровь и ужас.

Смех и слезы, как у Гоголя в «Ревизоре».

2

Лермонтов узнал о своем отпуске в Ставрополе, где квартировал вместе с офицерами штаба Граббе. Тут собрались многие его друзья: Саша Долгорукий, Серж Трубецкой, Саша Васильчиков. Близко сошелся с братом Пушкина – Львом Сергеевичем (они виделись и раньше, до начала военных действий против Шамиля, но особенно сдружились поздней осенью и в начале зимы). Лев Сергеевич походил на Александра Сергеевича только профилем и копной курчавых волос, был не так смугл и слегка флегматичен, но порой и с ним случались приступы гнева: например, родные едва удержали его, как и Нечволодова, от безумного шага – ехать во Францию и стреляться с Дантесом. Он, по званию штабс-капитан, много лет добровольно служил на Кавказе и приятельствовал с семьей Чавчавадзе. В этот раз, возвратившись из командировки в Тифлис, рассказал Лермонтову о последних новостях в доме Александра Гарсевановича: сам глава был назначен членом совета Главного управления Закавказского края и успешно боролся со вспышками чумы в Дагестане и Грузии, Катерина счастлива в замужестве и уехала к супругу в Мегрелию, Нина живет с матерью и маленькой сестрой, добиваясь издания сочинений Грибоедова.

Лермонтов поинтересовался:

– Как там поживают сестры Орбелиани?

Пушкин затруднился с ответом.

– Ох, не знаю, не любопытствовал. Вроде бы пока обе не замужем.

– Монго говорил, еще летом, что к Майко сватался Бараташвили, но остался с носом.

– Монго, по рассказам, сам не прочь был жениться на младшенькой, но не успел – начались военные действия.

И еще одну новость сообщил Лев Сергеевич:

– Вы ведь знали отставного майора Федотова?

– Да, служил под его началом. Отчего вы употребили прошедшее время?

– Он, увы, скончался у себя в имении в Новгородской губернии, и его супруга, Катерина Федотова, прежде Нечволодова, получив часть наследства деньгами, возвратилась в Грузию, в Дедоплис-Цкаро, и живет с двумя дочерьми. Подурнела немного или, лучше сказать, повзрослела, но красавица по-прежнему.

– Надо бы поехать, проведать, – произнес задумчиво Михаил.

– Отпроситесь у Граббе, – посоветовал Пушкин. – Он относится к вам очень хорошо и на две недели отпустит.

– Да, пожалуй.

И поехал бы, если бы не известие о двухмесячном отпуске и возможности повидать бабушку.

Лермонтов, действительно, честно заслужил поощрение. Не скрывался в штабе от пуль, а, наоборот, ревностно исполнял обязанности адъютанта, донося повеления начальства всем разрозненным отрядам, воевавшим на передовой. Впрочем, фронта в его классическом понимании не было: стычки происходили то тут, то там, горцы подкарауливали русских, налетали, убивали, скрывались, русские подстерегали горцев, нападали, убивали, скрывались. Раза два Михаилу приходилось возглавлять боевые действия, если командир отряда был убит или ранен. И на всем протяжении летне-осенней кампании он не получил ни одной царапины. Сослуживцы им восхищались за эту его особенность, говорили, что, вероятно, заговорен; а поручик в ответ смеялся: «Время не пришло, Бог оберегает меня для чего-то главного». Но чего? Ведал только Всевышний.

Новый, 1841 год, он встретил в Анапе, где теперь располагался штаб Тенгинского полка (все-таки поэт состоял в его рядах, а при Граббе находился формально в командировке), но на Черноморском побережье пребывал недолго – получил приказ возвратиться в Ставрополь. И узнал о высочайшем поощрении – отпуском на два месяца. Радости не было границ. Золотую саблю «За храбрость» он не особенно жаждал получить, повышения в звании тоже; лишь бы вырваться в родные края –

пензенские Тарханы, Москву, Петербург, погулять по милым мирным улочкам, повидаться с родными и близкими…

От княгини Щербатовой он за эти полгода получил только два письма: первое еще до ее отъезда за границу, а второе из Франции. Оба довольно пресные, без особых чувств, словно Мэри, покинув родину, не хотела вспоминать прошлое и стремилась начать жизнь с чистого листа; кроме приветствия «дорогой Мишельчик» и «целую» в конце – никаких нежностей.

Теперь Лермонтов надеялся увидеть ее в Петербурге: знал от Додо Ростопчиной, что Щербатова может возвратиться к началу марта.

Бабушка писала, что известие об его отпуске воскресило ее – быстро начала поправляться, встает с постели и поедет к нему навстречу в Москву, чтобы не терять драгоценных дней общения. Говорила, что продолжает хлопоты по начальству и надежда появляется в связи с близким тезоименитством цесаревича: в честь совершеннолетия Александра Николаевича может выйти снисхождение ссыльному поэту. Верилось в это с трудом, но мечталось с удовольствием.

За полгода он сочинил немного: несколько стихотворений, в том числе и о битве на реке Валерик ( *«Я к вам пишу случайно; право, не знаю, как и для чего»* ). Обращение было к Мусиной-Пушкиной. Он все больше думал о ней в последнее время, и ее образ отчего-то делался в его сознании ярче и привлекательней образа Щербатовой. И не потому, что надеялся на восстановление прежних отношений в будущем; просто теперь ему казалось, что Милли ему дороже. И уже не знал, хочет ли жениться на Мэри. Ничего не знал, просто рвался к родным пенатам телом и душой. Милый прежде Кавказ повернулся другой своей стороной: кроме великолепия природы, гостеприимства и хлебосольства добрых горцев – кровью, грязью, смертью боевых товарищей, болью, злобой. Возвратится ли Лермонтов сюда снова? Будет ли Провидению это угодно?

Он получил отпускной билет на два месяца 14 января. В тот же вечер закатил прощальную пирушку с друзьями. Зачитал вслух письмо, пришедшее накануне от Монго из Тифлиса: тот на днях тоже ехал в отпуск и надеялся встретиться с другом и родичем в Петербурге. «Коли будешь у А. В.-Д., передай привет и скажи, что в ближайшее время припаду к ее ногам», – завершал послание Алексей Аркадьевич. Все смеялись на прощальной пирушке, понимая, что А. В.-Д. – Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова, прежняя любовь Монго, видимо, к ней он собирался вернуться. Пили и болтали до самого утра.

Выехал утром 15 января. Было довольно пасмурно, но не

холодно, с неба сыпался легкий снежок. Михаил – верхом, в казацкой папахе и бурке, слуги – в возке. Днем обедали в селе Медвежьем, а ночевали в станице Егорлыкской, напросившись на постой к местному дьячку. Тот, узнав, что к нему заехал автор стихотворения «Бородино», несколько мгновений стоял в оцепенении, вытаращив глаза, а потом с помощью дьяконицы выставил на стол лучшие запасы из погреба. Ели и пили до полуночи. И наутро получили в дорогу массу снеди. Лермонтов вежливо отказывался, а Андрей Иванович взял за милую душу – дескать, все в пути пригодится, деньги на еду сэкономим. Впереди были Ростов-на-Дону и Новочеркасск, Миллерово и Воронеж… Ехали спокойно, без приключений; правда, в Воронеже задержались на два дня – Михаил лечил простуженное горло (холода стояли уже приличные).

Подъезжали к Первопрестольной в пятом часу вечера 30 января. Станционный смотритель в Щербинке сообщил, что сегодня 23 градуса ниже нуля. Да, мороз пробирал до костей! В городе было немного теплее, но поручик еле слез с лошади возле дома бабушки на Молчановке – руки и ноги плохо слушались, совершенно задубев. Вскрикнув, Елизавета Алексеевна заключила внука в объятия, плакала, причитала: – Наконец-то, наконец-то дождалась счастливой минутки. Никуда не отпущу больше, слышишь? Станем добиваться твоей отставки. Внук не возражал.

Грели для него в печи чугуны с водой, наливали в ванну, он лежал, отмокал, согревался. Пил горячий чай с медом и вареньем. Засыпал за столом, слушая бабушку, рокотавшую над ухом, – пересказывала новости и слухи, строила ближайшие и дальние планы. Оживился только от одной ее реплики.

– Видела в гостях у Закревской твою давнюю пассию.

Лермонтов приоткрыл один глаз.

– Да? Кого?

– О, конечно: у тебя их пруд пруди! Настоящий гусар.

– И поэт.

– И поэт… Мусину-Пушкину, вот кого.

У него открылись оба глаза.

– Милли в Петербурге?

– »Милли»! И не совестно этак говорить о замужней даме? «Милли»! Да, Эмилия Карловна возвратилась из-за границы. Чуть поправилась после родов – видимо, пошли ей на пользу. Пышет красотой и здоровьем.

– Новорожденную тоже привезла?

– Хм, так ты знаешь, что это девочка? Уж не от тебя ли?

– Бабушка, ответьте.

– Я почем знаю! Видела графиню мельком, обменялась

несколькими фразами. О тебе…

– Обо мне?

– Да, она спросила, как ты на Кавказе. Я ответила, что тебя поощрили отпуском. Но скорее всего в Петербурге не будешь.

– Как – не буду? – изумился он.

Бабушка поджала узкие губы.

– Мне Жуковский рекомендовал, разумеется, со слов великого князя, – не пускать тебя в северную столицу. От греха подальше.

– От какого еще греха?

– По рекомендации августейшей особы. Дескать, нежелательно появление наказанного поручика в петербургском свете.

– Я не собираюсь являться в свет. Ни в театры, ни на балы не пойду. Но поехать в Петербург должен непременно. Книжечка моих стихов вышла – как же не увидеть Краевского? Деньги за нее получу. Повидаю Карамзиных. И к тому же – Милли… ну, Эмилия Карловна.

– Вот что для тебя главное! – рассердилась Елизавета Алексеевна. – Книжка и друзья – лишь предлог. Надо было молчать про Мусину-Пушкину. Вот я старая дура – проболталась невзначай!

Он ответил с улыбкой:

– Проболталась, не проболталась – это все равно, я поеду в Петербург в любом случае. Быть в России и не побывать в Петербурге – нонсенс, несуразность!

Бабушка вздохнула и сказала просительно:

– Миша, заклинаю. Не поедем, останемся в Москве, а затем отдохнем в Тарханах.

– Не хочу в Тарханы. Я с ума сойду, буду биться, как тигр в клетке. И потом: как вы собираетесь хлопотать о моей отставке, будучи в Тарханах?

– Да, ты прав. Надо в Петербург…

– А, вот видите! Непременно надо.

– Только обещай мне вести себя смирно и не лезть в светские салоны?

– Кроме Карамзиных – ни к кому.

– Хорошо, поверю, – заключила Елизавета Алексеевна. А потом произнесла хмуро: – Чует мое сердце: лучше бы не ехать… Но не ехать тоже нельзя. Заколдованный круг какой-то.

Лермонтов беззаботно откинулся на спинку стула.

– Лучше сказать – судьба.

– Я читала твоего «Фаталиста». Может, ты и сам стал фаталистом?

– Может, и стал.

– Миша, не к добру это.

– Отчего не к добру? Возвратился с войны без единой царапины. Тот, кому суждено быть повешенным, не утонет.

– Полно меня пугать.

– Я и не пугаю, бабуля. Говорю, как есть.

3

Цесаревич Александр Николаевич находился в масленичные февральские дни в самом лучшем расположении духа: накануне приехала из баденских земель юная принцесса Гессенская и приняла православие, превратившись в Марию Александровну. Свадьба была назначена на 16 апреля, накануне тезоименитства великого князя – 17 апреля. Чего еще желать молодому и влюбленному?

Сразу после будущих торжеств собирался уехать за границу главный его наставник – у Василия Андреевича Жуковского начинался новый этап в жизни. В Дюссельдорфе он тоже собирался жениться на дочери своего друга, живописца Рейтера, 21-летней Лизе Рейтер, и закончить перевод «Одиссеи» Гомера. Так что настроение у обоих женихов было превосходное. Портить его заботами о судьбе опального Лермонтова совсем не хотелось. Но, превозмогая себя, все-таки решили воспользоваться моментом (свадьба, тезоименитство) и добиться милостей от монарха. Действуя однако не напрямую, а опять-таки при посредничестве ее величества, императрицы Александры Федоровны. Жуковский передал письмо бабушки, Елизаветы Алексеевны, цесаревичу, а тот – матери. И 8 февраля 1841 года она заговорила с супругом во время чаепития:

– Ваше величество, я намедни читала книжку стихотворений нелюбимого вами Лермонтова.

Николай Павлович поставил золотой подстаканник на блюдце.

– Да? И что же?

– Очень поэтично. А отдельные опусы просто гениальны.

Самодержец признался:

– Я тоже читал на досуге. И согласен с вами: недурные вещицы имеются. Он способный молодой человек, но ему не хватает внутренней дисциплины и ясности мышления. Много мусора в голове.

Александра Федоровна сказала просительно:

– Поддержите гения, ваше величество.

– Уж и гения!

– Ну, пусть таланта.

– В чем, по-вашему, я должен его поддержать?

– Возвратите с Кавказа и отпустите в отставку. Пусть сидит и пишет. Храбрых воинов у нас много, а таких поэтов – раз-два и обчелся.

Император возразил твердо:

– Нет, в отставку ему пока рано. Пусть послужит лет хотя бы до тридцати.

– Так верните с Кавказа по крайней мере.

– Я подумаю.

– Нет, пожалуйста, обещай, Николя, теперь же, – перешла на интимный тон императрица, потому что знала: муж – человек военный, если даст слово, сдержит обязательно.

Но и тот был не промах, постарался увильнуть от прямых заверений.

– Обещаю подумать, Алекс.

– Нет. По случаю предстоящих торжеств прояви милосердие. Бабушка Арсеньева не переживет, если внука на Кавказе убьют. Пожалей не его, так ее хотя бы.

Николай Павлович вздохнул и проговорил скрепя сердце:

– Будь по-твоему, дорогая. Коли Лермонтов не затеет новых безобразий, то в связи с бракосочетанием цесаревича и его тезоименитством разрешу твоему протеже послужить где-нибудь в центральной части России.

– О, благодарю, ваше величество, – улыбнулась Александра Федоровна.

– Только потому, что вы меня просите. Я сегодня добр.

4

Михаил приехал к Карамзиным и вошел в гостиную, где был встречен восторженными возгласами: «Наконец-то наш юный кавказец прибыл!» – его сразу окружили гости, в том числе Вяземский, Одоевский и Ростопчина. Стали поздравлять с возвращением, пусть и на два месяца, но зато таким жизнерадостным, посвежевшим. Спрашивали: «Что-нибудь успели сочинить за время походов?» – «Так, по пустякам». – «Почитаете?» – «Непременно, но немного позже, дайте прийти в себя».

Софья Николаевна, взяв его под руку, повела к дивану.

– У меня для вас маленький сюрприз.

– Я уже заметил, какой.

– Вот вы шустрый, право.

– Не заметить Эмилии Карловны в первый же момент было невозможно.

– Да, она расцвела еще больше.

Мусина-Пушкина холодно смотрела в их сторону, чуть облокотившись на валик и слегка обмахиваясь веером. Платье на ней представляло из себя писк последней западноевропейской

моды: декольте неглубокое, с кружевной отделкой «берте», с кринолином и широкими оборками; прическа с крупными буклями «а-ля Севинье» [66] . Да, слегка располнела в талии. И лицо вроде округлилось. Ей это идет.

– Бонжур, мсье.

– Бонжур, мадам. Вы похорошели. Вроде хорошеть уже было некуда, а оказывается, можно.

– Мерси. Да и вы возмужали, как я погляжу. Даже посуровели. Говорят, проявляли чудеса героизма.

– А, пустое. Жив остался – и слава богу.

Софья Николаевна спросила:

– Вы расскажете о своих подвигах? Мы вас очень просим.

– Полно, никаких подвигов. Вот стихи почитать могу.

– Да, конечно, просим! Господа, садитесь. Михаил Юрьевич будет нам читать.

Он отпил зельтерской воды и покашлял, прочищая горло. Посмотрел внимательно на Милли и негромко начал:

*Я к вам пишу случайно; право,*
*Не знаю, как и для чего.*
*Я потерял уж это право.*
*И что скажу вам? – ничего!*
*Что помню вас? – но, Боже правый,*
*Вы это знаете давно;*
*И вам, должно быть, все равно.*
*И знать вам также нету нужды,*
*Где я? что я? в какой глуши?*
*Душою мы друг другу чужды,*
*Да вряд ли есть родство души.*

Мусина-Пушкина сидела смущенная, продолжая обмахиваться веером и не смея поднять глаза.

*С людьми сближаясь осторожно,*
*Забыл я шум младых проказ,*
*Любовь, поэзию, – но вас*
*Забыть мне было невозможно.*

Он читал просто и печально, рисуя картины своего походного быта.

*Кругом белеются палатки;*
*Казачьи тощие лошадки*
*Стоят рядком, повеся нос;*

*У медных пушек спит прислуга.*
*Едва дымятся фитили;*
*Попарно цепь стоит вдали;*
*Штыки горят под солнцем юга.*

Но вот начался главный рассказ о военной операции.

*Раз – это было под Гихами —*
*Мы проходили темный лес;*
*Огнем дыша, пылал над нами*
*Лазурно-яркий свод небес.*
*Нам был обещан бой жестокий.*
*Из гор Ичкерии далекой*
*Уже в Чечню на братний зов*
*Толпы стекались удальцов.*

Голос Лермонтова дрожал, все вокруг со страхом слушали.

*Чу! в арьергард орудья просят;*
*Вот ружья из кустов выносят,*
*Вот тащат за ноги людей*
*И кличут громко лекарей.*

Описание схватки было так живо, просто и рельефно, что у многих мурашки забегали по телу.

*И два часа в струях потока*
*Бой длился. Резались жестоко,*
*Как звери, молча, с грудью грудь,*
*Ручей телами запрудили.*
*Хотел воды я зачерпнуть…*
*(И зной, и битва утомили*
*Меня), но мутная волна*
*Была тепла, была красна.*

И с горечью прозвучали впечатления поэта:

*А там вдали грядой нестройной,*
*Но вечно гордой и спокойной,*
*Тянулись горы – и Казбек*
*Сверкал главой остроконечной.*
*И с грустью тайной и сердечной*
*Я думал: «Жалкий человек.*
*Чего он хочет!.. небо ясно,*
*Под небом места много всем,*
*Но беспрестанно и напрасно*

*Один враждует он – зачем?»*

Стихотворение завершалось. Оно началось обращением к любимой женщине и кончалось им же:

*Теперь прощайте: если вас*
*Мой безыскусственный рассказ*
*Развеселит, займет хоть малость,*
*Я буду счастлив. А не так?*
*Простите мне его как шалость*
*И тихо молвите: чудак!..*

Воцарилось гробовое молчание. Даже видавшие виды поэты, седовласые старцы – посетители салона Карамзиных – были потрясены услышанным: словно порыв ветра распахнул оконную раму, и в гостиную ворвались запахи пороха, крови, смерти, войны. В Петербурге так мирно и привычно-уютно, но пришел человек и поведал страшную правду о другой, параллельной жизни, от которой становилось не по себе.

Вяземский приблизился к Лермонтову, обнял по-отечески.

– У меня нет слов. Надо еще прочесть глазами и осмыслить. Вы явились нам в новом, непривычном облике – не мальчика, но мужа. И стихотворение ваше – маленький шедевр.

Посетители салона выйдя из оцепенения, и задвигались, и заговорили, бурно обсуждая услышанное. Михаилу жали руки. Андрей Карамзин – тоже военный – сказал, что намерен подать в отставку, чтобы не иметь ничего общего с теми, кто бездумно посылает людей убивать и умирать неизвестно за что.

Лермонтов посмотрел на диван и, представьте, не увидел там Эмилии Карловны. Поискал глазами по комнате и опять не нашел. Подождал какое-то время, а затем спросил у Софьи Николаевны, где же Мусина-Пушкина. Та ответила:

– Милли уже уехала.

– Как – уехала? Отчего?

– У нее разболелась голова после вашего чтения.

– Вы хотите сказать, что мои стихи сделались причиной головной боли?

Карамзина усмехнулась.

– Ну а вы как думали? Это обращение в начале и потом в конце… можно трактовать только однозначно.

– Приняла на свой счет?

– Все так поняли, и она тоже. Выбежала в слезах и рыдала у меня в комнате. А потом уехала.

Михаил сказал огорченно:

– Видимо, я перестарался.

– Вы и сами не представляете силу своей поэзии.

– Что же делать? Я хотел бы поговорить с ней до отъезда.

– Бог даст, еще увидитесь. Вы ведь не завтра уезжаете.

– По приказу должен ехать назад четырнадцатого марта. Коли бабушка не выхлопочет мне отставку.

– Ну, вот видите. Времени еще много.

5

…

*«Дорогая Додо.*

*Я не знаю, что делать. По дошедшим до меня слухам, Э. К. заболела после моего чтения у Карамзиных чуть ли не горячкой, а разведать подробности не могу никак. Что Вам известно? Напишите скорее. М.».*

* * *

…

*«Дорогой Мишель.*

*Не преувеличивайте, никакой горячки не было и в помине, провалялась в постели день, а теперь уже на ногах и вполне здорова. Я к ней ездила и имела долгий разговор. Хочет с Вами увидеться. Будете ли Вы 9 февраля на балу у Воронцовой-Дашковой? Мы приглашены с Э. Очень удобная оказия».*

* * *

…

*«Милая Додо.*

*Безусловно, оказия удобная и я зван, но имею рекомендации от известных особ не совать носа в свет во время моего краткосрочного отпуска. Что делать?»*

* * *

…

*«Ах, Мишель, да оставьте свои глупые сомнения – что за вздор, отчего Вы не можете зайти в гости к кому бы то ни было? Танцевать на балу необязательно, а сидеть где-то в уголке – тихо, скромно – кто же вас осудит? Приходите, не думайте. Ведь еще неизвестно, скоро ли сможете повстречаться с Э. К. в другой раз».*

* * *

…

*«Бабушка не советует, и Краевский тоже отговаривает идти. Но во мне, как обычно в этих ситуациях, неожиданно просыпается дух противуречия: ах, вы так, значит, стану поступать вам назло. Знаю, что не надо бы ехать, но теперь поеду решительно. Все ж*

*таки это отпуск, а не ссылка и не арест, в отпуск можно находиться, где хочешь. Стало быть, увидимся. И спасибо за все».*

6

Лермонтов приехал с небольшим опозданием дабы не маячить в еще не заполненных залах, а, наоборот, смешаться с гостями. Жаль, не маскарад: в маске было бы вдвойне удобней. Ну, да ничего: прошмыгнет серой мышкой, чтоб не привлекать к себе посторонних глаз. Только подошел поздороваться с хозяйкой бала и шепнул ей на ушко привет от Столыпина-Монго. Та сказала с улыбкой:

– Знаю, знаю, он писал мне с дороги. Должен появиться в Петербурге со дня на день.

Михаил отправился на поиски Евдокии и Эмилии, но не смог их найти. Зато столкнулся с сестрой Милли – дама сидела рядом с Андреем Карамзиным. Аврора Карловна Демидова все еще была в трауре: муж ее скончался меньше года тому назад в Висбадене. Стройная, высокая, более утонченная, чем Эмилия, с томным взором аристократки до мозга костей.

– Рора, ты знакома с нашим знаменитым поэтом Лермонтовым? – обратился Карамзин к своей собеседнице, и поручик отметил про себя эти «Рора» и «ты».

– Не имела чести.

– Так позволь исправить сие досадное упущение. – Он представил обоих друг другу. Кавалер поцеловал даме ручку и проговорил:

– Вы давно в России, мадам?

– Уж четвертый месяц. Возвратились вместе с Эмилией, побывав по дороге в Стокгольме у нашей младшей сестренки.

Лермонтов подумал: чтобы оставить у той маленькую Машу? Но спросить не решился.

– Где ж сама Эмилия Карловна? Я мечтал ее поприветствовать.

– Обещалась быть.

Вновь прошелся по анфиладе комнат. Гости прибывали, и уже возникла некая толчея, что, с одной стороны, радовало его – в целях конспирации, но, с другой, затрудняло поиски Додо и ее подруги.

Заиграла музыка, и в большой зале начались танцы. Михаил стоял за колонной: и не на виду, и обзор прекрасный. Наконец, он увидел Ростопчину в сиреневом платье, необычайно ей шедшем, и в изящном сиреневом тюрбанчике с ниткой жемчуга. Подойдя к

поэтессе, выпалил на одном дыхании:

– Бонжур, бонжур, вы сегодня прелестны, как дела, где Милли?

– Где-то здесь, но учтите: Милли не одна, а с мужем.

Он пробормотал несколько ругательных слов.

– Ничего, не переживайте: как обычно, Владимир Алексеевич сядет вскоре за ломберный стол – обещал по-крупному нынче не играть, – и жена останется в вашем распоряжении.

Неожиданно оркестр заиграл «Боже, царя храни!» – и танцующие гости расступились: в зале появился его величество император Николай Павлович под руку с супругой Александрой Федоровной, вслед за ними шла великая княгиня Ольга Николаевна под руку с дядей – великим князем Михаилом Павловичем, а еще далее – великая княжна Мария Николаевна с мужем – герцогом Лейхтенбергским. Все почтительно поклонились. Император сказал какие-то ласковые слова хозяевам дома, после чего танцы продолжились. Лермонтов поспешно скользнул в курительную комнату, скрывшись там в клубах дыма.

Посмолив трубочку, все-таки рискнул выйти, чтобы поискать Милли, – и, конечно же, по закону подлости, нос к носу столкнулся с Марией Николаевной. В замешательстве шаркнул ножкой.

– О, да наш поэт тоже здесь! – усмехнулась великая княжна. – Я-то думала, что вы на Кавказе под пулями горцев, а от вас, выходит, можно ожидать подвигов только на паркете бала да еще на амурном фронте?

Он ответил сдержанно:

– Поощрен был его императорским величеством двухмесячным отпуском.

– Да, я, кажется, вспомнила: мне мама́ говорила, что за вас хлопотала ваша бабушка, ссылаясь на свое нездоровье. Отчего же вы не сидите у одра несчастной старушки, а гуляете в свете?

Потупя взор, Михаил произнес смиренно:

– Слава богу, бабушке уже лучше.

– Слава богу. Что ж, желаю ей и вам всего наилучшего. Я читала новую книжку ваших стихов. Есть прелестные вещи. Как это в вас уживается – умный, тонкий поэт и несносный бонвиван?

Он пожал плечами.

– Отчего вам кажется, будто бонвиван не может быть поэтом? Взять того же Дениса Васильевича Давыдова…

– Да, его стихи неплохи, но у вас лучше.

– Зато я не такой гусар, как он.

Вдруг по правую руку от него появилась Мусина-Пушкина.

Лермонтов, увидев ее, наверное, изменился в лице, потому что Мария Николаевна с удивлением проследила за его взглядом. Эмилия Карловна трепетно присела в поклоне. У великой княжны изогнулась левая бровь – совершенно так, как это бывало у ее августейшего родителя, – и она иронически произнесла, адресуясь к поручику:

– Вот и ваша фаворитка, мсье гусар. Полагаю, именно из-за нее вы пренебрегли участью сиделки у бабушки.

Молодой человек, понурившись, молчал.

– Что ж, не смею задерживать. Вы должны успеть с нею полюбезничать, ведь того и гляди рядом вырастет грозный муж. – И она величаво удалилась.

Облегченно вздохнув, он с волнением посмотрел на то место, где стояла Милли, и ее не увидел. Начал озираться – да где там! Гости кишели, как муравьи, и опять найти графиню среди них было очень трудно. Бросился направо, налево – все безрезультатно. Устремился к Ростопчиной.

– Господи, Додо, где она?

– Вот, действительно, чудак! Говорила с ней два мгновенья назад. Поищите в буфетной.

Но в буфетной Милли тоже не было. Выходя, заметил, как хозяйка бала – Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова – с озабоченным видом приближается к нему. Подошла и взяла под локоть.

– Михаил Юрьевич, я ищу вас по всем залам.

– Что-нибудь случилось?

– Случилось, да… Государю донесли о вашем здесь пребывании. И его величество выразил неудовольствие. Мне об этом поведал великий князь Михаил Павлович. И просил увести вас незаметно, как можно скорее, черным ходом.

– Да неужто? Я в недоумении.

– Нет, вы не ослышались. Пойдемте вместе. Вашу шинель принесет привратник. Если вы столкнетесь тут с Николаем Павловичем, будет невообразимый скандал.

– У меня есть догадка, кто ему донес.

– Это уже неважно. Ах, не стойте же истуканом, ради всего святого! Быстро, быстро – в боковые двери.

Она провела поэта через задние комнаты – не натопленные и темные – и заставила ждать наверное, почти четверть часа, за которые он слегка продрог, ощущая, как промокшая нижняя сорочка холодит грудь и спину. Наконец, ему принесли шинель и фуражку. Лермонтов оделся, и лакей выпустил его через черный ход во двор, где было так темно, хоть глаз выколи. Побродив по сугробам, он обнаружил арку и проход на улицу. Бормотал

самому себе: – Вот попался, дурень! С Милли не поговорил, а немилость на себя навлек. Разумеется, это Мария Николаевна донесла по злобе. Больше некому. Впрочем, мало ли кто меня мог заметить – Бенкендорф, Дубельт… Вот не повезло! – И, вздыхая, зашагал на Шпалерную, где они с бабушкой в этот раз нанимали комнаты.

7

От Ростопчиной принесли конверт. Лермонтов прочел:

…

*«Дорогой Мишель.*

*Остаюсь посредником в Ваших делах сердечных. Отправляю оба письма, а уж Вы разбирайтесь сами. Преданная Вам Е. Р.».*

* * *

…

*«Милостивый государь Михаил Юрьевич.*

*Я не знаю, есть ли у меня право называть Вас теперь иначе: не писала целую вечность, за которую бог знает что могло произойти с Вами. Но надеюсь, что Вы по-прежнему живы и не женаты. Я жива и не замужем тоже. Тут за мной ухаживают несколько кавалеров, но такие хлыщи, что смотреть противно. Бабушка от них тоже не в восторге и гоняет почем зря – очень порой потешно.*

*Мы по-прежнему в Сан-Ремо (это по-французски, итальянцы пишут слитно), здесь зимой довольно уныло, хоть и снега нет. Море серое и недоброе, но не замерзает. Если*

*сравнивать с Петербургом, то не холодно: ходим в теплых накидках, никаких шалей и салопов. Некто Дмитриевский (Вы его вряд ли знаете), что работает помощником нашего консула в Ницце, дал мне почитать Вашу книгу стихов. Вы такая умница! Я над многими опусами плакала, ибо слышала сама, как Вы их читали вслух у Карамзиных. Ах, зачем судьба разлучила нас?*

*Мы вернемся на родину не раньше осени. Буду ждать нашей встречи с нетерпением. Напишите, если не забыли еще, если не обиделись на мое долгое молчание. Не сердитесь, пожалуйста. Я по-прежнему питаю к Вам самые искренние чувства. М. Щ.».*

* * *

...

*«Мой бесценный друг.*

*Я в отчаянии: по дошедшим до меня слухам, государь находится в крайнем неудовольствии оттого, что явились Вы на бал к Воронцовым-Дашковым, будучи в опале; якобы грозит отменить отпуск и немедля отправить сызнова на Кавказ. Неужели мы так и не увидимся, не поговорим как следует? Мне Вам надо сказать так много! Годы нашей разлуки и рождение дочери сделали меня другим человеком. От когда-то бездумной, легкомысленной барыньки больше нет следа. Я теперь ценю то,*

*что отвергала прежде с беспечной легкостью. Но, возможно, что Вы изменили свое отношение ко мне? И всерьез хотите обвенчаться с княгиней Щербатовой? Заклинаю: повремените! Жду Вас у Карамзиных. Приходите, пожалуйста. Мы с Авророй бываем там регулярно, ибо у Андрея Николаевича самые серьезные виды на нее. Что ж, до встречи, мой милый друг. Ваша Э.».*

8

– Монго, дорогой, наконец-то!

Столыпин ввалился с мороза: пышные усы в инее, щеки алые и глаза шальные. Явно опрокинул с утра пару-тройку рюмочек.

– Наконец-то, Маешка – это правда! – скидывал он на руки Андрею Ивановичу шапку, шарф, шинель. – Дай тебя обнять. Ишь какой сделался мужчинка: плечики стальные, пальчики как клещи. Жизнь походная сделала свое дело.

– Ну а ты никак исхудал?

– Да уж не поправился. В Туле диарея прошибла, не сходил с горшка двое суток. Думал: не холера ли? Но зимой холер не бывает. Ничего, кажется, очухался. Прочищал кишки водкой. Водка, брат, великая сила!

– Вот сейчас и выпьем. Как не выпить за встречу после долгой разлуки?

Говорили о новостях Петербурга, о знакомых актрисах, о балах, о конфузе, происшедшем на балу Воронцовой-Дашковой. Монго жевал телятину и качал неодобрительно головой.

– Надо же так опростоволоситься! Дернуло тебя заявиться в свет при твоем положении.

– Видишь, значит, дернуло. Должен был увидеться с одним человеком.

– Эмилия в Петербурге?

– Догадался, черт.

– Мудрено-то не догадаться. Что, амуры вспыхнули с новой силой?

– Да какое там! Все никак не встретимся. Может быть, сегодня у Карамзиных.

– У Карамзиных можно: августейшие особы – не любители литературных салонов.

– Ты туда со мной?

– Нет, избави бог: там у вас такая скучища. Это не по мне.

Если не набьюсь в гости к Сашеньке, то пойду по рукам актрисок.

– Ну, конечно, Монго в своем репертуаре.

Друг, зажмурившись, сладко потянулся.

– А то! Отпуск надо провести с пользой. Ты когда назад?

Лермонтов вздохнул.

– Если в срок, то четырнадцатого марта.

– Потяни немного, и поедем вместе.

– «Потяни» – скажешь тоже. Лишь бы раньше не выгнали.

– Медицинское заключение никогда получить нелишне. Ломота в суставах, то да се.

– Я подумаю.

Вечером он поехал к Карамзиным. Эмилия сидела с чашечкой чая и о чем-то беседовала с хозяйкой, матерью семейства, Екатериной Андреевной. Обе обернулись навстречу Михаилу, и Карамзина сказала:

– О, какие гости! Милости прошу. Потолкуйте здесь, а потом отправимся ужинать. – Встала, уступая поручику место. Он, склонившись, поцеловал ей руку, а она шепнула: – Действуйте смелее. И полу́чите счастье всей своей жизни.

У него в груди сладко екнуло сердце.

Он сел на пуфик рядом с Милли. И проговорил для начала:

– Никаких распоряжений насчет меня пока не вышло. Видимо, отпуск не отменят, но отставки мне не видать как своих ушей. И поближе, в Россию, переведут вряд ли.

– Очень жаль, – проронила Мусина-Пушкина.

– Жаль, конечно, но не фатально. Я еще вернусь в Петербург. И надеюсь, что навсегда. Вы меня дождетесь?

Милли подняла брови.

– То есть как «дождусь»? Вы о чем?

– Не уедете за границу? Не решите со мной порвать?

Она покусала губки.

– Не решу, пожалуй… За границу же, возможно, поеду – по одной серьезной причине.

– К дочке?

– Да.

– Расскажите о Машеньке.

Милли с удовольствием улыбнулась.

– Что рассказывать? Очень, очень славная девочка. И необычайно серьезная.

– Вот как?

– Подойдешь, бывало, к кроватке, чтобы посмотреть, хорошо ли спит, а она не спит. Молча лежит с открытыми глазками. Вроде думает о чем-то. Ни с одним из моих сыновей не было такого.

– А еще, еще?

– Кушает неважно. Иногда животик болит. Мы давали ей укропную воду, и она тогда не плакала.

– Закажите ее портрет. И пришлите мне. Я его вставлю в медальон и носить стану на груди. Вместе с ладанкой.

– Закажу непременно.

Появилась Софья Николаевна и произнесла приглашающе:

– Господа, просим всех в столовую.

Лермонтов сидел за столом рядом с Мусиной-Пушкиной, а Аврора – с Андреем Николаевичем. После ужина почитали стихи, дамы помузицировали, а в конце вечера Михаил и Андрей проводили сестер к их экипажу. Целовали им ручки. Приглашали приехать еще – завтра, послезавтра… Сестры обещали.

Поднимаясь по лестнице, Михаил сказал:

– Ты счастливее меня, оттого что Аврора теперь свободна и ничто не мешает вам соединиться.

Карамзин усмехнулся.

– Да, ничто. Но имеется некто, кто невольно мешает.

– Кто? Додо?

– Совершенно верно. Ты ведь знаешь, что ее младшая дочка – от меня?

– Знаю, но Додо замужем и не собирается разводиться.

– Да, а совесть? Как я буду смотреть ей в глаза, ежели женюсь на Авроре?

– Да она будет только рада, если ты обретешь семью.

– Сомневаюсь.

– Я уверен в этом.

– А Эмилия со своим расстанется?

– Мы не говорили об этом теперь. Раньше не хотела, а сейчас не знаю.

– Мы с тобой в любви несчастливы оба, – резюмировал Карамзин.

Но поэт не согласился.

– У тебя есть все-таки надежда на Аврору. У меня же надежды не имеется вовсе.

– Ну, не говори: а Щербатова?

– Разве что Щербатова.

Попрощавшись с хозяевами, сумрачный и печальный, он поехал к бабушке.

# Глава третья

1

Лермонтова разбудили в семь утра. Он сначала не понял, что случилось, и смотрел на Андрея Ивановича невидящими глазами. А слуга втолковывал:

– Михаил Юрьевич, барин, к вам господин военный из штаба.

– Из какого штаба?

– Не могу знать. Говорят, с пакетом.

Натянув на себя брюки и шлафрок, вышел из своей комнаты. И увидел порученца Главного штаба – тот служил у дежурного генерала Клейнмихеля. Козырнув, передал письмо в конверте и сказал своими словами:

– Так что вам предписано в сорок восемь часов покинуть Петербург. Ибо срок отпуска давно вышел.

– У меня медицинское заключение о заболевании.

– Вы лечение продолжите на Кавказе.

– Ожидаю высочайшего распоряжения о моей судьбе.

– Вот оно и есть, в сем конверте.

– Я подам жалобу. Это произвол.

Офицер усмехнулся.

– Если только Господу Богу… – И добавил, смягчившись: – Говорю по-свойски: лучше поезжайте. Если хлопоты всех ваших друзей не окажутся напрасными – вас вернут с дороги. А теперь нельзя не послушаться, надо ехать.

Михаил тяжело вздохнул.

– Понимаю. И благодарю за совет.

– Я от чистого сердца, правда.

Бабушка, узнав о решении наверху, побледнела и выронила платочек из рук.

– Господи, что же это? Мы ведь так надеялись…

Он зло процедил сквозь зубы:

– Значит, зря надеялись. Распорядитесь насчет моих вещей. Я поеду попрощаться с друзьями. Послезавтра должен выметаться из города.

У Елизаветы Алексеевны потекли слезы, и она, обессиленно села на кушетку. Внук поцеловал ее в щеку, стараясь утешить.

– Полно, полно плакать. Я еще вернусь.

Поскакал сначала к Краевскому – тот сидел за гранками новой книжки «Отечественных записок». От известия широко раскрыл глаза.

– Ехать? В сорок восемь часов? Да они взбесились!

– Нет, они гнут свою линию. Это я в бешенстве.

Он отказался от кофе и поехал к Ростопчиной. Та заверила: передаст Эмилии его просьбу быть сегодня вечером у Карамзиных. А потом сказала:

– Я вчера посещала гадалку – Александру Филипповну Кирхгоф. Удивительная старуха. Знает все о нас и предсказывает судьбу. Поезжайте к ней – пусть раскроет будущее, чтобы знать, как избегнуть опасностей.

– Я не верю в ее гадания, – покачал головой поэт.

– А вот Пушкин верил. И она ему предсказала, что бояться должен в тридцать семь лет белого человека в белом мундире. Все сошлось точно…

– Верил, да не смог избежать плохого.

– Может, вам больше повезет?

Она дала адрес на Невском. Это было недалеко, и поручик решил завернуть к ворожее смеха ради.

Кирхгоф жила во флигеле небольшого дома с полуколоннами. Лермонтов позвонил внизу в колокольчик. Дверь отперла смуглая служанка, уроженка юга, но не кавказского – видно, из Бессарабии. Проговорила с акцентом:

– Нет, мадам сегодня не принимать. Болеть.

– Передай, пожалуй, что пришел поэт Лермонтов, завтра я уеду на Кавказ и зайти больше не смогу. Очень нужно потолковать.

– Хорошо. Быстро доложить.

Удалилась, не пропустив его внутрь. Но действительно ходила недолго.

– Да, мадам соглашаться. Можете идтить.

В доме пахло мускатным орехом. Михаил разделся и пошел вверх по лесенке. Навстречу ему выплыла гадалка – высокая немка лет под семьдесят, в черном шерстяном платье и черном кружевном чепчике. Посмотрела на него внимательными глазами. Улыбнулась полным здоровых зубов ртом.

– Проходи, мин херц, извини, что заставила стоять на крыльце, я действительно прихворнула нынче, но тебе отказать не могла.

– Благодарствую, Александра Филипповна.

Проводила в комнату с занавешенными шторами, запалила на столе три свечи. Пригласила сесть. Взяла за левую руку и стала вглядываться в лицо.

От пристально-сверлящего взгляда даже ему, герою Валерика, стало не по себе. Он спросил, запинаясь:

– Что же вы видите, уважаемая?

Облизав морщинистые губы, та ответила на вопрос вопросом:

– Подарили тебе кинжал… убиенного человека… зверски

убиенного… правда ведь?

– Точно, подарили. – У поручика внутри все похолодело. – На Кавказе, его вдова подарила.

– Это очень скверно. Острые предметы нельзя дарить. А тем более на кинжале том страшное проклятие. «Умирая – воскресай». И пока он с тобой, смерть твоя поблизости ходит.

– Что же делать, Александра Филипповна? Выбросить его?

– Да не просто выбросить, надо утопить. Только не в Неве, не в России, а откуда он родом – на Кавказе. Есть одно село, называемое Царские Колодцы. Ибо в них – живая вода. Коли бросить в один из колодцев сей кинжал, то вода проклятие смоет. И тогда все у тебя в жизни станет хорошо: женишься на прекрасной горянке с именем Катерина и продолжишь свой род. Ну а коль не утопишь, не избавишься от кинжала, там на Кавказе и останешься навсегда.

– Вы меня пугаете.

– Говорю, что вижу.

Он слегка помедлил и снова спросил:

– А скажите, Александра Филипповна, сколько моих детей проживает на белом свете?

Гадалка сжала его ладонь и опять впилась в лицо взглядом.

– Вижу: трое. Было четверо, да один умер еще младенцем.

– Я смогу с ними встретиться в будущем?

– Коли выживешь, сможешь.

– А у них самих будут дети?

Но она нахмурилась и прикрыла веки.

– Хватит, я устала. Голова болит. Больше ничего не скажу.

Отпустила руку поручика, он, вздохнув, поднялся.

– Сколько я вам должен?

– Ничего не должен. Коли хочешь – так оставь на столе столько денег, сколько пожелаешь.

Он достал портмоне, извлек из него пять рублей ассигнацией, попрощался и вышел.

2

У Карамзиных вечером были Ростопчина, Мусина-Пушкина и Аврора Демидова, позже приехала Наталья Николаевна Пушкина; из мужчин – Жуковский, Соллогуб, Плетнев [67] . Говорили только об отъезде Лермонтова. Он ходил необычно потерянный, слабо улыбался. Софья Николаевна принесла коробочку: в ней лежало серебряное колечко с бирюзой. Пояснила:

– Это оберег. В старину такие колечки надевали воинам перед битвой, чтобы те остались в живых.

– О, благодарю! – просиял поэт. – Я его надену немедля и не сниму. – Взял коробочку и внезапно выронил. Подхватил – но

колечка внутри уже не было.

Бросились искать, отодвинули стулья и диван, подняли ковер, сам Жуковский, как маленький, ползал на коленях.

Но колечко как в воду кануло.

Надо же: кинжал со смертельным проклятием не пропал, а серебряный оберег исчез.

Все молчали, посчитав этот случай скверным предзнаменованием.

Лишь Наталья Николаевна постаралась утешить:

– Ах, не придавайте значения этим глупостям. Суеверия – отголоски язычества.

Михаил заметил:

– Да, но Александр Сергеевич верил в приметы.

– Чем весьма всех смешил. До абсурда доходило: он загадывал числа и раскладывал карты, обращал внимание, правой лапкой умывается кот или левой… Что с того? Все равно судьба его не помиловала. Ибо Бог решает.

– Но приметы суть проявления Божественной воли. В мире все Божественно, ибо все разумно. Комбинации цифр разумны – стало быть, Божественны. Сочетания небесных светил также сообщают нам о воле Всевышнего – это неслучайно. Просто кто-то умеет и хочет пользоваться этим, а кто-то нет. Дело в вере.

Гости начали спорить о приметах, знамениях, приходящих к нам из мира Вечности. Лермонтов подсел к Милли, заглянул ей с тоской в глаза.

– Вот ведь как случилось. Неудачи меня преследуют.

Она сказала взволнованно:

– Ах, зачем вы решились на дуэль с тем французиком? Ничего не доказали, только хуже сделали.

– Я не мог не защитить честь дамы.

Графиня глянула гневно.

– Вы, сознайтесь, волочились за ней?

Он оправдываться не стал.

– Да, был грех. Вы оставили меня и уехали. Я пытался клином выбить клин.

– Получилось?

– Нет.

– А Додо говорила, что она вам пишет из-за границы.

– Пишет, правда. Я не отвечаю.

– До поры, до времени? Все поэты ветрены: я уехала, Мэри подвернулась – вы утешились ею. Мэри потом уехала, я приехала – вы теперь любезничаете со мной. Надо определиться, сударь, кто вам больше дорог.

Михаил слегка улыбнулся.

– Что ж определяться? Мне дано сорок восемь часов, из которых пятнадцать уже прошли. Скоро я уеду. И разлука расставит все по своим местам: маленькую любовь погасит, а большую раздует. Там посмотрим, коли не убьют.

Мусина-Пушкина взяла его за руку.

– Ах, не говорите сегодня о смерти. Говорить о ней накануне отъезда – скверно.

– У меня скверные предчувствия.

– Вы обязаны выжить. Вы должны вернуться. Ради нашей с вами любви. Ради Маши в конце концов!

– Ради Маши… – Он склонился и поцеловал ей запястье. – Поцелуйте ее от меня. Коли сам поцеловать не сумею.

– Вы должны суметь. Потому что вы сильный.

– Постараюсь, Милли.

– Постарайся, Миша.

Чай пили в невеселом расположении духа. Лермонтов молчал, глядя в чашку. Потом вдруг расхохотался, начал всех смешить и читать юмористические стихи, но внезапно вскочил и выбежал из комнаты.

У Натальи Николаевны Пушкиной вырвалось:

– Бедный мальчик!

3

Он расставался с тяжелым сердцем – с бабушкой, с Милли, со всеми друзьями, но когда последние очертания Петербурга скрылись из глаз, стало как-то легче. Странный город. Часть фантазий и прихотей Петра I. Населенный его фантомами. На болоте, в гиблом месте. Гиблый сам. Внешне похож на многие европейские города, но с какой-то русской белибердой внутри. С Николаем I. Николай такой же, как Петербург: внешне величавый, жесткий человек и суровый правитель, а наладить цивилизацию не умеет, рубит топором там, где необходим скальпель.

Петербург – окно в Европу и проклятие для России.

Колыбель многих ее бед.

Но для Лермонтова он уже за спиной. Так бывает с детьми престарелых родителей: ты страшишься их смерти, гонишь от себя мрачные мысли, но потом родители умирают, ты хоронишь их, и в душе, несмотря на печаль, чувствуешь какое-то облегчение – скорбные хлопоты уже позади, ты их пережил, перевернул грустную страницу своей жизни и надо существовать дальше.

Лермонтов перевернул грустную страницу.

Впереди Кавказ, новые опасности, новые приключения.

Надо жить. И надеяться на лучшее, несмотря на дурные предзнаменования.

В дороге настроение улучшилось: свежий весенний ветер в

лицо, подсыхающий тракт, запах влажной земли после стаявшего снега, пение птиц разгоняли тяжелые мысли и навевали покой. Опять хотелось сочинять, целовать руки дамам, предаваться невинным (или винным) шалостям…

Он приехал в Москву и застал там Монго – тот уехал из Петербурга на неделю раньше, так как не знал, что Маешку вышлют в сорок восемь часов. Оба немедленно отправились в гости к Мартыновым и застали семейство на чемоданах: все собирались на воды в Пятигорск, чтобы подлечить отца – Соломона Михайловича. (Отставной полковник, получивший ранения в боях, он имел многодетную семью – сыновья Михаил и Николай тоже стали военными, обучаясь в одной с Лермонтовым Школе гвардейских прапорщиков, оба были сейчас на Кавказе.) Во время общей беседы Монго с сожалением произнес:

– Вот беда, что мои с Маешкой пути не лежат через Пятигорск!

– А куда вы теперь? – поинтересовалась Наташа Мартынова.

– Для начала – в Ставрополь, а затем, скорее всего, в Дагестан, ловить Шамиля. Наши командиры нынче в крепости Темир-хан-Шура.

– Там опасно? – спросила Юлия.

Лермонтов ответил:

– Ну, чуть-чуть опаснее, нежели в Пятигорске.

Все весело рассмеялись его шутке, вызванной наивным вопросом девушки.

– Коля наш тоже в Пятигорске, – сообщила Наташа. – Он ушел в отставку в звании майора, но скучает без службы и не исключает возможности вновь пойти в армию.

– Ах, как хочется в Пятигорск! – вздохнул Монго.

– А нельзя ли вам поехать в Дагестан через Пятигорск? – задала еще один наивный вопрос Юлия.

– Это вряд ли. Да и не успеем, нам задерживаться не след.

Михаил заметил задумчиво:

– Коли взять медицинское свидетельство о болезни, можно и подзадержаться…

Но Столыпин вдруг озлился.

– Хватит липовых свидетельств, Маешка. В Петербурге брал и теперь на Кавказе хочешь?

– Что с того? – Он взглянул на родича иронически. – Ты соскучился по саблям и пулям Шамиля? Жаждешь их отведать пораньше?

Тот всплеснул руками.

– Нет, одно из двух: или мы служим, или не служим. Если служим, то должны без заминок следовать в штаб. Если едем на

Кавказ развлекаться, можно в Пятигорск хоть на целое лето.

– Да, на лето с нами! – запрыгала, как маленькая девочка, Юлия. – Будет так чудесно! Мы, и Коленька, и вы оба. Вместе повеселимся.

Лермонтов начал откровенно подтрунивать.

– Соглашайся, Монго. Барышни просят. Огорчать женщин – грех.

– Знаю, что грех, и всем сердцем стремлюсь с ними в Пятигорск. Но на свете есть долг. В том числе и воинский. Я, как капитан, старший по званию, отдаю тебе приказание: завтра же покинуть Москву.

– Ты, конечно, старше меня по званию, но не мой непосредственный начальник. И приказы твои на меня не распространяются. Можешь завтра ехать, коли так хочется. Я поеду позже.

– Я подам на тебя рапо́рт.

– Это выйдет забавно: дядя доносит начальству на племянника. Все умрут от смеха.

Монго огрызнулся:

– Кроме тебя, Маешка. Ты пойдешь под суд как дезертир.

В спор вмешалась Наташа Мартынова.

– Господа, хватит этих разговоров. Точно петухи. Что вам вздумалось, право? Сможете приехать – приедете, будем только рады. А не сможете – станем за вас молиться.

Пили чай, болтали, но Столыпин вскоре заторопился: завтра надо ехать. Лермонтов не выдержал и вспылил:

– Да иди ты к черту, болван! Поезжай к свиньям! Лично я ни сегодня, ни завтра не тронусь с места.

– Пожалеешь, Маешка.

– Не пужай, пужака.

Попрощавшись, Монго, рассерженный, вышел из-за стола. Михаил просидел в гостях допоздна, сочиняя стихи барышням в альбом и играя с ними в лото. А вернувшись домой, завалился спать. Утром Андрей Иванович подал ему письмо: родич сообщал, что собрался и выехал; в Туле задержится на два-три дня, чтобы Лермонтов смог его нагнать; если нет – ссора навсегда.

– Вот кретин, – выругался поручик. – Пропил все мозги. Прямо будто шлея под хвост попала. Надо ему поставить полуштоф, сразу подобреет. – Крикнул: – Андрей Иваныч! Живо собираемся. Через час надо выезжать.

У слуги округлились глаза.

– Как же – через час, Михаил Юрьевич? Лошади не кормлены, вещи не уложены…

– Я сказал – через час! Мы должны нагнать Алексея

Аркадьевича в Туле.

– Ах ты, господи, – завздыхал слуга. – С этим Алексеем Аркадьевичем просто беда… вечно все не слава богу…

4

В Ставрополе было совсем тепло, и военные ходили без шинелей. Зеленела листва, в гостинице Найтаки подавали на завтрак молодую редиску со сметаной и березовый сок в бокалах, что всех необычайно смешило. Но гостиница стояла полупустая: сослуживцы давно съехали с зимнего постоя и, должно быть, находились уже на марше в Дагестан. Следовало ехать вслед за ними.

По дороге в Шуру помирившиеся Монго и Михаил встретили в Георгиевске старого знакомого – ремонтера Борисоглебского уланского полка Магденко. Тот направлялся в Пятигорск в четырехместной коляске, с поваром и слугой, был вальяжен, нетороплив, точно после бани, и немедленно предложил друзьям ехать вместе с ним.

– Да какой Пятигорск? – вновь завелся Столыпин. – Мы имеем предписание прибыть в Шуру.

– Перестань, Монго, что за вздор ты несешь? – возразил Магденко. – Нет таких предписаний, что нельзя было бы обойти при желании. Отведу вас к знакомому доктору, он за небольшую плату выправит бумагу о необходимости излечения вам на водах.

– Сразу заболели вдвоем?

– Ну и что? Ехали вместе, простудились дорогой. Очень натурально.

– А начнут разбираться, вскроется обман, и пойдем мы под суд. Загремим в солдаты.

– Да кому это нужно – с вами разбираться? Погуляете восемь-десять дней и поскачете в свою Шуру. Там отвагой и докажете верность царю и Отечеству.

Капитан посмотрел на поручика: тот сидел с каменным лицом, словно разговор его не касался.

– Что молчишь, Маешка?

Михаил поднял глаза.

– Что тут говорить – ты давно знаешь мое мнение. Просто не хочу с тобой снова ссориться.

Заказали кахетинского, чтобы стимулировать мозговую работу. Было видно, что Столыпин сам не прочь съездить в Пятигорск, но не знает, как приличней сознаться в этом племяннику. Лермонтов помог.

– Давай кинем жребий. Решка – Пятигорск, орел – Шура. Как монетка ляжет, так и поступим.

Монго выпил, вытер пальцем усы и кивнул.

Михаил достал кошелек, вынул пятиалтынный и щелчком большого пальца подбросил в воздух.

Монета сверкнула, звонко упала на пол, покружилась мгновение и замерла решкой вверх.

– Пятигорск! – рассмеялся поручик.

– Пятигорск! – расплылся ремонтер.

– Пятигорск, – согласился капитан внешне с сожалением.

Неожиданно хлынул проливной дождь, а так как коляска Магденко была открытой, до Пятигорска добрались мокрые до нитки. Снова остановились у Найтаки (богатый грек содержал гостиницы по всему Северному Кавказу) и составили донесение коменданту, полковнику Ильяшенкову [68] . Тот послал обоих на врачебный осмотр, и необходимое освидетельствование было получено: ревматизм и признаки лихорадки. Комендант разрешил остаться для лечения в городе, тем более что Лермонтов – знаменитый поэт, о котором знают все цивилизованные люди России.

Столыпин поселился вместе с племянником в домике у подножия горы Машук. Рядом снимали комнаты их друзья – Глебов, Трубецкой, Васильчиков и Мартынов. Именно у Мартынова они и просидели, выпивая, первую ночь в Пятигорске.

5

...

*«Дорогой Миша.*

*Получила твое письмо при посредничестве Додо. Слава богу, ты в Пятигорске, вдалеке от военных действий. Поправляй здоровье, береги себя и, пожалуйста, не заглядывайся на хорошеньких барышень – стану ревновать. Летом Рора собирается за границу – хочет вывезти сына на море, я, возможно, поеду вместе с ними. Мой супруг не против. Понимает, что главная моя цель – Стокгольм, где живет наша Машенька, и не возражает. Мы давно охладели друг к другу, и семья у нас только для приличия. А тем более у него пассия в Москве. Ах, не будем о неприятном. Жду твоих новых писем.*

*Если Додо тоже соберется покинуть Петербург на лето, переписка будет осложнена, ну да ничего, лето пролетит быстро. Остаюсь любящей тебя безгранично – твоя Э.».*

* * *

…

*«Дорогая Милли.*

*Как же хорошо нынче в Пятигорске! Все вокруг знакомые, и такое впечатление, будто не уезжал вовсе из обеих столиц. О войне почти разговоров нет. Мы гуляем, болтаем, пьем минеральную воду (вечером – что покрепче), посещаем светские дома: тут Верзилины, Мартыновы, Быховец и другие. Большинство друзей моего кружка. (Словно власти нарочно выслали на Кавказ всех моих товарищей.) А когда разговоры надоедают, я сажусь на моего Парадера и несусь куда глаза глядят, только ветер свищет в ушах, где-нибудь за городом спешусь, упаду в траву и лежу так, глядя в небо, всем своим существом сливаясь с природой, – и покойно так становится на душе, и не мучают скорбные предчувствия. Я пишу немного, но, пожалуй, недурно. Посылаю новые стихи, час назад соскочившие с моего пера.*

*Ночевала тучка золотая*
*На груди утеса-великана,*
*Утром в путь она умчалась рано,*
*По лазури весело играя;*
*Но остался влажный след в*

*морщине*

*Старого утеса. Одиноко*

*Он стоит, задумался глубоко,*

*И тихонько плачет он в пустыне.*

*Я порой тоже плачу, Милли, что вдали от тебя, моя тучка золотая, и от Машеньки, посреди человеческой пустыни, не могу вас обеих прижать к груди. Но надежда не покидает меня. По дороге в Шуру я надеюсь попасть в грузинское село Дедоплис-Цкаро и отмыть зачарованной водой его колодцев ныне лежащее на мне проклятие. И тогда все изменится к лучшему, вот увидишь. Жду твоих писем. Поцелуй от меня Машутку. Расскажи ей хоть что-нибудь обо мне. Я, конечно, не ангел, но и не демон, как считают многие, просто старый утес, плачущий о тучке.*

*Будь же счастлива, дорогая. Любящий тебя М.».*

6

Николай Мартынов, по прозванию Мартышка, был на год младше Лермонтова: оба вместе учились в Школе гвардейских прапорщиков, часто фехтовали друг с другом на занятиях (сейчас бы сказали – были «спарринг-партнерами») и приятельствовали за милую душу. Николай – высокий, крепко сбитый, круглолицый блондин с водянисто-голубыми глазами; тугодум, говорил неспешно, взвешивая каждое слово, словно опасаясь сболтнуть лишнее; ходил неторопливо, чуть вразвалочку; а еще имел неприятную манеру, с кем-то беседуя, приближать лицо к лицу визави и переходить при этом на полузаговорщический, почти доверительный тон, хоть и не сообщал ничего важного или интимного. Чувство юмора он имел своеобразное – очень его забавляли фривольные юнкерские поэмки Лермонтова, сплошь пересыпанные нецензурной лексикой, а игру слов зачастую не понимал или понимал, но впрямую, не улавливая нюансов, и нередко обижался на невинные шутки друзей. Тоже писал стихи (кто их не писал в Школе юнкеров?), только никому не показывал. Понимал, что талант поэта у Лермонтова больше, и слегка завидовал, но не сильно. В целом же был добрый, даже

добродушный малый; впрочем, не лишенный тщеславия, но карьеру мысливший только на военной стезе. Пил, как все, но дурел при этом, пожалуй, больше многих, становясь злобным и нетерпимым. Проспавшись, укорял себя за содеянное и сказанное в алкогольных парах. Увлекался картами. Выпив, не знал в игре удержу и проигрывал, а потом страдал. А на поле брани действовал хитро, смело, отличаясь недюжинной силой и ловкостью, зарубив и застрелив не одного горца. Но при общем своем благодушии мог внезапно, без видимой причины, из-за глупости или вздора впасть в такую неописуемую ярость, что смотреть на него становилось страшно. Однако такие приступы с ним случались нечасто.

Как майор в отставке, он ходил не в мундире, а одевался под горца – в темную черкеску с газырями и мохнатую папаху. На пояс вешал здоровенный горский кинжал.

В Пятигорске оба приятеля жили неподалеку друг от друга, часто виделись, в том числе на холостяцких пирушках или в доме у Мартыновых (Лермонтов продолжал говорить комплименты Наташе, но не слишком страстно, – дело у них не кончилось даже поцелуем) и в домах у общих знакомых. Сам Мартынов увивался за Надеждой Верзилиной, милой, скромной отроковицей о 15 годах, и пикировался по этому поводу с Аграфеной Верзилиной – старшей ее сестрой (сводной, по отцу). Наденька в силу своей детскости, не могла ответить на его чувства, только улыбалась застенчиво, стихами же Лермонтова восхищалась преувеличенно бурно, называя его исключительно «наш гений» или «наш Байрон». Николая же – из-за его одежды – «наш монтаньяр» (от французского Montagnard – горец). Николай тоже улыбался, но нерадостно, – судя по всему, это прозвище ему мало нравилось.

В начале лета в Пятигорск посыпались грозные запросы из штаба генерала Граббе: отчего Столыпин и Лермонтов до сих пор не на месте, в Темир-хан-Шуре? Пришлось снова заплатить лекарю госпиталя И. Е. Барклаю-де-Толли, чтобы получить нижеследующее свидетельство: *«Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев, сын Лермонтов, одержим золотухою и цинготным худосочием, спровоцированным припухлостью и болью десен, также изъязвлением языка и ломотою ног, от каких болезней г. Лермонтов, приступив к лечению минеральными водами, принял более двадцати горячих серных ванн, но для облегчения страданий необходимо поручику Лермонтову продолжать пользование минеральными водами в течение целого лета 1841 года; оставление употребления вод и следование в путь может навлечь самые пагубные следствия для его здоровья».* Штаб смирился и отстал.

Лермонтов ходил пьяный от радости: целых три месяца отсрочки! Лето в Пятигорске! Вместе с друзьями и знакомыми! Что еще желать в жизни?

Стычка с Мартыновым произошла у него 13 июля в доме у Верзилиных. Вроде бы ничто не предвещало конфликта: гости пили чай, мило болтали, разместившись по уголкам салона, дамы музицировали и пели. Николай в черкеске с неизменным кинжалом что-то шептал на ушко Наденьке, та краснела и фыркала, а Михаил, сидя рядом с Груней, периодически отпускал едкие шуточки.

– О, посмотрите, посмотрите на нашего монтаньяра, – говорил он с ухмылкой, – вам не кажется, что своим пуаньяром [69] он может поранить нашу маленькую Надѝн?

– Думаете, может? – в тон ему спрашивала Груня.

– И не сомневайтесь: у него такой длинный и острый пуаньяр… Он им не одну уже ранил… Я-то знаю! Барышни, бойтесь пуаньяра нашего монтаньяра!

Оба покатывались со смеху.

Видимо, Николай расслышал кое-что из колкостей, потому что налился краской и неспешно, вразвалочку подошел к поэту. Холодно сказал:

– Мсье поручик, я прошу вас прекратить свои дерзости.

Лермонтов расплылся.

– О, пардон, пардон, мсье майор. Извините, не стану.

– В дружеском кругу можете себе зубоскалить как угодно, это мне все равно. Но в присутствии милых дам мне сие неприятно.

– Полно, обещаю молчать.

– То-то же, мсье.

– Извините, мсье.

Мартынов пошел назад и услышал за своей спиной сдавленный смешок и придушенный шепот Лермонтова:

– Что ж, по требованию майора, забираю свои слова назад: пуаньяр у сего монтаньяра вовсе не такой длинный и острый, как мне казалось ранее…

Николай обернулся, в бешенстве глянул на поручика и, набычившись, вышел из комнаты.

Аграфена сказала:

– Вы рискуете, Михаил Юрьевич – он вас побьет.

Но поэт только отмахнулся.

– Да помилуйте, Аграфена Петровна, как сие возможно – «побьет»? Я же не слуга ему. Мы, в конце концов, офицеры. В крайнем случае, вызовет на дуэль.

– Ну а коли вызовет?

– Значит, будем стреляться.

– Этого еще не хватало! Вас и так сюда за дуэль сослали. Для чего нужны новые неприятности?

– Чепуха, не стоит даже думать. Никаких неприятностей не будет, ибо между нами, друзьями, дуэль невозможна. Что, Мартышка станет в меня стрелять? Или я в него? Экая нелепица! Завтра же помиримся, выпьем по бутылке шампанского и обнимемся, ей-бо.

– Обещаете не стреляться?

– Слово офицера.

Вечер продолжился как ни в чем не бывало. Когда Лермонтов уходил от Верзилиных, то увидел у них во дворе на лавочке мрачного Мартынова, курящего трубку. Михаил вытащил свою и спросил:

– Мне можно присесть?

Николай молча отодвинулся. Михаил закурил.

– Ты сегодня, Маешка, перешел все границы, – медленно начал «монтаньяр». – Я терпел долго, но больше терпеть не намерен. Ты меня унизил в присутствии дам. Этого не прощают.

– Я же извинился. Хочешь – еще раз извинюсь? Завтра при всех.

– Ты меня унизил, – тупо повторил друг. – Этого не прощают.

– Я не унижал, а шутил. Ты что, шуток не понимаешь?

– Шутки шуткам рознь. Никому не позволено так со мной шутить.

Лермонтов вздохнул и спросил грустно:

– Не могу понять – что тебе теперь нужно? Хочешь со мной поссориться и стреляться?

– Коли ты не струсишь.

– Ты ведь знаешь, что я не трус.

– Стало быть, стреляемся.

Михаил уставился на него в недоумении.

– Ты серьезно, что ли?

– Совершенно серьезно. Ты меня унизил. В обществе дам. Этого не прощают.

– После стольких лет добрых отношений – стреляться?

– Я не виноват, что ты, называющий меня своим другом, начал издеваться надо мной в присутствии Наденьки.

– Повторяю: я не имел в виду ничего дурного. Чуть позубоскалил – и все.

– Значит боишься?

– Кто боится?

– Ты.

– Я боюсь с тобою стреляться?

– Ты боишься со мною стреляться.

Лермонтов поднялся.

– Что ж, извольте, сударь, я к вашим услугам. Можете присылать своих секундантов.

– Завтра же пришлю.

– Я надеюсь, к завтрашнему дню вы проспитесь и передумаете.

– Не надейтесь, сударь.

– Значит, будем стреляться.

– Непременно будем и никак иначе.

7

Монго, услыхав о дуэли, долго хохотал и при этом спрашивал, не сошел ли Мартынов с ума. «Он вообще стрелять не умеет из пистолета, – говорил Столыпин, – пару раз стрелял и всегда вывертывал пистолет курком вбок. Ну не дуралей ли?» Серж Трубецкой вторил: «Завтра все уладим, утро вечера мудренее. Завтра петухи перестанут петушиться».

Но назавтра явились Васильчиков и Глебов и сказали, что они секунданты Мартынова и пришли обсудить условия поединка.

Монго с Трубецким набросились на них, убеждали бросить этот фарс, помирить поссорившихся и пойти лучше выпить. Глебов ответил: «Выпить я не прочь, но Мартышка не передумает. Он лежит на кровати и рычит от ярости». Все, кроме Лермонтова, отправились к Николаю. Тот действительно лежал, отвернувшись к стене, и на вопросы друзей не реагировал. Трубецкой вспылил: «Что ты делаешь, Николя? Ведь Мишель пристрелит тебя, как зайца, он стреляет во сто крат лучше». Отставной майор хранил молчание.

Собрались у Васильчикова, чтобы прояснить положение. Первым высказался Монго:

– Мне и Сержу участвовать нельзя, ибо я несу вину за прошлый поединок Маешки с де Барантом, а Серж находится в Пятигорске без разрешения. Стало быть, нам грозит, как минимум, разжалование в солдаты.

Глебов заявил:

– Да никто участвовать не желает. Надо сделать так, чтобы правила были соблюдены, но противники примирились и не стрелялись.

– Как сие возможно?

– Очень просто: мы приедем на место, захватив с собой шампанское и закуску. Вместо выстрелов из пистолетов выстрелим пробками из бутылок – все и утрясется само собою.

Трубецкой поддержал:

– Лермонтов сказал, что ни за что не станет стрелять в Мартышку – потому что друг, а еще обещался Аграфене

Верзилиной.

– Хорошо, – заметил Васильчиков. – Значит, врача не станем звать на поединок?

Все на него набросились: да какой врач, если поединок будет расстроен? Он пожал плечами и согласился.

Площадку выбрали в четырех верстах от города на поляне у дороги, шедшей из Пятигорска в Николаевскую колонию, вдоль северо-западного склона Машука. Время назначили на четыре часа пополудни во вторник 15 июля.

Этот день поутру был ясный, солнечный, и друзья провели его кто где – Лермонтов поехал в Железноводск с небольшой компанией – Львом Сергеевичем Пушкиным, дальней родственницей Екатериной Быховец [70] и другими. Там гуляли в роще, потом обедали. Михаил был весел и все время шутил. После трех часов он поднялся и сказал, что ему надо ехать. «Куда ехать, зачем?» – зашумели все. – «У меня дельце в Пятигорске». – «Да взгляните на небо, – отговаривал его Пушкин. – Видно, быть грозе. Вы промокнете по дороге, да еще, не дай Бог, угодите под молнию». – «Ничего, как-нибудь успею до ливня». И уехал.

Тем временем Монго с Трубецким тоже начали собираться и уже вышли было из дома, как действительно разразилась страшная гроза – дождь как из ведра и раскаты грома, сотрясавшие землю. Оба замерли в нерешительности на крыльце.

– Надо ехать, – заявил Серж.

– Что, в такую непогоду? Кто стреляется в бурю и полумрак? Подождем, пожалуй. Все равно без нас не начнут, – возразил Столыпин. – Лучше разопьем бутылочку кахетинского.

Так и порешили. А когда гроза стихла, сели в коляску и отправились к условному месту. Обнаружили там стоявших без шапок, совершенно мокрых, Глебова и Васильчикова. Трубецкой спросил:

– Где же дуэлянты?

Глебов, заикаясь, ответил:

– Наш… Мартынов… ускакал… вне себя…

– А Мишель?

– Там лежит… убитый…

– Как – убитый? Отчего убитый?

Выяснилось вот что: несмотря на дождь и отсутствие вторых секундантов, все-таки решили стреляться. Глебов стал на сторону Лермонтова, а Васильчиков – Мартынова. Двадцать шагов отмерили и велели сходиться. Начали считать: раз… два… три!.. Но никто не выстрелил. По законам поединков после счета «три» полагалось прекратить поединок и велеть либо примириться, либо все начать сызнова. Но эта дуэль с самого начала шла не по

правилам и Васильчиков зло спросил: «Господа, вы стреляться будете или нет?» Лермонтов ответил: «Я не стану стрелять в этого дурака». Тут Мартынов неожиданно нажал на курок. Михаил дернулся, выстрелил в воздух и упал в мокрую траву.

– Ах ты, дьявол! – выругался Монго и приблизился к телу двоюродного племянника.

Тот действительно оказался мертв. Красное пятно расплылось на мокрой нижней рубашке.

Трубецкой заплакал.

Монго сел в траву и закрыл лицо руками. Только повторял: – Что же мы наделали?.. Что же мы наделали?..

После рассказали, что Мартынов два дня и две ночи не сомкнул глаз, беспрестанно ходил по комнате из угла в угол, и бормотал: – Я же не хотел… я стрелял ему по ногам… и попал случайно…

8

Во дворце первому доложили о случившемся великому князю Михаилу Павловичу. Он вначале был потрясен, а потом ругался на чем свет стоит. Говорил: «Мальчишка! Так бездарно загубить свой талант!» И пошел к императору. Николай Павлович принял его не сразу, а потом взглянул отсутствующими глазами – русская армия терпела поражение за поражением на Кавказе от Шамиля, и монарха это очень беспокоило. Даже переспросил:

– Кто убит? Лермонтов? – Сдвинул брови, думая о чем-то своем, наконец сказал: – Ну, туда ему и дорога. Невелика потеря.

9

Елизавета Алексеевна, убитая горем, слегла: у нее отказали ноги.

А затем, немного придя в себя, стала хлопотать, чтобы власти разрешили перевезти тело внука в Россию и похоронить в Тарханах. Разрешение было получено. Печальную операцию совершили дядька Андрей Иванович с кучером.

В салоне Карамзиных скорбели все. Сокрушались Краевский, Белинский, Гоголь. Заказала заупокойную службу вернувшаяся в Петербург княгиня Щербатова.

Мусина-Пушкина получила весть о смерти Лермонтова в Гельсингфорсе, возвращаясь домой из Швеции. Вскрикнула и упала без чувств. Целую неделю не вставала с постели, бредила и металась в лихорадке. Поднялась бледная, худая, превратившись в собственную тень. Написала письмо сестре в Стокгольм: «Л. убит. Я в отчаянии. Береги Машеньку».

10

Он вначале не понял, что убит.

Не почувствовал боли.

Думал – это вспышка молнии, а не выстрел.

И, упав в траву, тоже сразу не понял. Лишь когда потрясенный Глебов склонился над ним, прошептал другу удивленно: – Кажется, этот болван меня застрелил.

И словно провалился во мрак.

Неожиданно он увидел своего Парадера. Впрочем, не совсем Парадера – конь был огненный, крылатый, с развевающейся огненной гривой. Лермонтов вскочил на него без седла, и они помчались стремглав, рассекая темноту мироздания. Языки пламени от гривы и крыльев коня били Михаилу в лицо и в грудь, но не обжигали.

Было легко и свободно.

Все земное казалось мелким и пустым.

Он скакал в Вечность.

# Послесловие

Бабушка смогла пережить внука на четыре года. А Андрей Иванович ничего, выдюжил, дотянул до глубокой старости, получив вольную, остался в Тарханах, в доме родичей. Когда его спрашивали о Лермонтове, начинал волноваться, вставал и дрожащими руками доставал из закута оставшиеся реликвии – небольшую шкатулку орехового дерева с бронзовой отделкой, эполеты корнета с одной звездочкой и сафьяновые чувяки с серебряными позументами, купленные барином в Тифлисе.

Алексей Столыпин (Монго) вскоре после дуэли вышел в отставку и уехал за границу. Перевел на французский язык и напечатал в Париже «Героя нашего времени». Возвратился в Россию и участвовал в Крымской войне, где встречался со Львом Толстым. За отвагу был награжден и повышен в звании – получил майора. Умер от чахотки в 1858 году во Флоренции на руках своей неофициальной супруги.

Серж Трубецкой также служил недолго, возвратился в Петербург и, влюбившись в одну из светских красавиц, вместе с ней убежал на Кавказ, но, поскольку она была замужней дамой, их поймали и возвратили. Серж осел у себя в имении, а его пассия, разведясь с мужем, поселилась у Трубецкого под видом экономки, так как он по-прежнему считался женатым. Умер в 1859 году.

Глебов погиб при осаде аула Салты в 1847-м.

Князь Васильчиков прожил достаточно долго – 63 года. Тоже участвовал в Крымской кампании, а затем, в отставке, служил на гражданском поприще. Был женат и имел четверых детей.

До 60 лет дожил и Мартынов. Состоявшимся после дуэли военным судом он был приговорен к лишению состояния и чинов, а Святейшим синодом – к покаянию в течение 15 лет. Но император Николай I заменил наказание на три месяца гауптвахты, а Синод сократил покаяние до трех лет. Выйдя в отставку, проживал у себя в имении и, женившись, растил детей. Написал мемуары, где оправдывался тем, что выстрел в Лермонтова был досадной случайностью. Славы Герострата ему не хотелось. Но куда денешься? Он вошел в историю как убийца великого поэта. Впрочем, по свидетельству современников, все держали его за вполне приличного и незлого человека.

У великого князя Михаила Павловича чуть ли не одна за другой умерли две дочери. Вскоре и его разбила болезнь, он скончался, только успев справить 50-летие.

Лев Сергеевич Пушкин после военной службы жил с женой в

Одессе и служил на таможне. Имел четверых детей.

Нина Грибоедова-Чавчавадзе хранила верность погибшему супругу до конца своих дней, отвергая предложения многих женихов (например, влюбленного в нее в течение 30 лет поэта и генерала Григория Орбелиани), и умерла в 1857 году, заболев холерой во время разразившейся эпидемии в Тифлисе.

Ее отец, Александр Чавчавадзе, тяжело переживал смерть Лермонтова и на собственные деньги установил ему в Караагаче памятник. Каждый год, в день рождения Михаила Юрьевича, здесь замечали Екатерину Григорьевну Нечволодову-Федотову: вместе с дочерьми она возлагала к бюсту поэта свежие цветы, а затем, посидев на лавочке, возвращалась к себе в Царские Колодцы. Прекрасная горянка дожила до 72 лет.

У Марии Щербатовой был еще один брак – в 1844 году она вышла замуж за Ивана Лутковского, сослуживца Андрея Карамзина. Дочь их, Варвара, стала известной писательницей и держала в Питере литературный салон, завсегдатаями которого были Горький, Мережковский, Гиппиус, Чехов, Короленко. После революции Горький помог ей эмигрировать. Умерла в Париже в 1928 году. Ее матери, Марии Щербатовой, не стало на 50 лет раньше, в 1879-м.

После гибели Лермонтова Евдокия Ростопчина напечатала много стихотворений, но со временем интерес к ее творчеству постепенно угас. У нее было шестеро детей: два сына и две дочери от мужа и две дочери от Андрея Карамзина. Обе последние носили фамилию Андеевские, жили и воспитывались в Швейцарии. Одна из них, Ольга Андеевская, также сделалась знаменитой писательницей, и ее пьесы ставились в Петербурге на сцене Александринского театра.

Софья Карамзина прожила 54 года так и не выйдя замуж, с ее смертью литературный салон прекратил свое существование.

Долгожительницей оказалась Аврора Демидова – умерла, когда ей исполнилось 94. Выйдя замуж за Андрея Карамзина, счастливо прожила с ним 8 лет. Он погиб на Дунае в ходе Крымской войны. Все последние годы находилась в Финляндии, занималась благотворительностью, была основателем Института сестер милосердия в Гельсингфорсе. В Хельсинки до сих пор есть улица, носящая ее имя.

Только пятилетие отпустила судьба Эмилии Карловне Мусиной-Пушкиной после смерти ее Миши: окончательно расставшись с супругом, она переехала в их поместье – село Борисоглеб Ярославской губернии. Помогала крестьянам, открыла для их детей воскресную школу; когда случилась эпидемия тифа, лично ходила за больными; заразилась и умерла

17 ноября 1846 года.

После того, как не стало и ее младшей сестры Алины, Аврора Демидова-Карамзина забрала к себе в Гельсингфорс маленькую Машу. Девочка выросла красавицей – стройной, черноокой и чернобровой, с дерзким, независимым взглядом. Страстью ее были лошади – превосходно скакала, преимущественно в мужском седле, даже участвовала в конкурах. Рано вышла замуж – за министра, статс-секретаря Финляндии Константина Линдера, и имела от него нескольких детей, в том числе сына Ялмара и дочь Китти. Овдовев, больше не связывала себя узами законного брака, продолжая вести жизнь эмансипе – любила пиво, много курила и одна ходила в рестораны. А когда в 1863 году Александр II посетил Гельсингфорс, предложила ему ввести в великом княжестве Финляндия свободу вероисповедания. (Думал ли император тогда, что беседует, возможно, с дочерью самого Лермонтова, о котором хлопотал в своей юности?) Маша Линдер знала несколько языков, но по-русски говорила плохо и стихов никогда не писала.

Ялмар Линдер, получив в наследство от отца не одну фабрику, распоряжался ими разумно: ввел на предприятиях 8-часовой рабочий день, заботился о жизни и быте работников. После революции уехал в Европу, путешествовал на личном поезде и осел в конце концов в Монте-Карло. Делал попытки выкупить у большевиков арестованных ими великих князей, предлагая за каждого по миллиону шведских крон, но, по распоряжению Ленина, родственники последнего российского императора были уничтожены.

Китти Линдер в молодости также слыла красавицей, и за ней ухаживал сам маршал Маннергейм (впрочем, тогда еще не маршал, а всего лишь корнет, выпускник Николаевского кавалерийского училища). Получив отказ на предложение руки и сердца, он впоследствии женился на Анастасии Араповой – внучке Натальи Николаевны Пушкиной-Гончаровой от ее второго брака с генералом Ланским.

Ни у Ялмара, ни у Китти, ни у прочих детей Маши Линдер потомства не осталось. Так что эта линия Мусиной-Пушкиной навсегда прервалась.

Живы ли потомки Лермонтова от его крестьянок? Этого мы не знаем и, наверное, никогда уже не узнаем.

Да и нужно ли это? Ведь природа, увы, отдыхает на детях гениев.

Нам важнее, что живы главные его детища – книги.

Нет в России человека, который не знал бы имени Лермонтова.

Мысли его и чувства живы. Умерло греховное, плотское. Но осталось божественное – душа.

А душа бессмертна. Стало быть, бессмертен и он.

«Умирая – воскресай».

# Приложение Письма Лермонтова

...

*С. А. РАЕВСКОМУ*

*<Петербург, 27 февраля 1837 г.>*

*«Милый мой друг Раевский.*

*Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастия, что ты, желая мне же добра, за эту записку пострадаешь. Дубельт говорит, что Клейнмихель тоже виноват… Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты… Я вспомнил бабушку… и не смог. Я тебя принес в жертву ей… Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, – но я уверен, что ты меня понимаешь, и прощаешь, и находишь еще достойным своей дружбы… Кто б мог ожидать!.. Я к тебе заеду непременно. Сожги эту записку.*

*Твой M. L.»*

* * *

...

*Великому князю МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ*

*<Петербург, 20 – 27 апреля*

*1840 г.>*

*«Ваше императорское высочество!*

*Признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был ободрен до сих пор надеждой иметь возможность усердною службой загладить мой проступок, но, получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извиненья в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести; но теперь мысль, что его императорское величество и Ваше императорское высочество, может быть, разделяете сомнение в истине слов моих, мысль эта столь невыносима, что я решился обратиться к Вашему императорскому высочеству, зная великодушие и справедливость Вашу и будучи уже не раз облагодетельствован Вами; и просить Вас защитить и оправдать меня во мнении его императорского величества, ибо в противном случае теряю невинно и невозвратно имя благородного человека.*

*Ваше императорское высочество позволите сказать мне со всею откровенностью: я искренно сожалею, что показание мое*

*оскорбило Баранта: я не предполагал этого, не имел этого намерения; но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Ибо, сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить оную честным словом, и доказательством может служить то, что на месте дуэли, когда мой секундант, отставной поручик Столыпин, подал мне пистолет, я сказал ему именно, что выстрелю на воздух, что и подтвердит он сам.*

*Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что Ваше императорское высочество соблаговолите обратить внимание на горестное мое положение и заступлением Вашим восстановить мое доброе имя во мнении его императорского величества и Вашем.*

*С благоговейною преданностью имею счастие пребыть*

*Вашего императорского высочества*

*всепреданнейший*

*Михаил Лермонтов,*

*Тенгинского пехотного полка поручик».*

* * *

...

*Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ*

*<Ставрополь, 9 – 10 мая 1841 г.>*

*«Милая бабушка.*

*Я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к Вам; ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была прескверная, теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава богу, здоров и спокоен, лишь бы и Вы были так спокойны, как я: одного только и желаю; пожалуйста, оставайтесь в Петербурге: и для Вас и для меня будет лучше во всех отношениях. Скажите Екиму Шангирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда, на Кавказ. Оно и ближе и гораздо веселее.*

*Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье и я могу выйти в отставку.*

*Прощайте, милая бабушка, целую Ваши ручки и молю Бога, чтоб Вы были здоровы и спокойны, и прошу Вашего благословения.*

*Остаюсь п<окорный> внук Лермонтов».*

Примечания

1

Розен Григорий Владимирович (1782 – 1841) – барон, генерал от инфантерии, участник войны 1812 г., в 1837 г. командир отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами. Последние годы жизни был в Москве сенатором.

2

Бастард – внебрачный ребенок.

3

Иванова Наталья Федоровна (1813 – 1875) – предмет юношеского увлечения Лермонтова, их разрыв относится к 1831 г. Замужем за Н. М. Обресковым, последние годы жила в Курске.

4

Сушкова Екатерина Александровна (1812 – 1868) – знакомая Лермонтова, прототип княгини Негуровой в романе Лермонтова

«Княгиня Лиговская». Замужем за А. В. Хвостовым. Автор воспоминаний, где описала свои взаимоотношения с поэтом.

5

Лопухина Варвара Александровна (1815 – 1851) – одна из самых глубоких сердечных привязанностей Лермонтова, прототип Веры в повести «Княжна Мери». Замужем за Н. Ф. Бахметевым. Почти все письма Лермонтова к ней уничтожены ревнивым стариком мужем.

6

Безобразов Сергей Дмитриевич (1801 – 1879) – генерал, в 1836 – 1842 гг. полковник, командир Нижегородского драгунского полка.

7

Нечволодов Григорий Иванович (ок. 1780 – год смерти неизв.) – в 1837 г. подполковник Нижегородского драгунского полка в отставке.

8

Чавчавадзе Александр Гарсеванович (1786 – 1846) – князь, грузинский поэт, родоначальник грузинской романтической поэзии. Один из первых переводчиков А. С. Пушкина на грузинский язык.

9

Грибоедова Нина Александровна (1812 – 1857) – княжна, старшая дочь А. Г. Чавчавадзе, с 1828 г. жена А. С. Грибоедова.

10

Чавчавадзе Екатерина Александровна (1816 – 1882) – княжна, средняя дочь А. Г. Чавчавадзе, сестра Н. А. Грибоедовой; с 1839 г. жена князя Д. Л. Дадиани.

11

Сперанский Михаил Михайлович (1772 – 1839) – русский государственный деятель, юрист и дипломат, с 1808 г. ближайшее доверенное лицо Александра I. Автор проекта конституционного ограничения монархии. В 1812 впал в немилость, отстранен от дел и сослан; с 1816 г. пензенский губернатор, с 1819 г. генерал-губернатор Сибири. Был другом Аркадия Столыпина, регулярно писал ему из Пензы письма, в которых откликался на распрю Е. А. Арсеньевой с Ю. П. Лермонтовым из-за внука; как друг семьи Столыпиных, принял сторону Арсеньевой и 13 июня 1817 г. вместе с пензенским предводителем дворянства засвидетельствовал завещание Арсеньевой, разлучавшее отца с сыном до совершеннолетия Лермонтова. С 1835 г. преподавал наследнику престола – цесаревичу Александру Николаевичу – юридические науки. Пожалован титулом графа.

12

Гогона́ – девочка ( *груз.* ).

13

Мороз по коже ( *фр.* ).

14

О, какой тонкий комплимент! ( *фр.* )

15

Мой князь ( *фр.* )

16

Аббат Прево – французский писатель, автор романа «История кавалера Де Грие и Манон Леско» (1731).

17

Лопе де Вега – испанский драматург («Учитель танцев», «Собака на сене»).

18

Тирсо де Молина – испанский драматург («Дон Хиль Зеленые Штаны»).

19

Доброй ночи, сеньорита. Как поживаете? Как ваши дела? ( *исп.* )

20

Доброй ночи, мадемуазель. Как поживаете? ( *фр.* )

21

Очень хорошо, спасибо ( *фр.* ).

22

«Про» и «контра» – pro et contra (лат.) – «за» и «против».

23

Мой дорогой друг ( *фр.* ).

24

Одоевский Александр Иванович (1802 – 1839) – князь, русский поэт, декабрист. После 7 лет каторги и 3 лет поселения в Сибири, в 1837 г. был определен рядовым в Кавказский корпус, с 7 ноября 1837 г. – в Нижегородский драгунский полк. Умер от лихорадки, находясь в действующей армии на берегу Черного моря.

25

Мой друг ( *фр.* ).

26

Так на Востоке называли Европу.

27

Картина маслом кисти Лермонтова «Окрестности селения Караагач (Кавказский вид с верблюдами)» дошла до наших дней.

28

Большое спасибо. Вы были весьма учтивы ( *фр.* ).

29

Спасибо большое. Вы были весьма любезны ( *фр* .).

30

Мой дорогой ( *фр.* ).

31

Один момент, извините (фр.).

32

Тысяча извинений (фр.).

33

Бебутов Василий Осипович (1791 – 1858) – князь, российский генерал, герой кавказских походов и Крымской войны.

34

Дадиани Давид Леванович (1813 – 1853) – владетельный князь (мтавар) Мегрелии, в 1837 г. полковник, с 1845 г. генерал-майор.

35

Бараташвили Николай (Николоз) Мелитонович (1817 – 1845) – выдающийся грузинский поэт-романтик.

36

Вельяминов Алексей Александрович (1785 – 1838) – генерал-лейтенант, ближайший сподвижник генерала А. П. Ермолова в Кавказской войне.

37

Соллогуб Владимир Александрович (1813 – 1882) – граф, русский писатель, в приятельских отношениях с Лермонтовым. В юмористической повести «Большой свет» нарисовал портреты завсегдатаев аристократических салонов; в его персонаже, «маленьком корнете» Мишеле Леонине, многие узнавали Михаила Лермонтова, но последний не счел это пасквилем и продолжал бывать в доме Соллогуба.

38

Имеется в виду шуточная поэма Лермонтова «Монго» 1836 г.

39

Между нами ( *фр.* ).

40

Так вот ( *фр* .).

41

«Кружок шестнадцати»:

Браницкий-Корчак Ксаверий Владиславович (1814? – 1879) – граф, поручик (с 1839 г.) лейб-гвардии Гусарского полка в бытность там Лермонтова. Единственный, кто в своих воспоминаниях оставил развернутое свидетельство о «кружке шестнадцати».

Валуев Петр Александрович (1815 – 1890) – граф, камер-юнкер (1834 г.), чиновник III Отделения собственной его

императорского величества канцелярии (при М. М. Сперанском); впоследствии министр внутренних дел, председатель Комитета министров.

Васильчиков Александр Илларионович (1818 – 1881) – князь, мемуарист; с апреля 1840 г. член комиссии барона П. В. Гана по введению новых административных порядков на Кавказе, в дальнейшем видный общественный деятель своего времени.

Гагарин Григорий Григорьевич (1810 – 1893) – князь, русский художник. Ученик Брюллова. Дружил с А. С. Пушкиным, иллюстрировал его произведения. Сохранился набросок группового портрета членов «кружка шестнадцати», выполненный Гагариным (графитный карандаш). В мае 1840 г., после перевода Лермонтова в Тенгинский полк и отъезда многих из «шестнадцати» на Кавказ, Гагарин последовал за ними.

Голицын Борис Дмитриевич (1819 – 1878) – светлейший князь. Получил образование в Московском университете. В 1835 г. определен на службу в департамент Министерства юстиции с чином губернского секретаря. В 1853 г. капитан-лейтенант, в 1870 г. генерал-адъютант, генерал-лейтенант. В этом же году получил от императорской главной квартиры «бессрочный отпуск с дозволением отлучаться за границу» и, вероятно, до самой смерти не возвращался в Россию.

Долгорукий Александр Николаевич (1819 – 1842) – князь, офицер лейб-гвардии Гусарского полка (с 1837 г.). В конце июня – начале июля 1840 г. Лермонтов встречался с Долгоруким в военном лагере под крепостью Грозной. Оба участвовали в экспедиции А. В. Галафеева (в т. ч. в сражении при р. Валерик 11 июля). Осенью 1840 г. Лермонтов и Долгорукий встречались в Ставрополе, а также летом 1841 г. в Пятигорске.

Долгорукий Сергей Васильевич (1820 – 1853) – князь, знакомый Лермонтова. Осенью 1839 – зимой 1840 г. встречались на собраниях «кружка шестнадцати». В 1840 г. Долгорукий был командирован на Кавказ, где состоял чиновником в комиссии барона П. В. Гана по введению новых административных порядков.

Жерве Николай Андреевич (1808 – 1841) – поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка (с 1831). В 1835 г. был переведен тем же чином на Кавказ в Нижегородский драгунский полк, где в 1837 г. служил Лермонтов; тогда же был произведен в штабс-капитаны. Затем переведен в лейб-гвардии Драгунский полк. В 1838 г. Жерве вышел в отставку, но в 1840 г. снова поступил на военную службу и в конце июня – начале июля общался с Лермонтовым в лагере под крепостью Грозной.

Паскевич Федор Иванович (1823 – 1903) – князь, сын генерал-

фельдмаршала И. Ф. Паскевича, прошел путь от прапорщика до генерал-адъютанта, участник Крымской войны.

Столыпин Алексей Григорьевич (ок. 1805 – 1847) – штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка (1836 – 1839), с 1839 г. адъютант герцога М. Лейхтенбергского; двоюродный дядя Лермонтова, по совету которого поэт поступил в Школу юнкеров. Одно время жил в Царском Селе вместе с Лермонтовым и А. А. Столыпиным (Монго). Когда понадобилось разрешение Николая I на перевоз тела Лермонтова из Пятигорска в Тарханы, основная тяжесть хлопот об этом легла на Алексея Григорьевича.

Фредерикс Дмитрий Петрович (1818 – 1844) – барон, морской офицер гвардейского экипажа. В 1838 г. служил на Кавказе. Лермонтов общался с ним в Петербурге осенью 1839 – зимой 1840 г. В конце июня – начале июля 1840 г. вновь встретился с ним в военном лагере под крепостью Грозной. Вместе участвовали в сражении при р. Валерик.

Шувалов Андрей Павлович (1816 – 1876) – граф, воспитанник М. М. Сперанского. В 1835 г. прикомандирован к Нижегородскому драгунскому полку, в котором в 1837 г. служил Лермонтов. С февраля 1838 г. офицер лейб-гвардии Гусарского полка, куда в это же время возвратился поэт. Современники предполагали, что в образе Печорина воплотились некоторые черты характера Шувалова, и находили даже портретное сходство с ним. Впоследствии был санкт-петербургским губернским предводителем дворянства.

Шувалов Петр Павлович (1819 – 1901) – граф, младший брат А. П. Шувалова, камер-юнкер. Также петербургский губернский предводитель дворянства (1854-1863), председатель Петербургского дворянского комитета по подготовке крестьянской реформы 1861 г. После выхода в отставку большую часть жизни провел на французских и немецких курортах.

42

Лалла-Рук – светское прозвище императрицы Александры Федоровны: в одном из домашних спектаклей она играла роль красавицы Лаллы-Рук из одноименной поэмы Т. Мура. Александр Трубецкой, брат С. Трубецкого, был ее фаворитом.

43

Михаил Павлович (1798 – 1849) – великий князь, младший брат Николая I, генерал-фельдцейхмейстер; в 30-е гг. командир отдельного Гвардейского корпуса и главный начальник военных учебных заведений, благодаря чему знал Лермонтова еще в Школе юнкеров. Педант и формалист в соблюдении положений устава, Михаил Павлович наказывал Лермонтова за пренебрежение к ним. Однако нет оснований считать, что

великий князь недолюбливал поэта: наоборот, ходатайствовал перед царем о смягчении его участи, помогал в продлении отпуска, данного ему в 1841 г. для свидания с бабушкой.

44

Хомутов Михаил Григорьевич (1795 – 1864) – участник войны 1812 г., в 1833 – 1839 гг. командир лейб-гвардии Гусарского полка, генерал-майор. С июля 1839 г. начальник штаба, позднее наказной атаман Войска Донского. По отзывам современников, Михаил Григорьевич, умевший ценить в подчиненных качества ума и сердца, доброжелательно относился к Лермонтову. По случаю ухода командира из полка в 1839 г., офицеры, в т. ч. Лермонтов, поднесли ему коллекцию своих портретов, написанных А. И. Клюндером. В начале июня 1840 г. Лермонтов, проездом на Кавказ, три дня гостил у Михаила Григорьевича в Новочеркасске.

45

Моя дорогая бабушка ( *фр.* ).

46

Модный в то время вальс К. Вебера.

47

Дульсинея Тобосская – она же простая крестьянка Альдонса – дама сердца Дон Кихота Ламанчского.

48

Что такое «понос»? ( *фр.* )

49

Плаутин Николай Федорович (1794 – 1866) – генерал-майор, в 1839 – 1841 гг. командир лейб-гвардии Гусарского полка.

50

Бабушка ( *фр.* ).

51

Жуковский Василий Андреевич (1783 – 1852) – русский поэт-романтик, переводчик, критик. Наставник наследника престола – будущего императора Александра II. С того момента, когда стихи Лермонтова получили распространение в близких Жуковскому литературных кругах, начинается недолгая история личных отношений между поэтами. По свидетельству С. А. Раевского, Краевский передал стихи «Смерть поэта» Жуковскому, Вяземскому, В. Ф. Одоевскому; ходил слух, что Жуковский читал их наследнику. Высоко оценив стихи, Василий Андреевич принял живое участие в судьбе их автора. Вероятно, не без его содействия в «Современнике» было напечатано «Бородино»; при прямом его участии публиковалась и «Песня про купца Калашникова» (личное знакомство Жуковского с министром народного просвещения С. С. Уваровым помогло преодолеть цензурные

трудности). Лермонтов писал: «Я был у Жуковского и по его просьбе отнес ему «Тамбовскую казначейшу», которую он просил; он понес ее к Вяземскому, чтобы прочесть вместе; им очень понравилось, напечатано будет в ближайшем номере «Современника». Особенно интенсивно протекало личное общение поэтов в последний год жизни Лермонтова: они встречались в доме Карамзиных. Жуковский принимал участие в хлопотах в связи со второй ссылкой Лермонтова на Кавказ. Последние годы жизни провел в Германии.

52

Самарин Юрий Федорович (1819 – 1876) – русский публицист, философ и общественный деятель, славянофил.

53

Хомяков Алексей Степанович (1804 – 1860) – русский философ, поэт и публицист, член кружка «любомудров», впоследствии один из вождей славянофильства.

54

Дмитриев Михаил Александрович (1796 – 1866) – русский поэт, критик, переводчик, мемуарист.

55

Мертвая натура ( *фр* .).

56

Погодин Михаил Петрович (1800 – 1875) – русский историк, писатель, публицист, преподаватель Московского университета (с 1825 г.); редактор «Московского вестника» (1827 – 1830), «Москвитянина» (1841 – 1856). Интенсивно общался и переписывался с А. С. Пушкиным. С конца 30-х гг. деятель правого крыла славянофильства. Экзаменовал Лермонтова по истории при поступлении в Московский университет. Первому курсу Погодин читал историю Средних веков; судя по результатам экзаменов, Лермонтов уделял лекциям Погодина больше внимания, чем другим предметам. Лермонтов был 9 мая 1840 г. в доме Погодина на именинном обеде в честь Н. В. Гоголя и читал там отрывки из «Мцыри». В «Москвитянине» были опубликованы критические разборы произведений Лермонтова, во многом полемического характера; в мае 1841 г. Лермонтов передал Погодину (через Ю. Ф. Самарина) стихотворение «Спор» для публикации в журнале.

57

Загоскин Михаил Николаевич (1789 – 1852) – русский писатель. В литературно-общественной борьбе занимал консервативные позиции.

58

Аксаков Константин Сергеевич (1817 – 1860) – русский

публицист, критик, поэт, один из идеологов славянофильства. Сын С. Т. Аксакова.

59

Чаадаев Петр Яковлевич (1794 – 1856) – русский мыслитель, автор трактата «Философические письма» (1829 – 1831, на франц. яз.).

60

Щепкин Михаил Семенович (1788 – 1863) – русский актер, основоположник сценического реализма в России. Был близок с А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, В. Г. Белинским, А. И. Герценом и др. Лермонтов познакомился со Щепкиным в мае 1840 г. во время недолгого пребывания в Москве. В 1852 г. Щепкин деятельно поддерживал М. И. Велберхову в ее хлопотах о постановке «Маскарада». 1 апреля 1856 г. в Малом театре Щепкин участвовал в живых картинах по поэме Лермонтова «Песня про купца Калашникова».

61

Название фирме «Фраже» было дано в честь основателя Иосифа Фраже, организовавшего в 1824 г. первую в Варшаве гальваническую лабораторию: гальваническим методом наносился слой серебра или золота на посуду из неблагородных металлов.

62

Sauternes – французское белое десертное вино, производимое в Бордо. Его делают из винограда Семильон, Совиньон блан и Мускадель (или Мюскадель), подвергнутых естественному воздействию т. н. «благородной плесени» ботритис. Это приводит к частичному заизюмливанию ягод и, как следствие, к более концентрированным винам, с более выразительным ароматом.

63

Граббе Павел Христофорович (1789 – 1875) – генерал-адъютант, командующий войсками на Кавказской линии и в Черноморье (1838 – 1842). В июне 1840 г. Граббе определил Лермонтова в «Чеченский отряд» А. В. Галафеева. Во 2-й половине октября Граббе сам вступил в командование «Чеченским отрядом», и Лермонтов выполнял его прямые указания в боях с 27 октября по 20 ноября. Граббе высоко ценил Лермонтова и после экспедиции 1840 принимал его и Л. С. Пушкина у себя дома в Ставрополе. Около 14 января 1841 г. Граббе поручил Лермонтову, уезжавшему в Петербург, передать письмо А. П. Ермолову. Граббе представлял Лермонтова к наградам за храбрость и к обратному переводу в гвардию. Узнав о гибели поэта, писал: «Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом – десять пошляков преследуют его до смерти».

64

Глебов Михаил Павлович (1819 – 1847) – друг Лермонтова, секундант на последней дуэли. По окончании Школы юнкеров в 1838 был выпущен корнетом в лейб-гвардии Конный полк. Вместе с Лермонтовым участвовал в сражении при р. Валерик 11 июля 1840, отличился и был тяжело ранен. В апреле 1841 г. принимал в своем имении Мишково Лермонтова и А. А. Столыпина (Монго), ехавших на Кавказ. В Мишкове и после смерти Глебова хранился портрет Лермонтова с надписью: «Другу Глебову Лермонтов. 1841 год. Мишково» – и с полуистершимися стихами, а также кавказская шашка с буквой «Л.».

65

Галафеев Аполлон Васильевич (1793 – 1853) – генерал-лейтенант, командир 20-й пехотной дивизии («Чеченского отряда»).

66

А-ля Севинье – общее название различных атрибутов моды по фамилии французской писательницы Мари де Рабютен-Шанталь маркизы де Севинье (1626 – 1696). Маркиза славилась красотой, изящными манерами, умением одеваться, а также острословием при дворах Людовика XIII и Людовика XIV.

67

Плетнев Петр Александрович (1792 – 1865) – русский критик и поэт, ректор (1840 – 1861) Петербургского университета. Близкий друг и издатель А. С. Пушкина, редактор журнала «Современник» (1838 – 1846); лично знал Лермонтова, встречаясь с ним у Карамзиных и В. Ф. Одоевского.

68

Ильяшенков Василий Иванович (гг. рожд. и смерти неизв.) – полковник, в 1841 г. глава военной и гражданской администрации Пятигорска.

69

От фр. Poignard – кинжал.

70

Быховец Екатерина Григорьевна (в замужестве Ивановская) (1820 – 1880) – дальняя родственница Лермонтова, оставила воспоминания о встречах с ним в Пятигорске, в том числе в день роковой дуэли.